

СИБИРСКИЕ ОГНИ



**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Правительство Новосибирской области

Редакционная коллегия:

М.Н. АКимова (зав. отд. публицистики)

Н.М. АХПАШЕВА

Б.Л. АЮШЕЕВ

А.Г. БАЙБОРОДИН

Ц.-Х. БАЛДОРЖИЕВ

Б.Я. БЕДЮРОВ

В.А. БЕРЯЗЕВ

Б.В. БУРМИСТРОВ

В.В. ДВОРЦОВ

Б.С. ДУГАРОВ

А.И. ИВАНТЕР

В.Н. КАЗАКОВ

А.В. КИРИЛИН

Н.В. КОРНИЕНКО (член-корр. РАН)

В.Н. КОСТИН

М.В. КУДИМОВА

С.Г. МИХАЙЛОВ (зав. отд. поэзии)

А.М. РОДИОНОВ

Э.И. РУСАКОВ

В.Н. СЕРОКЛИНОВ (зав. отд. прозы)

В.И. ТИТОВ (отв. секретарь)

М.А. ЧВАНОВ

Т.Г. ЧЕТВЕРИКОВА

В.Н. ЯРАНЦЕВ (зав. отд. критики)

Главный редактор: В.А. БЕРЯЗЕВ

9 сентябрь 2013

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Михаил ЛАНДБУРГ. На последнем сеансе. Роман	3
Валерий ТОПОРКОВ. Бабочка над океаном. Повесть	96
Алексей СМИРНОВ. Хищная оттепель. Повесть	123

ПОЭЗИЯ

Василий КОВАЛЕВ. Отогретое время. Стихи	92
Андрей РАСТОРГУЕВ. «Белый кит» и другие стихотворения. Стихи	116
Елена БЕРСЕНОВА. Коротко ли долго. Стихи	148

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Владимир АЛЕЙНИКОВ. Саю ваю. <i>Продолжение</i>	151
Владимир РЕЗАНОВ. Была деревня Соколовка.	162

КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Людмила ЯКИМОВА, Анатолий ДЕРЕВЯНКО. «Велик, скромн, честен и чист, как ребенок»	166
Владимир ЯРАНЦЕВ. Разгаданная тайна или «суммированная случайность»?	178

Книжная полка

Екатерина ИВАНОВА. Безумная абстракция	185
<i>О журналах</i>	187

<i>Авторы номера</i>	191
----------------------------	-----

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Журнал зарегистрирован в Мининформпечати РФ. Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Главный редактор, руководитель ГБУ «Редакция журнала «Сибирские огни»» В.А. Берязев.

НА ПОСЛЕДНЕМ СЕАНСЕ

Р о м а н

*Я люблю тебя не за то, кто ты, а за то, кто я,
когда я с тобой.*

Габриэль Гарсиа Маркес

*В пустыне
Я встретил человека — нагого, дикого;
Сидя на корточках,
Он держал в руках свое сердце
И грыз его.
Я спросил: «Вкусное ли оно, друг?»
«Оно горькое, горькое! — ответил человек. —
Но мне нравится его грызть,
Потому что оно горькое
И потому что это мое сердце».*

Стивен Крейн

ОТ АВТОРА

Уважаемый читатель, взяв в руки эту повесть, вы, разумеется, вправе удивляться тому, как, будучи музыкантом, а не писателем, я посмел взяться не за свое дело. Конечно, не могу не признаться, что мой поступок достаточно странен; только не подумайте, что я такой уж храбрый или сильно наглый. Вовсе нет. Просто на данное деяние меня подтолкнула определенная причина. Даже две. Во-первых, появившаяся на свет моя ля-минорная баллада, во-вторых — как следствие, вытекающее из первой, — пробуждение во мне острого ощущения необходимости объясниться с моими слушателями не посредством утомительного для меня обмена письмами, а каким-то иным образом.

После того как балладу озвучили на радио, одни слушатели в своих письмах благодарили меня за вызванное в них столь сильное эмоциональное напряжение, которое вынудило их прикрыть ладонями ушки, чтобы больше никогда подобного не хотеть слышать, а что еще важнее — ни над чем подобным не задумываться; другие же утверждали, что баллада, безусловно, заслуживает того, чтобы ее включили в программы международных фортепианных конкурсов. Некоторых корреспондентов возмущало отсутствие в моей балладе существенной мысли, в то же время, недоумение вызвало присутствие чрезмерного количества *glissando*, диатонических гамм и странных, даже диких звуков, которые нормальное ухо вынести не в состоянии. С особым удовольствием я отмечал письма, в которых выражалась изумительно трогательная по отношению ко мне забота. Заклучалась она, например, в таких словах: «Слушая Вашу балладу, несложно догадаться, что ее автор — человек невеселый, мрачноватый и, безусловно, болезненный, а поскольку это именно так, то убедительно советуем Вам меньше напрягаться, а больше следить за состоянием своего здоровья».

Поток писем шел и шел, а я уже немолод, чтобы успевать отвечать всем подряд; к тому же, всякий раз, берясь за ответное письмо, меня мучили вопросы, связанные



с невозможностью объяснить, почему концовка баллады слышится именно так, а не этак, и отчего в средней ее части стоит невероятный сумбур.

«Дорогой друг, благодарю за любезное письмо, в котором Вы спрашиваете о разных штуках, связанных с моей балладой, а также за Ваши, безусловно, бесценные советы...» — так я начинал каждое ответное письмо, но дальше этих слов из меня ничего, простите, не выжималось. Записав эти первые ответные строки, мои руки беспомощно опускались, и тогда я растерянно поглядывал на полупустой экран компьютера и мысленно вымалывал у моих корреспондентов прощение за свое неумение толком объясниться.

С одной стороны, я понимал: недоумение и даже некоторая растерянность моих слушателей вполне оправданы, ибо, на самом деле, откуда им знать, что именно побудило меня засесть за эту балладу, и отчего в ней звучит так много непонятного и смутного; с другой стороны, я не понимал, как мне в обычном письме объяснить, что это за сила такая, которая сумела принудить пожилого человека погасить в себе всплеск заново проснувшегося чувства. В обычном письме я этого не умел...

Но однажды мне в голову пришла дикая мысль: не разумнее ли, если, вместо изнурительной переписки с каждым отдельным слушателем моей баллады, я просто возьму и расскажу историю пожилого человека, который на протяжении всей жизни ревностно пытался сохранять верность своей мужской сути, но, вдруг столкнувшись с возникшим перед ним видением из своего далекого прошлого, чуть было не дрогнул...

Словом, теперь я питаю надежды на то, что, быть может, хоть что-то пояснит эта повесть. Кто знает...

Кстати, к сказанному выше я считаю своим долгом сделать существенное добавление: развалившись на полу возле моего письменного стола, за работой над рассказом ревниво наблюдал свидетель этой истории — Цицерон.

Итак...

* * *

Ночь почти отошла, а рассвет только стал приближаться, когда мой сон оборвался.

По мнению доктора из дома престарелых бессонные ночи предназначены для того, чтобы люди имели возможность неторопливо и обстоятельно погружаться мыслями в свои прежние ошибки, безумия и еще в различное такое, что было в жизни упущено, утрачено, бесследно смыто.

В комнате, где я родился и где, по всей видимости, свой земной путь окончу, покачивался мутный свет. Настороженно прислушиваясь к тишине, я подумал, что лучше бы эта ночь, с которой я как-то сжился, продолжала бы длиться, чем дожидаться появления нового дня, который с собой принесет еще неизвестно что.

Тишина. Моя комната звучала в ре-миноре.

К тому, что говорит тишина, я отношусь с уважением и доверием, потому что у каждой тишины есть своя тайна и свой секретный код звуков.

Светящиеся фосфором стрелки стенных часов показывали 4:40.

Я закрыл глаза, чтобы лишний раз не быть оглушенным пугающим видом трещин на стенах, высохшей на электрической проводке краски, давно покосившимися ножками стола и книжного шкафа.

Я открыл глаза, вдруг подумав, что прятать глаза ни к чему, ибо у предметов этой комнаты жизнь своя, а у меня — моя.

Когда я был ребенком, родители требовали, чтобы я берег пальцы. Я берег. И даже позже, когда я стал юношей, мои родители своих требований не поменяли. Я родителей слушался и берег пальцы, хотя не берег кулаки.

А потом отец и мама от меня ушли.

Иногда мне казалось, что они не сами ушли, а их кто-то похитил, только разве на их похитителя в полицию заявишь... Что я полицейским скажу — «помогите вернуть мою маму»? «Подайте жалобу», — скажут полицейские, потому что так они всегда говорят. «На кого подать?» — спрошу я. «Это между тобой и Им, — небрежно подскажут полицейские. — Между собой и разбирайтесь».



Куда мои родители ушли, я так никогда и не узнал, зато знаю, где они остались. Раз в месяц я прихожу туда, где они остались, чтобы с надгробных плит смыть пыль, чтобы в темной крохотной нише, выбитой в задней стенке их памятников, поместить зажженную свечу, чтобы убежденным, упругим голосом проговорить: «Вы живы! Неживыми родители не бывают!»

Говорю так, потому что верю: тихий огонек свечи проникнет к ним туда и посветит. Говорю так, потому что знаю: до конца ничто не исчезает. Говорю так, потому что надеюсь: мои слова туда доходят. Говорю так, потому что, может быть, услышав меня, они почувствуют себя там не так одиноко...

Когда отца не стало, мама писала письма *туда*. Узнал я об этом после того как, похоронив маму, в одном из ящиков комода обнаружил перевязанную белой ленточкой большую пачку писем. Ленточку я не развязал, всю пачку отнес на кладбище и возложил на надгробную плиту отца.

— Читай их сам, — шепнул я.

Спустя неделю писем не стало. «Просочились туда», — догадался я.

Время...

Говорят, что бездушнее, чем время, нет ничего, но я и время терпим друг друга так же сносно, как друг друга терпим я и моя комната.

В детстве, прослышав о том, что каждое новое утро приносит с собою новую жизнь, я не сомневался, что впереди меня ожидает бесконечное множество новых жизней.

Я всегда стремился стать мужчиной: в школе — таким, как Джек Лондон, в Академии музыки — таким, как Хэмингуэй. А потом... А сейчас... Ну да ладно...

Время...

Я уже не...

Я еще не...

На часах 5:27.

Вглядываясь в очертания оживающих предметов комнаты, я вдруг вспомнил об оставленном с вечера в холодильнике сэндвиче. Я скинул ноги на пол и по дороге на кухню остановился возле двери в комнату Эстер. Прислушался. За дверью было тихо.

— Господи, помоги сохранить мужество! — прошептал я.

5:35.

Поедая сэндвич в постели, я стал перебирать в памяти те годы, когда движения души Эстер загадкой для меня не были. До тех пор, пока однажды ночью, четыре года назад...

* * *

Шел второй час ночи. Я устало опустил крышку пианино.

Эстер лежала в кровати с открытыми глазами.

— Пытаешься уснуть? — спросил я, проведя рукой по ее волосам.

— Нет.

— Посидеть рядом?

— Нет.

— Принести попить?

— Нет.

— Тогда что?

Взгляд Эстер застыл в одной точке, а приоткрывшийся было рот лишился слов.

— Что? — повторил я.

Судорожная рука Эстер скользнула под подушку, и я, едва успев увернуться от брошенной в меня коробки, отбежал к стене. Я стоял у стены и недоуменно смотрел, как моя жена, беззвучно смеясь, бросилась ползать по полу, собирая в коробку рассыпанные цветные пуговицы...

* * *

Когда доктора определили у Эстер Multiple sclerosis, я бросился просматривать разные медицинские справочники. Оказывается, рассеянный склероз может прояв-



лять себя в шестистах восьмидесяти пяти ипостасях. Надо же! С такой напастью не соскучишься... Мне и не приходилось.

О своей болезни Эстер не догадывалась, а я не видел причин, чтобы приходиться в отчаяние, ибо, несмотря на все шестьсот восемьдесят пять ипостасей Multiple sclerosis, которые пугали своей загадочностью, ни один из медицинских справочников не утверждал, будто Multiple sclerosis приводит непременно к... боже упаси!

Однажды в присутствии гостей Эстер устроила пробежки по комнате. Опрокидывались стулья, падали со стола тарелки. С тех пор звать гостей я не решался.

Однако время от времени на лице Эстер появлялась живая краска, и тогда она входила ко мне в комнату, и мы немного беседовали, вспоминая книжную лавку на улице Алленби, городской музей и кинотеатр «Офир», где на последних сеансах крутили старые фильмы.

— Помнишь «Красную палатку»?

— А фильмы Бергмана?..

— А «По ком звонит колокол»?..

— А Витторио де Сика?..

— А Жана Габена?..

Иногда мы говорили о нашей дочери и внуке, а иногда Эстер слушала, как я делаю музыку, или вдруг принималась напевать мелодии моих песен.

Я спрашивал:

— Долго ли собираешься их петь?

Эстер отвечала:

— Пока дышу.

Иногда, прихватив с собой нейлоновый мешочек с хлебными крошками, мы спускались в небольшой скверик, где на клумбе росли анютины глазки. Царапая лапками дорожки, к нашим ногам подбирались голуби и, вытянув шейки, останавливали взгляд на нашем нейлоновом мешочке.

— Питайтесь, голубки, нямкайте, — говорил я, и в ответ признательные голуби поднимали оглушительно громкое воркование.

Эстер нравилось заглядывать в раскрытые клювики голубей. Она, взмахивая руками, словно крыльями, тоже ворковала. А потом, когда голуби улетали, Эстер становилась задумчивой и принималась ходить от одной скамейки к другой.

Бывало, что на одной из скамеек сидела пожилая пара. Его голова была опущена на грудь, а она, широко расставив опухшие ноги, устало смотрела куда-то вдаль.

В один из знойных дней кто-то из врачей посоветовал забрать Эстер на север, снять комнату на неделю-две. На Голанах чистый воздух. Возможно, поможет. Бывает, что...

Была светлая, просторная комната с раскрытым окном. За окном — горы, море воздуха, океан неба. Два дня Эстер плакала, и я позвал ее прогуляться вдоль большого кукурузного поля.

— Нет! — сказала Эстер. — Нет!

— Ладно.

— Да! — услышал я потом.

— Ладно, — сказал я потом.

К вечеру стало прохладно, и мы вернулись в комнату.

Вначале Эстер вела себя спокойно, но внезапно ее движения стали нетерпеливыми, и, заговорив о своем брате, она потребовала, чтобы я позвонил куда надо...

Ночью слабый свет луны скользил по лицу Эстер.

— Спи, — просил я, увидев раскрытые глаза, — спи. Спи, — повторял я, — спи.

— Нет! — странно дышала Эстер.

Она поднялась с кровати и подошла к окну.

— Еще ночь, — сказал я в спину жены. — Ляг.

Я боялся, что усну без нее. Эстер оставалась недвижимой. Тогда я тоже поднялся с кровати и встал к окну.

— Там холодно, — проговорила Эстер.

Она была не в себе. Вся. Целиком. Полностью не в себе.

— Где? Где холодно?

Эстер показала туда, где виднелись синие вершины.



— Там очень холодно.
 — Сейчас лето.
 — Правда?
 — Конечно.
 — Холодно. Там очень холодно.

Я утеплил шею жены вязаным шарфом.

— Пойди, ляг, — сказал я. — В нашей постели нам будет тепло.

Эстер меня послушалась, но в кровати сказала, что теперь она замерзшая птица. Я привлек жену к себе, обхватил руками. Всю обхватил. Насколько позволяли мне руки.

— Достану из шкафа еще одно одеяло, — сказал я.

— Да, — отозвалась Эстер, — обязательно достань.

Я поднялся.

— Ты вернешься? — спросила Эстер.

— Конечно, я вернусь. Я вернусь тут же.

За окном виднелись темные силуэты дальних гор, и доносились истеричные крики проголодавшихся птиц.

«Завтра будет новый день», — подумал я.

Автобус в Тель-Авив возвращался в 6.30.

* * *

Теперь на часах было 5:32.

«Странно, — подумал я, — отчего умные люди так много размышляют о жизни, в то время как ее суть вроде бы ясна: люди осуждены на то, чтобы печалиться самим и печалить других. Ничего другого...»

Мысли ветвились, цепляясь друг за друга, и, не выпуская из рук сэндвич, я незаметно задремал.

Снилось, будто бы, выступая по телевизору, президент страны восхищался достойным вкладом моей музыки в дело исправления изъянов мира, а в конце своей речи зачитал телеграмму, в которой говорилось, что Создатель принял решение признать композитора Леона Кормана своим компаньоном.

И телеграмма Бога, и речь президента меня сильно взволновали. Мысленно поклонившись Богу и приветственно помахав рукой президенту, я проснулся и включил телевизор. Президент на экране уже не было — показывали ограбление банка в американском штате Алабама. Я немного подождал, зная, что ограбления много времени не занимают. Так было и в этот раз. Потом молоденькая журналистка брала интервью у ветерана войны, который в Тихом океане потерял свою ногу. Потом, когда ветеран замолчал, журналистка подвела итог сказанному: «Пока есть история и тот, кто ее рассказывает, жизнь продолжается».

Я выключил телевизор.

В домах скрипнули ставни открывающихся окон, и пахнуло жареным луком. 5:59.

«Говорит Иерусалим, — сказали в приемнике. — Сейчас шесть часов, шестое декабря две тысячи десятого года».

Я подумал о Создателе и, приложив руку к груди, возбужденно проговорил:

— Спасибо Тебе за новый подаренный мне день!

В приемнике сообщали о положении в Иране, о наводнении в Польше, о кризисе в Греции. Потом предложили послушать музыкальную новинку. Я послушал. В новинке ощущался избыток тумана. Потом сообщили о решении мэрии Тель-Авива снести здание кинотеатра «Офир».

Защемило в горле. Пересохло во рту. Заколело в груди.

Тишина казалась хмельной.

Из книжного шкафа я достал книжку Бротигана, полистал ее. Но мысли, продолжая кружиться вокруг сообщения о решении мэрии, не давали сосредоточиться. Захлопнув книгу, я зашел в ванную и встал под душ. Открыл оба крана.

— Дружище «Офир», двенадцатого декабря тебя умертвят... — пробормотал я.

Зазвенел телефон.



— Старина, живи до ста двадцати! — узнал я голос моего внука Дани.

Я прикинулся обиженным:

— Желаете видеть меня немощным старцем?

— Эй, — отозвался Дани, — как тебе такое пришло в голову?

— Со стариками бывает и не такое... — оправдался я.

Трубку перехватила дочка:

— Папа, ты заметил, что у Дани меняется голос? Мужчиной становится!

— Мужчиной становятся всю жизнь, — уточнил я.

Трубка умолкла.

— О чем молчишь? — спросил я.

— Кажется, пора предупредить Дани о том, что жизнь иногда наносит раны. Для такого разговора я пример неподходящий, а ты... Ты найдешь нужный тон. Нужный тон — это то, что у тебя получается лучше всего. Два месяца назад Дани ездил к своему отцу в Торонто, но тот посчитал, что сын задает слишком крутые и уж очень утомительные вопросы...

Дочка перевела дыхание.

Я молчал. Мне всегда бывало неприятно, когда этого человека из Торонто называли отцом Дани. *Отец* — сильно сказано. *Родитель* — да, это пожалуй ста. И только.

— Дочка, — позвал я и замолк.

Вдруг вспомнилось, как...

* * *

Здрав на себе блузку, Эстер разрешила мне послушать ее живот. Я слушал, трогал и спрашивал:

— Ты счастлива?

— Буду, когда это счастье из себя вытошню... — морщилась Эстер.

Однажды она это счастье вытошнила, и я обхватил крохотные подушечки ступней моей девочки. Потом были вечера, когда, укладывая мою малышку спать, я читал ей сказки. Господи, давно ли было то время, когда моя девочка, играя в песочнице, вдруг подзывала меня к себе, чтобы доверчиво сообщить: «Хочу сделать кое-что на букву “пи”...» Я уводил мою крошку за кусты. И давно ли был тот день, когда я подарил ей трехколесный велосипед? И давно ли был тот день, когда я проводил ее в первый класс? И давно ли был тот день, когда она принесла в ладошке свой первый выпавший молочный зуб? И давно ли она перестала просиживать вечера с Эстер, шепчась о чем-то таком, о чем мне не обязательно было знать... Господи, давно ли?

Более сорока лет назад.

* * *

— Папа, — слышалось в трубке, — Дани начинают интересоваться девочки.

— И что с того?

— А если он влюбится?

— Надеюсь, так оно и будет.

— Не понимаю...

— Что ты не понимаешь?

— Мне известно, что любовь — это симптом тяжелого несварения души.

Решив, что все во всем правы и что все во всем ошибаются, я осторожно проговорил:

— Как каждый из нас это понимает, так оно, наверно, и есть. Возможно, мой внук поймет это иначе, чем понимаешь ты или я. Помнишь, у Гераклита: «Если бы у слепого спросили, что такое зрение, то он бы ответил, что зрение — это слепота».

— Папа!

— Что?

— Я не об этом собиралась говорить. Хотела поздравить тебя с днем рождения и сказать, что семьдесят — цифра ужасно внушительная. Тебе — семьдесят! Подумать только!..

— Подумаю, — обещал я. — Привези внука, и мы с ним побеседуем.



- Отлично, папа, только приготовься к тому, что Дани закидает тебя вопросами.
- Я хорошенько разомнусь.
- Целую тебя.
- Ладно.
- И маму.
- Хорошо.

Опустив трубку, я послушал тишину, а потом подумал, что цифру 70 можно оценивать двояко: и как сумму, составленную из семи десятков, и как семерку, прижатую к бессмысленному нулю. Мои семьдесят — сморщенная кожа, ослабевшая память, путаные мысли... словом, изумительный итог.

Семьдесят лет! Время...

Я взглянул на стенные часы, подумал: «Хоть бы стрелки часов остановились...» 6:23.

Распахнув окно, я выглянул наружу.

Одинокое облако, низко кочевавшее над крышами домов, неожиданно подбросило себя высоко в небо и там, устало потянувшись, вдруг сникло и тихо растаяло. Добродушно шумела улица, со стен домов на тротуары сползали утренние тени, на которые наступали люди, губя их под своими ногами. Невысокий полный мужчина катил по улице бочку. «Возможно, бочку он стащил у Диогена», — подумалось мне. Из подъезда приземистого дома выбежал охваченный страстью обезумевший кот и, нагнав заметно растерявшуюся кошечку, принялся настойчивым и невероятно оглушительным воплем требовать у юной особы порцию сиюминутной любви. Под фонарным столбом остановилась старушка и, будто что-то выпрашивая у неба, потянулась к нему худыми узловатыми ручками. Старушку я узнал. По утрам она появлялась возле мусорных баков, чтобы подкормить уже поджидавших ее уличных кошек. Я подумал, что, наверно, в день смерти этой женщины добрая половина кошачьего населения Тель-Авива погрузится в тоску и безутешно-отчаянное рыдание от одной лишь догадки, что вдруг стали неутешными сиротами. Старушка скрылась за углом, а ее место под фонарным столбом занял большой белый лабрадор. Вдруг он задрал кверху голову и острым взглядом прицелился в мое окно.

«Тот самый», — подсказала мне память.

* * *

Две недели назад на площади возле мэрии мое внимание привлекла элегантно одетая дама, которая сидела за столиком уличного кафе и пила гранатовый сок. Большой белый пес лежал в тени столика и смотрел на меня таким откровенно-оценивающим взглядом, будто давно ждал нашей встречи.

— Чего тебе? — спросил я, подходя поближе. В ответ пес прорычал что-то неразборчивое.

— Что это он? — спросил я у дамы.

— Цицерон посчитал своим долгом высказаться, — не поднимая головы, пояснила дама.

— Цицеро-он... — с уважением проговорил я. Не так уж часто удается повстречать оратора такого калибра.

Дама поднялась, бросила на столик несколько монет по десять шекелей и, пряча лицо, позвала оратора к себе. Тяжело ступая, дама пересекла площадь и, подойдя к длинной черной машине, распахнула заднюю дверцу. Цицерон запрыгнул на сиденье и, прижав голову к оконному стеклу, показал мне язык.

Женщина ухватилась за руль...

* * *

Никакого сомнения: теперь под уличным фонарем стоял тот самый пес. Ворочая белками глаз, он все тем же оценивающим взглядом посматривал на мое окно, и я подумал, как удивительно похожи выражения, проступающие в глазах животных и людей. Впрочем, с кем поведешься...

Я приветственно помахал Цицерону. Тот пренебрежительно зевнул, а потом, опустив глаза, побрел дальше.



Внезапное чувство тревожного волнения заставило меня оглянуться на трубку телефона. Она молчала. И все же (я это невольно различил) в комнате послышалось движение звуков уже где-то и когда-то мною слышанных.

«Вы?!» — затравленно посмотрел я вокруг.

Будто липучки, ко мне пристали строки из прочитанной накануне книги: «Не будем стараться повторять жизнь, не будем лгать сами перед собою. А что нет старых тревог и волнений, и слава богу!»

Я перевел взгляд на пианино.

Мой старый друг.. Мой говорящий instrumentum vocalis...

* * *

Мне исполнилось пять лет, когда сосед по лестничной клетке признался моему отцу в том, что его дуэт с Израилем не сложился и что спеться он надеется с Америкой; мы же, если того хотим, его пианино можем оставить у себя.

Сосед улетел в Америку, а инструмент перебрался к нам.

— В жизни оставляют и не такое, — объяснил отец и повел меня к учителю Фридбергу на прослушивание.

— То что надо! — сказал про меня учитель Фридберг, и мы стали готовиться к поступлению в музыкальную школу.

К господину Фридбергу я приходил три раза в неделю, а дома после ежедневной гимнастики для пальцев, гамм и арпеджио, по два-три часа разучивал пьесы. Бывало, просыпаясь по ночам, я садился за пианино и, надежно придерживая ногой левую педаль, наигрывал какой-нибудь этюд или сонатину. С появлением пианино музыка в наш дом внесла несколько дополнительных градусов взаимного обожания.

Через год мои пальцы легко брали дециму, а спустя два года я решился на свой первый домашний концерт.

Мама ликовала, а отец мое исполнение до-мажорной сонатины Клементи записал на магнитофонную ленту, которая одиннадцать лет хранилась в синей пластмассовой коробке.

Перед уходом гости, приятели отца из оркестра Тель-Авивской филармонии, прикрепили над моим пианино плакат: «То, что отнимает у человека жизнь, возвращает музыка. Генрих Гейне».

Я разглядывал плакат.

— Твой первый приз за усилие и жертвенность, — объяснил отец.

О чем говорил плакат, я не понял. И что такое «жертвенность» — тоже не понял. Одно я в тот вечер все-таки понял: жизнь — это то, что ощущаешь в данную минуту.

* * *

Я вернул взгляд на улицу.

Возле прачечной стояла глухонемая Малка. Она беседовала с небом, и ее губы вздрагивали. Я задумался над тем, можно ли передать дрожание губ через музыку, но отвлекла возня за входной дверью. Вспомнил: должен прийти поэт Зив Росин.

— Входи! — крикнул я.

Дверь не открывалась.

— Входи! — повторил я.

Дверь не открывалась.

Я пошел открывать.

На пороге стоял Цицерон.

Я посторонился.

Разжав зубы, пес вывалил на пол листок бумаги.

Я нагнулся к листку, прочел: «Винюсь перед собой, винюсь перед вами».

Цицерон продолжал стоять с вывалившимся из пасти широким языком.

— Мучает жажда? — спросил я.

Животное не двигалось с места.

— Ожидаешь услышать ответ?

Пес язык убрал и вновь показал зубы. Я понял, что доверительного разговора между нами не получится.



— Уходи! — Я захлопнул дверь и вернулся к окну.

Возле припаркованной у тротуара длинной черной машины стояла пожилая дама в блестящей накидке. Я вздрогнул. Так вздрагиваешь, когда знаешь, что тебе предстоит испытать неминуемую боль.

— То самое лицо... — пробормотал я. — Ведь то самое...

К черной машине подбежал Цицерон. Распахнулись дверцы. Машина сорвалась с места.

Вдруг ощутив себя существом, угодившим в ловушку, я отпрянул от окна и повалился в кресло. В памяти заворошились залежи из прошлого — этюд Листа № 3, элегия Массне, девушка Юдит, волосы которой пахли духами «Chanel № 5».

Прошлое...

Я взглянул на часы. Секундная стрелка неумолимо подталкивала себя в будущее.

На коленях вздрогнула записка.

«Винюсь перед собой, винюсь перед вами» — что это значит?

Я думал. Мысли не шли. Слова не находились.

Я закрыл глаза — почудился запах духов «Chanel № 5».

Я открыл глаза.

6:44.

Подумал: «Стрелки часов удаляют меня от моей жизни. Уже? Разве уже?»

Не хочу. Пока еще нет.

«Может, сорвать с часов стрелки, и тогда...»

Тишина.

Я прислушался.

Юный голос Эстер сказал:

— Ты меня не предашь?

— Нет! — отозвался я своим давним голосом.

— Скажи: «Никогда!»

— Никогда! А ты?

— Я — как ты.

— До самой смерти?

— И до нее, и дальше...

Я выбрался из кресла.

Пианино.

Аккорд — как вздох. Пассаж — как разлитая грусть. Мое прошлое...

Пальцы пытались извлечь из клавиш молитву. Аккорд — словно всхлип. Пассаж — как печаль.

По комнате пробежал шелест безумных полутонов.

Молитва не получилась.

Руки с клавиатуры сбросил. Послушав тишину, я спросил:

— Что скажешь?

— Время в игры не играет, — отозвалась тишина.

Я подумал: «Может, если сорву с часов стрелки, время, которое между прошлым и будущим, остановится навсегда?»

Из коридора послышались шаги, потом в окошке туалета полыхнуло электричество. Зафыркала вода в бачке. Снова шаги. Теперь уже в коридор. Пришлось пойти выключать оставленный в туалете свет. Потом я постоял перед дверью в комнату Эстер и спросил у себя: «Где я? Где Эстер? Где мы с ней начинаемся и где кончаемся?»

Подойдя к книжному шкафу, я полистал книгу Мартина Бубера «Я и Ты». Слова, слова... Только были они не про мое это.

Вспомнил француза Бегбедера: «Издатели не читают книг, они их издают; критики не читают книг, они их просматривают; читатели не читают книг, они их покупают. Выходит, никто, кроме писателей, книг не читает».

Решил про мое это поговорить с Создателем.

Волнуясь, сбивчиво я высказал Ему все, что думаю о сотворении человека и обо всем, что в Его мире происходит. У меня сложилось впечатление, что Он слушал меня несколько рассеянно. Мне даже показалось, что Он меня не услышал; но, во всяком случае, не перебивал.



На кухне я выпил стакан гранатового сока и вернулся к мыслям о предстоящем дне гибели «Офира» и о записке, доставленной Цицероном.

«Не разыгрывает ли меня ненормальная старуха?» — я беспокойно поежился.

Моя комната...

Мои вопросы...

Стена — поворот, стол — поворот, книжный шкаф — поворот. Вопросы, вопросы, вопросы... как же без них...

Я взглянул на прикрепленный к стене плакат «То, что отнимает у человека жизнь, возвращает музыка», а потом, переведя взгляд на пианино, подумал: «Слава богу, что я не писатель...»

И снова: стена — поворот, стол — поворот, книжный шкаф — поворот.

Отчаянно пытаюсь стряхнуть с себя наваждение, я мотал головой, однако вздорные мысли вцепились в меня и не отпускали. «Как же теперь?» — неожиданный сбой в привычно отлаженном долгими годами мозгу вызывал досаду.

«Не бери в голову!» — любил советовать мой дядя Яков, но смущали слова Декарта: «Беру в голову — следовательно, существую».

Решил довериться к внутреннему голосу. Он подсказал, что все еще хочу существовать, и я принял сторону Декарта.

Не помня себя от растерянности, я припал к распахнутому окну. Тротуар усталосвещал фонарь, но я отчетливо различил лицо женщины из черного «мерседеса». Тот «мерседес» и то самое лицо. Ведь то самое...

Я не мог допустить мысли, что чуть сгорбленная, грузная женщина с измученным выражением лица — та самая Юдит, которая...

Раскрыв губы, я непонятно у кого спросил:

— Может, теряю рассудок?

Чей-то голос ответил:

— Напряги мозги.

Я напряг. Понял, что угодил в ловушку.

— Ты пришла? — крикнул я в окно.

Пожилая женщина в темной накидке с серебристыми блестками низко опустила голову.

— Обо мне вспомнила?

Женщина вскинула к ушам ладони.

— Нет?..

— Молчи! — потребовала она.

— Разве можно? — задыхался я от собственного крика. — Все эти годы я...

— Молчи!

— Но ведь я...

— Будет лучше, если на меня смотреть не будешь. Помнишь, стоило Орфею оглянуться назад, как...

— Сегодня правила другие! — огрызнулся я.

— Ты уверен? — Лицо женщины оставалось бесстрастным, даже чуть размытым.

Нет, уверен я не был.

Казалось, что и голос, и слова женщины выпали из давно не существующего времени. «У нее свое время», — догадался я.

Вдруг женщина достала из внутреннего кармана накидки зеленую свечу и зажгла ее, а потом, не выпуская свечу из руки, влезла в черный автомобиль.

На тротуар — точно на то место, где минуту назад стояла женщина, — упала высохшая горбушка хлеба.

Я встряхнул головой и, протерев тыльной стороной ладони глаза, спросил у себя: «Что происходит со временем?»

Что-то обожгло мои губы, а перед глазами заполыхали синие вспышки света.

Я оставил окно.

Почувствовав, как во мне шевельнулся холодный сгусток смущения, я, закрыв глаза, опечаленно пробормотал:

— Что за чертовщина... — и у себя самого любопытствовал: — Ну, и зачем все это теперь?



Ответа не было.

Где-то я прочел, что жить — это умение забывать, отрешаться от себя и лишь совсем изредка вспоминать про прошлые кусочки...

* * *

В тот вечер, когда мне исполнилось семнадцать, отец пригласил своих друзей на мой домашний концерт. Я исполнял этюд № 3 Листа и элгию Массне.

В те годы, исполняя, например, «Бабочек» Шумана, меня куда-то заносило, и тогда вместо Шумана под моими пальцами начинало звучать что-то собственно мое. Или, например, когда я разучивал Шопена, то, стараясь передать ощущение, которое, возможно, должны были испытывать пальцы Фредерика, когда они касались руки Авроры Дюдеван, мои пальцы неожиданно теряли над собой контроль и играли уже не Шопена, а нечто мое. Однажды, разбуженный ночными видениями, я бросился к пианино, потому что вдруг представил себя одновременно и юным Моцартом, и сильно постаревшим Григом; в результате слепилась невообразимая смесь, которая, впрочем, вызвала похвальные отзывы у преподавателей из класса композиции.

Отец поставил на стол боценок пива, бутылку вина и полную корзинку с грецкими орешками. Было весело. Кажется, с игрой у меня получилось неплохо. Но больше всего тот вечер мне запомнился появлением на нем миловидной девушки, которую привела с собой арфистка филармонии. Арфистка выпила подряд три бокала пива и уснула прямо на стуле. Я заговорил с девушкой. У нее были длинные ресницы и пахнущие волшебными духами волосы. Арфистка просыпаться не спешила, и тогда я сказал девушке:

— Разрешите проводить?

Она разрешила.

Не умолкая ни на миг, я всю дорогу рассказывал о своем недавнем успехе — втором месте в конкурсе юных исполнителей Баха, а Юдит, так звали девушку, слушала меня, и при этом ее серые глаза трогательно сужались, превращаясь в узкие щелочки.

— Вообще-то, — объяснял я, — добиться успеха пианисту не так уж сложно, если обладаешь отменными ушами, стальными нервами, нормальным кровоснабжением, бесперебойным сердцебиением, надежным вестибулярным аппаратом, прочными и выносливыми ягодицами, упругой спиной, самодисциплиной и неким количеством мозговых извилин. Всего-то дел!

Войдя в какую-то улочку («Дальше пойду сама!»), мы остановились.

На губах девушки блуждала странная улыбка.

Кивнув на мои пальцы, Юдит сказала:

— Такого Листа мне слышать не приходилось. Ты просто гигант!

— Гигант?

— Или король!

— Король?

— Или Геракл!

— Геракл? А кто еще?

Юдит рассмеялась и сказала:

— Чемпион!

Я подумал: «Вот они: Успех и Слава!»

Юдит больше не смеялась. Она смотрела, как я молчу. Она смотрела так замечательно, что я был готов онеметь навеки.

— Не молчи, — попросила она.

Я сказал:

— Как называются твои духи?

— Chanel № 5.

— Они, наверно, страшно дорогие?

— Думаю, что да. Знаешь, весь вечер я наблюдала за твоими пальцами. Они у тебя удивительно страстные, азартные, нежные... Ты просто гигант!

Девушка опустила глаза.

Мы снова замолчали.



У меня перехватило дыхание. Даже во время боев на ринге мое дыхание так туго не перехватывало, а тут вот... В эти минуты я был готов пройтись по улицам города на руках, кажется, у меня хватило бы смелости заговорить с Богом, но больше всего мне хотелось вновь услышать, как звучат слова «ты просто гигант».

— По-твоему, я действительно гигант? — прошептал я.

— Или король.

— Король?

— Или Геракл.

— Геракл? А кто я еще?

— Этого мало? Сегодня был чудесный вечер.

Меня затрясло, и я почувствовал, как вдруг лишился глаз, языка, ушей.

— Кажется, я самый счастливый в мире калека, — залепетал я.

— Что?

Я не стал выдавать свое состояние. Даже если б хотел это сделать, то и тогда вряд ли бы нашел нужные слова. Я лишь сказал:

— Заканчиваю разучивать новую вещь. Приходи через неделю.

Юдит загадочно улыбнулась и сказала, что для нее музыка, картины, книги — удовольствия слишком дорогие.

— Позабочусь, чтобы тебя впустили без билета, — обещал я. — Пожалуйста, приходи! Придешь?

Она пришла.

Был полдень. Я сыграл соль-минорную балладу Шопена.

Юдит спросила, что означает баллада.

— Раздумье, — объяснил я.

— Над чем?

— У каждого композитора над чем-то своим.

— А у Шопена?

— Все то, что серьезно — всегда тайна.

Юдит заговорила о том, что рано лишилась матери, и тогда отец, известный инженер на крупном сталелитейном заводе в Будапеште, перебрался со своей девятилетней дочкой в Израиль. Через полгода он почему-то выбросился из окна их съемной комнаты.

Юдит замолчала.

Я старался увидеть, как она молчит, ибо всегда считал, что по тому, как человек молчит, можно вполне угадать, о чем он молчит. Это похоже на вдруг перехваченный тобою взгляд. Просто взгляд...

— Неизвестность меня пугает. Всегда, — продолжила Юдит.

— Я защищу тебя, — сказал я. — Всегда.

— Знаешь, — неожиданно сказала Юдит, — я прихватила с собой купальник.

Мы спустились к морю.

Кружившие над нами чайки горланили непонятно о чем, и я сказал им, чтобы они оставили нас в покое. Мне хотелось продолжить разговор о задумчивой природе баллад, но Юдит на месте не стоялось. Я молча шел рядом.

— Не молчи! — потребовала Юдит.

И я принялся рисовать картину, в которой будет стоять знойный день лета, и мы вдвоем окажемся на озере Кинерет. Гуляя вдоль берега, неожиданно повстречаем Моцарта и Гайдна. Моцарт сообщит, что он прибыл поработать добровольцем в кибуце, а его друг Гайдн подрабатывает в качестве пианиста в одном из баров Твэрии. Гайдну я пообещаю заглянуть вечером в бар. «Сыграем что-нибудь в четыре руки, маэстро!» — скажу я ему.

Казалось, Юдит меня не слушает. Она шла чуть впереди и задумчиво смотрела куда-то вдаль. Я разглядывал ее плечи, спину, линию бедра, а когда она обернулась ко мне, увидел нежную кожу живота. Захотел увидеть еще и сердце. Не увидел...

* * *

И вот теперь — то самое лицо... Сейчас. Здесь. За моим окном. На моей улице... По этой улице мы, дети, бегали за повозками, доверху груженными бочками со свежей рыбой и ящиками с овощами и фруктами.



Детство — у кого-то красивые игрушки, у кого-то игрушек нет никаких; кому-то хорошо, кому-то плохо. Моя мама говорила: «Кому-то плохо, а кому-то еще хуже».

Теперь — внезапно пробежавший по тротуару ветерок унес на себе засохшую горбушку хлеба.

Я отпрянул от окна. Включил приемник. Шла передача о Микеланджело. Древний мудрец уверял: «Не надо бояться смерти. Если вы любите жизнь, смерть вам тоже понравится. Ведь это дело рук одного мастера».

Выключив приемник, я сел за пианино, чтобы перевести в звуки то, о чем сказал мудрец.

Пассаж... Аккорд...

Присутствие мира мешало сосредоточиться. Захотелось упасть в прохладу пола и не дышать.

Не упал — не дышать мое нутро воспротивилось. «Поищи другой *modus cogitandi*», — сказал я себе.

Поискал. Нашел.

Выход прозвучал потрясающе просто: «Покой придет, если убить в себе разум...»

В ванной комнате я побрился, ополоснул лицо и, сменив рубашку, стал припомирать, когда мы с Эстер в последний раз спали вместе. Четыре года? Ну да — четыре года назад...

На коврике возле кровати я заметил хлебную корку. Догадался, что уронил ее ночью. Корка была высохшей и бессовестно крошилась. Бросив ее в мусорное ведро под раковиной, я подумал: «Старое раздражает... Все, что старое...» Вспомнил грустного писателя, который сказал: «Человеческую жизнь легко выразить в нескольких междометиях: ох-ох! ой-ой! фу-фу!»

Заглянул в комнату жены в надежде, что, возможно, удастся перекинуться словечком или даже двумя.

С растрепанными волосами, в ночной рубашке Эстер сидела на ковре и, задумчиво улыбаясь, перебирала цветные пуговицы.

— Как ты? — спросил я.

Эстер попыталась что-то сказать, но слова у нее не шли. На ее щеках проступили рыжие пятна.

Я отвернулся. Мои губы прошептали:

— Не отчаивайся, Корман! В конце концов, главный *modus* твоего *cogitandi* — делать музыку.

Белые клавиши... Черные клавиши... Забегали пальцы.

Меня не покидала мысль о той женщине.

Диез... Бемоль...

«Зачем она сейчас?»

Аккорд... Пассаж...

Вопросы. Смутные догадки.

Staccato... Legato...

Я подумал о внуке: «Дани — славный парень!»

Кажется, когда пятнадцать лет исполнилось мне, я тоже был славным парнем...

* * *

Когда мне исполнилось пятнадцать, дядя Яков ткнул пальцем в низ моего живота и прошептал:

— Думаю, твой вулкан готов приступить к началу извержений... Пора тебе ощутить себя мужчиной!

О каком вулкане и о каких извержениях речь, я не совсем понимал, но, подчинившись совету дяди Якова, отправился с визитом к госпоже Матильде.

В жидкое, словно пролитая сметана, лицо я проговорил:

— Дядя Яков просил передать, что под моим животом затаился действующий вулкан, и его извержения вот-вот себя покажут, а еще дядя Яков считает, что мне пора узнать первую любовь.

— Раздевайся! — сказала госпожа Матильда.

Я посмотрел на малиновые губы.



— Как это?

— Совсем.

— Зачем?

Оставив мой вопрос без ответа, госпожа Матильда опустилась на сильно продавленный диван и развела ножки-столбики в стороны. Столбики были тоже белые и жидкие. «Остолбенелая сметана», — определил я и спросил:

— Вы лекарь?

— В некотором роде! — рассмеялась госпожа Матильда.

Я задумался над тем, что должно означать «в некотором роде».

— Ну что же ты! — Нетерпеливое тело госпожи Матильды взметнулось вверх и, перевернувшись в воздухе, со страшным шумом упало на живот.

— Присаживайся! — потребовала госпожа Матильда.

— На куда?

— На сюда! — госпожа Матильды призывно похлопала рукой по выступающему под юбкой широкому булыжнику.

Я забился в угол дивана.

— Не нервничай! — хихикнула госпожа Матильда. — Брючки отложи на стульчик.

Я недоумевал: как можно отложить брючки на стульчик, если они — на мне?

— Ну! — послышалось.

— Что? — не понял я.

— Ты еще жив? — пошевелив булыжником, спросила госпожа Матильда.

Мне стало страшно, а еще меня подташнивало.

— Разрешите домой пойти, — сказал я.

Госпожа Матильда села, подмяв булыжник под себя. Малиновый рот проговорил:

— Уйти, не полюбив?

Я глянул на хохочущую сметану, чувствуя, как теряю сознание.

— Бедный Яков! — сотрясалась от смеха госпожа Матильда. — Он этого не перенесет!..

Я спрыгнул с дивана и побежал к двери.

Остаток дня я провел на берегу моря, слушая крики чаек и наблюдая за тем, как в воду входит солнце.

Потрогав живот и убедившись, что вулкан под ним вроде бы в потухшем состоянии, я пришел к выводу, что без первой любви вполне можно обойтись, а потом, вспомнив, как с честью выдержал дьявольское искушение, впервые ощутил себя мужчиной...

* * *

Вконец измученный, я вновь обрушился на клавиши.

Звуки — в голове, в груди, в кончиках пальцев. Пассажи-вопросы... Аккорды-недоумения...

Ну вот — кажется, я застрял на одном месте. Глухо... Полное отсутствие желаемой легкости и непринужденности.

Я послушал тишину и с облегчением вздохнул, вдруг подумав, что так даже лучше, что всякий раз, когда что-либо сочинялось легко и непринужденно, это вызывало во мне мучительное ощущение того, что получается нечто легковесное и безжизненное. Нет, только не безжизненное!

Оставив клавиатуру, я вернулся к окну.

Увиденное за окном лицо сбивало с толку. Кажется, я находился в состоянии человека, который после только что перенесенной операции отходил от наркоза. Мои мысли продолжали кружить вокруг видения длинного черного автомобиля и белого пса, подбросившего мне загадочную записку: «Винюсь перед собой, винюсь перед вами».

Меня охватило неудержимое желание к исповедальной беседе. Пытаясь поделиться со своей смутной догадкой и давно уже не испытанным чувством трепетного волнения, я принялся звать на помощь слова. Но я не знал, какие это должны быть слова. Легко писателям, а я не...



Белые клавиши... Черные клавиши... Аккорд... Пассаж...

Вдруг я в себе услышал две противоборствующие мелодии: одна, легкая, раскрепощенная, нетерпеливо рвалась наружу, другая, глубоко затаившаяся, наоборот, упорно тому противилась.

Пассаж... Аккорд...

Вспомнился писатель Бротиган. Ему повезло — он застрелился. Прости, писатель Бротиган.

Аккорд... Пассаж...

И вдруг — внезапный толчок... сильный толчок...

— Баллада! — вскрикнул я. — Баллада, баллада, баллада! — повторил я несколько раз подряд и рассмеялся, представив себя в роли роженицы, нетерпеливо ожидающей появления желанного плода.

Жребий брошен! Меня понесло. Баллада...

Кажется, наметила тема... И вариации темы... И возвратились звучания давних голосов...

Triole... Agreggio...

Время вынашивания желанного плода было для меня всегда самым волнующим периодом существования; я не испытывал акта более волшебного, чем ощущение своей возможности передать на волю, казалось бы, непередаваемое.

Пассаж... Аккорд...

И все-таки пока что получалось не совсем то и совсем не так... Пока я чувствовал, как все накопленное во мне в последние дни покрыто плотным холодным слоем, а добытые из инструмента музыкальные фразы, будто гекзаметры Лукреция, звучали тяжело и чересчур неповоротливо.

В телефонную трубку пожаловался знакомому поэту:

— Зив, баллада не получается.

Поэт посоветовал:

— Подожди до завтра.

— «Завтра» ко мне никогда не приходит, — заметил я. — Стоит мне проснуться, как оказывается, что я снова в «сегодня».

Зив хмыкнул:

— В таком случае, если не брезгуешь, возьми себя в руки.

— Я пытался, но...

— Тогда постучи по голове.

Я ужаснулся:

— По голове?!

— В поисках необходимого слова я поступаю именно так.

— Как ты можешь?

— Пальцем. Всего лишь одним пальцем.

— Это же, наверно, утомительно? — предположил я.

Зив хихикнул:

— Тогда... В моем запаснике имеется и другая успешно апробированная сублимация. То есть, если со словом у меня что-то не клеится, я отправляюсь к своей барышне, и уже в процессе тесного содружества двух жаждущих тел в моем мозгу непременно вырисовывается то самое слово, а порой даже целая мысль. И вот тут-то важно не упустить время, заставить мгновенно отключиться свой детородный орган и, не мешкая, сорвать ее домой с целью внедрения заветного слова в ранее прерванный стих...

С тоской посмотрев на клавиши, я подумал: «То — слова, а тут — звуки...»

Вдруг мне показалось, будто треснуло оконное стекло, и в комнату проникла засохшая хлебная корка.

— Изыди! — прошипел я на нее и даже проделал ряд движений, усвоенных более полувека назад, когда занимался боксом.

«Неужели теперь и я тоже крошусь? А ведь, бывало, не крошился... В двадцать, в тридцать, в сорок, в пятьдесят лет — не крошился...»

Пассаж... Вскинувшись, музыкальная фраза затрепетала, будто в конвульсиях.

«Только бы не задохнулась», — озадачился я, зная, что внутри фразы должно оставаться место для воздуха. Что-то во мне встрепенулось, и я почувствовал на себе взгляд чего-то очень давнего, молодого.



Новый пассаж. Еще один. Еще...

«Не сдавайся, Корман! Ты, надеюсь, удар держать не разучился, или хотя бы вспомни, как, выходя на ринг и пропустив удар (как без этого?), ты тут же отвечал двумя встречными. Теперь ринг — твое пианино».

«Баллада, расскажи о мужчине, который...»

Аккорд — словно смятение. Пассаж — словно неожиданная отрада.

«Леон Корман, распотроши себя, раскройся!»

Пассаж... Еще один... И еще, и еще...

«Клавиши, сдавайтесь: сопротивление бесполезно! Вас восемьдесят восемь — только и всего».

Что-то получалось. Что-то — не очень. Я сказал себе: «Дзадзен! Не раскисай, композитор Леон Корман!»

Аккорд... Еще один... И еще, и еще...

Подумал: «Второй и третий — не то, зато первый — то».

Снова взяв первый аккорд и придерживав все три клавиши, я старательно прислушался к пробежавшему надо мной эху.

— Ну вот, кое-что баллада высказала... — вздохнул я и клавиши освободил.

— Говори, баллада, расскажи... — Осторожный палец придавил одинокую клавишу. Послышался растерянный нервный звук.

«Словно призыв к экзорцизму», — подумал я и палец убрал.

И вдруг... по всей длине клавиатуры выросла цветочная грядка, удивительно похожая на ту, что на картине Эвелин Тейлор, где поверх клавиш рояля тоже росли цветы.

«Эта баллада — твой последний уют...» — сказали цветы.

Я перевел взгляд на плакат «То, что отнимает у человека жизнь, возвращает музыка».

Клавиши цветы с себя скинули.

Пассаж... И еще... И еще, и еще... Баллада заговорила в ля-миноре.

Меня тронули за плечо.

— Билеты достал? — На моей жене было ее любимое серое платье.

— Билеты? — Я взглянул на босые ноги Эстер.

— Разве мы не идем в «Офир»?

— В «Офир»?

— На последний сеанс.

Молча проводив жену в ее комнату, я вернулся к пианино.

— К бою! — призвал я себя.

Пассаж... Аккорд... Синкопы...

Нет, нет, нет — моя баллада звучала не так!..

— Господи, помоги! — просил я, но звуки продолжали безжалостно терзать мои уши. То безудержно хохоча, то глухо рыдая, то ускоряя бег, то спотыкаясь о пространство комнаты, они метались, будто обезумевшие, а потом вдруг смолкли, и комната, казалось, наполнилась густыми клубами тумана.

Мое тело обмякло. Мои пальцы онемели. Моя голова ощутила усталость.

Я сбросил с клавиатуры руки.

Тишина.

Вспомнилось про тогда — последние сеансы в «Офире», по дороге домой кафе-мороженое; мы с Эстер безумолчно разговариваем и смеемся над тем, как после поцелуев наши губы друг к другу прилипают...

— Господи боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о боже! — шептал я.

Я прислушался к тишине, опасаясь упустить Его голос, но, видимо, упустил. Вспомнил, что наш праотец Авраам услышал голос Божий в семьдесят пять лет. Подумал: «Выходит, Его голоса мне пять лет дожидаться...» Решил: «Дождусь!»

Вернулся к пианино. Но пока предательски ускользала тема.

Пока не помогала смена ритма, тональности, интонаций. Пока — не удавалось добиться цельности звучания. Пока — в трещины и щели проникало лишнее и наносное. Пока — я молился Богу. Пока — я вновь с Ним ссорился. Пока — озабоченно размышлял: «Поймут ли балладу как надо?» Пока — утешала мысль: «Професси-



ональные критики непременно поспешат разъяснить, что и как...» Пока — покалывала грешная мысль: «Что, если профессионалы ошибутся?» Пока — думал: «Господи, избавь от профессионалов!» Пока — тревожила щемящая мысль: «Между строками смотреть умеют многие, а сколько тех, кто умеет между звуками слушать?» Пока — продолжая терзать клавиши, я бормотал: «Не то, не то, не то, не то...» Пока — при взгляде на мои записи в нотной тетради не спасала даже древняя максима: «*Epistula non erubescit*» — «Написанное — не краснеет».

Хитрили древние. Блистательно хитрили.

На память пришла журнальная заметка, где сообщалось, что никто не предчувствует свою гибель острее, чем свиньи.

— Господи, неужели я превратился в... — залепетал я и осторожно хрюкнул.

Прислушался. Прозвучало вроде бы не по-свински, и этим утешился.

«Остынь и себя не терзай! — сказал я себе. — Истинное творчество — это не столько умение, сколько проявление свойства, и если оно в тебе есть, то просто возьми и дождись его возвращения. Вот и в кумранских свитках сказано: “Царапину души не изображайте на плоти вашей”».

Опустил крышку пианино. Кажется, опустил слишком резко. Снова приподнял. Попросил у нее прощения. Снова опустил. На сей раз бережно.

«В конце концов, нужные звуки приходили всегда...» — подумал я и даже пропел:

— Эх, раз, еще раз, еще много-много раз!..

Махнул рукой, решив, что ничего «много-много» у меня быть больше не может, потому что старость и смерть появляются лишь по одному разу, всего лишь по одному...

Часы показывали 8:15.

Прихватив с собой пустой термос, я спустился на улицу.

* * *

Заведение Нисима вклинилось между зданием мебельного магазина и какой-то конторой. По утрам здесь собираются люди, прошлое которых, безусловно, длиннее, чем их будущее. Не самое лучшее кафе в городе, но и не самое худшее. Мне подходит. Во-первых, оно на моей улице, во-вторых, с Нисимом мы давние приятели. У входа справа — стойка и стеклянный шкаф с бутылками сока, минеральной воды, свежими булочками, покрытыми шоколадной гладью. Можно заполучить вино и даже более крепкий товар, который хранится на специальной полке внутри стойки.

В прежние годы в кафе вертелась молодая японка. Она помогала Нисиму и говорила на иврите, который могли понять разве что японцы. С появлением в стране экономического кризиса девушку пришлось уволить.

Над стойкой бара светился экран телевизора — депутаты кнессета обсуждали очередное изменение в законе о социальном обеспечении пожилых граждан.

— Привет, полковник!

Нисим был занят зарисовками: коты, дремлющего под столом; коты, возбужденно поглядывающего на незаконных птичек; коты, недоуменно исследующего пустую миску; коты, яростно точащего когти о плитус.

Отложив рисунки в сторону, Нисим протянул мне руку. Он не возражал против того, чтобы я называл его полковником, хотя в войну Судного дня, командуя танковым батальоном, он был майором. Под Суэцом его тяжело ранило.

Я кивнул на заполнивших экран депутатов.

— Замечательные деятели, — отозвался я о них.

— Были бы просто безупречными, — проворчал Нисим, — если бы не два недостатка: понимали бы, о чем говорят, и знали бы, что делают...

Диктор перешел к обзору сводок из мировых столиц.

Нисим убавил звук.

— Двенадцатого декабря, — сказал я, — власти Тель-Авива разберут кинотеатр «Офир».

— Суки! — осклабился Нисим.

Я развел руками.



Нисим поинтересовался:

— Покой в этом мире когда-нибудь будет?

Я рассказал анекдот:

— Наркоман спросил у приятеля: «А сегодня что — пятница?» — «Нет, сегодня вторник». — «Выходит, пятница была вчера?» — «Нет, вчера был понедельник». — «Тогда пятница будет завтра, да?» — «Завтра будет среда». — «Получается, что на этой неделе пятницы вообще не будет?»

Нисим выключил телевизор и, укоризненно посмотрев на меня, стал уверять, что он не наркоман.

— Допускаю, — уклончиво проговорил я.

Нисим спросил о здоровье моей жены.

Я промолчал.

— Уже не то, да?

— Теперь — не совсем то...

— Тяжело с ней?

Я снова промолчал.

— В последние четыре года тебе достается...

Я протянул термос. Нисим залил в него чай.

— Приходится держать оборону, — сказал я. — Кому, как не тебе, знать, что когда отступать некуда, силы бойца удваиваются. Кроме того, Эстер дает мне возможность ощущать себя мужчиной.

Нисим хмыкнул:

— Потрясающе счастливая возможность!..

— Вот видишь: выходит, что я не истец, а должник. — Я прихватил с собой термос и присел возле окна.

— Сегодня выглядишь изнуренным, — заметил Нисим, ставя на мой столик бутылку минеральной воды и стакан.

— Наверно, рассыпаюсь, будто высохшая горбушка хлеба, — смущенно отозвался я. — Или чахну, как увядающее сердце...

— Сердце не увядает, — возразил Нисим. — Бывает, что оно печалится, глупеет, болеет, а увядать — это нет.

— Может, тускнеет?

Нисим покачал головой, спросил:

— Устал?

— Возраст, — пояснил я. — Переходный...

— Откуси себе язык, отрок. Как всегда пытаешься играть по правилам? Когда карты тебе противятся, остается одна возможность выиграть — играть не по правилам.

— Мне нужно выиграть?

Нисим задумчиво посмотрел на окно и вдруг сказал:

— Дов в больнице. Врачи нащупали в его печени паршивую опухоль...

Лицо Нисима приняло горестное выражение. Он замолчал. Я тоже.

Я вспомнил то время, когда молодой Дов уезжал в Париж учиться на архитектора; потом он вернулся, и по его проектам построили дома в Холоне, Герцлии, Реховоте. Полгода назад один из его проектов представили к участию в международном конкурсе. Теперь выиграть приз Дов вряд ли успеет...

— Такая вот нелепость, — сказал Нисим.

Во мне проснулся философ. Я напомнил:

— Мир стоит на нелепостях.

Нисим вобрал голову в плечи.

— Жизнь парш-ш-шивая! — прошипел он. — Ты не знаешь, почему мы за нее цепляемся?

Сделав попытку вызвать ответ, я постучал себя по лбу:

— Возможно, завтра что-то изменится...

Мы снова помолчали.

Я подумал, что скоро бедняге Дову выигрыши не понадобятся. Никогда уже не понадобятся.

Вдруг Нисим сказал:



— По вечерам Дов заходил сюда, и мы играли с ним в шашки или говорили о старости...

Я опешил:

— Что уж такого хорошего можно сказать о старости?

— Так мы ничего хорошего о ней и не говорили. Мы чаще о прошлом вспоминали. Мы обожали говорить о прошлом. Бедняга Дов... Почему в мире так — одним перепадает разное добро, а другим — всякое говно? Знаешь, порой меня пробирает страх.

Я не поверил.

— Эй, полковник, что в этом мире осталось еще такого, что может напугать тебя?

Нисим выставил передо мной четыре пальца:

— Старость, одиночество, нелепости и тараканы.

— И тараканы?

— Они больше всего. Я просто прихожу в ужас от мысли, что наступит время, когда по столу и стенам моей комнаты примутся шнырять тараканы, а я окажусь настолько старым и слабым, что сил не хватит их прикончить.

Я налил себе стакан минеральной воды. Немного отпил.

— А теперь Дов из жизни уходит, — продолжил Нисим. — Он будет там, а мы пока еще здесь... Это ужасно!

— Думаешь, то, что мы еще здесь — ужасно?

Нисим не ответил.

Я стал думать о тараканах, а потом сказал:

— Скоро и перед нами, заложниками старости и смерти, распахнутся тамошние ворота и прогремит победный салют в знак нашего наступившего умиротворения, когда чувствовать себя смертными больше не понадобится...

— Салют? — настороженно спросил Нисим.

— При входе нас примет вспышка ярко-синего света. Возможно, фиолетового.

Нисим приблизил ко мне озабоченное лицо:

— А если от нас с тобой там откажутся и не примут?

Я развел руками:

— Возможно, что откажутся, но, думаю, примут...

Наверно, мои слова о тамошних воротах Нисим воспринял как философскую примочку, потому что, покашляв, покусав губы, пошевелив ушами и поскрипев зубами, сказал:

— Кажется, наш с тобой разговор напоминает, как говорят англичане, брызги мочи на ветру. Фейерверк!.. Салют!..

Мы улыбнулись друг другу.

«Как два идиота, как два никчемных анахронизма», — подумал я и убрал термос с чаем под стол.

Нисим вернулся к стойке.

За соседним столиком, искоса заглядывая в свои рюмки, двое мужчин, громко переговариваясь, поедали куриные ножки. В том, у которого было одутловатое лицо и седые плохо подстриженные усы, я узнал бывшего актера Шимона Вольского. Лет семь назад его уволили из городского театра за чрезмерную страсть к вину, и тогда он, поступив на службу в один из крохотных театров старого Яффо, сменил свой image: стал употреблять исключительно водку. Его собеседником был молодой художник Дима Клоц, которого, как я понял из услышанного разговора, жена выгнала из дома. Теперь он, пытливая заглядывая в глаза актеру, жаловался:

— Мою душу сверлит невыносимая боль.

Актер покачал головой и, громко фыркнув, изложил свою версию боли.

— Боль — это прямой результат постоянного и гипертрофированного присутствия в нашей жизни клизмы, — бесстрастно разъяснил актер. — В школе нам ее ставили учителя, в армии — прапорщики, в университете — декан. Даже детей делают чем-то таким, что внешне напоминает клизму. И ничего иного, кроме как клизмы, ждать от этого мира не приходится.

Дима Клоц, устало вздохнув, сказал:

— Жена отлучила меня от своего тела.



Актер приподнял рюмку.
 — За твою свободу!
 Они сделали по большому глотку.
 — Я всегда знал, что пары расходятся. Часто. Довольно часто. Но чтобы такое коснулось нас... Господи, вчера моя жена сказала, чтобы я ее оставил!
 — А ты что?
 — Я попросил, чтобы она меня не отталкивала.
 — А она что?
 — А она взяла и оттолкнула. На этот раз она...
 — Отпей еще, — предложил актер.
 Дима Клоц отпил еще.
 — Как она могла обойтись со мной так?!
 — Крепись! — сказал актер.
 Дима Клоц отпил еще.
 — Свобода... — проговорил он. — Только бы не растерять...
 — Не каркай! — попросил актер.
 — А что если моя жена вдруг...
 — Не надейся, чудес не бывает! — перебил актер. — Из одной мухи можно сделать лишь одного слона, не более...
 — Ну да, — согласился Дима Клоц.
 Актер криво усмехнулся и для пушшего эффекта рассказал анекдот о муже, который повез свою жену к чудотворному источнику, но чуда так и не свершилось — они до сих пор вместе...
 — Я свою не повезу! — разволновался художник. — Но вот не прошу себе, что перед уходом не сорвал с нее блузку. Упустил шанс...
 — Оплошал, — согласился актер.
 — Знаешь, — печально проговорил Дима Клоц, — у меня в доме осталась дочка.
 — А у меня сын, — сказал актер. — Однажды он из дома сбежал.
 — Я всегда хотел сына, а получилась дочка, — сказал Дима Клоц.
 Актер стал объяснять, как делаются сыновья.
 — Я делал все точно так же, — сказал Дима Клоц, — но у меня дочка.
 — Странно, — удивился актер.
 В кафе заглянул молоденький солдат. У него было озадаченное лицо.
 — Что, боец, офицер клизму поставил? — спросил актер.
 Щечки солдата покрылись алыми пятнышками, и он, попятившись назад, аккуратно прикрыл за собой дверь.
 Актер, заново наполнив себе и художнику рюмки, спросил:
 — И что, собственно, сказала твоя жена?
 — «Убирайся вон!»
 — А ты что сказал?
 — «Прости!»
 — А она?
 — «К черту!»
 — А ты?
 — А я промолчал. Что тут еще сказать?
 Актер покачал головой и опрокинул в себя рюмку.
 — За твой первый день свободы! — объявил он.
 Художник прикрыл веки.
 — Решил вздремнуть? — удивился актер.
 — Просто зажмурился. Свобода — это как смотреть на солнце... Что же теперь будет дальше?
 Взболтнув графинчик, актер объяснил:
 — Дальше будет второй день свободы.
 Художник заплакал.
 — Я лучше пойду, — сказал он и ушел.
 Покончив с куриной ножкой, актер задержал взгляд на моей бутылке с минеральной водой и презрительно усмехнулся.



Я задержал дыхание.

— Непристойный дринк, — гнусаво хихикнув, изрек актер. — В подобной жидкости копошатся смертоносные бактерии. . .

— Это правда? — спросил я у Нисима. — В твоём заведении обитают микробы?

Нисим издал хриплый, как у попугая, вопль:

— Вр-р-ранье! Вр-р-ранье! Вр-р-ранье!

— Ха-ха-ха! — весело отпарировал актер. Подняв над столиком рюмку с водкой, он с настойчивой торжественностью заявил, что на самом деле лишь только в aqua vita, в этой воде жизни плещется источник истинной бодрости и силы.

По взгляду, брошенному на актера Нисимом, было не трудно угадать, как велико его желание открутить актеру нос, но вместо этого хозяин кафе почему-то зажег спичку и стал смотреть, как она разгорается. Потом зажег другую.

— Только aqua vita! — твердо повторил актер. — Ultima ratio!

Столь решительный тон подкупил меня, и я подумал, что небольшая порция дополнительных сил мне не помешает.

Нисим достал из холодильника начатую бутылку «Smirnoff».

— Вот тебе рюмка водки, — подойдя ко мне, сказал Нисим. — Набирайся сил, отрок.

Актер одобрительно крикнул и, задумчиво запустив руку в прислоненный к ножке столика потрепанный портфель, достал из него завернутый в газету череп.

— Лично мой, — развернув газету, пояснил актер.

Нисим насторожился.

— Каким это образом череп твой, — спросил он, — если сам ты живой?

— С чего ты взял, что я живой? — обиделся актер и нежно провел по черепу мизинцем.

Кафе погрузилось в звонкую тишину, и я, прислушавшись к ней, определил, что она звучала в ми-бемоль миноре.

С улицы вошла скуластая молодая женщина в толстой кофте. С минуту она недвижно стояла у двери, потом, обведя долгим горестным взглядом присутствующих, достала из сумочки пачку сигарет.

— Здесь не курят, — пояснил Нисим.

Женщина вернула сигареты в сумочку и присела за свободный столик.

— Кофе? — спросил у женщины Нисим.

— Да, большую чашку.

Помахав черепом, актер сказал:

— Мадам, вы не находите, что над нами витает ужасная аура тоски?

Женщина не ответила.

Актер предложил:

— Попутешествуем?

Губы женщины приоткрылись:

— Что вы имеете в виду?

На лице актера выступило выражение человека, готового немедленно принести себя в жертву. Убрав череп в портфель, он сказал:

— Почему бы нам не слетать в славный город Зальцбург?

Женщина снова оглядела присутствующих; ее лицо напряглось.

Актер уточнил:

— Культурное мероприятие. Всего лишь это. Ничто так не обостряет наши чувства, как путешествия. Два года назад я летал в Россию. Что вам сказать? Страна чудес! Там пьют водку, закусывая мороженым. Что же касается города Зальцбурга, то... Ступая по квартире гения, я почти не дышал, а разглядывая скрипочку с клавиноном, а еще — кровать с ночным горшочком под ней. Я настолько разволновался, что, казалось, теряю пульс. По горшочку трепетным пальцем постучал и представил себе, как великий Амадео опускает с кровати ноженьки, как, приподняв подол ночной рубашонки, он в горшочек...

Нисим поставил перед женщиной большую чашку кофе.

— Где этот Зальцбург? — поинтересовалась женщина.

— За границей, — пояснил актер.



— А-а-а... — тяжело вздохнула женщина и, оставив свой кофе нетронутым, бросилась к выходу.

Наступила гнетущая тишина.

— Отчего у женщин такие бледные лица? — заговорил Нисим.

— От безумного счастья! Отчего же еще? — отозвался актер и снова достал из портфеля череп.

Нисим пожал плечами:

— К чему вам сдалась эта штука? Да еще с собой таскаете...

Актер яростно прорычал:

— А что еще может напоминать нам так живо о жизни?!

— Ну да, — ухмыльнулся Нисим, — больше ничего...

Отпив водки, я посмотрел в окно. Ни обещанной силы, ни предположительного в голове тумана не чувствовалось. «Зато и бактерий тоже нет», — утешила мысль. В окне кафе было видно, как вдоль пустынной улицы неторопливо покатило тело черного «мерседеса». Немного погодя машина развернулось в обратную сторону и, снова поравнявшись с окном кафе, на минуту задержалась. Я вытянул шею. Автомобиль тронулся и поехал дальше.

И тут я увидел Зива. С лица Зив напоминал ротвейлера, по фигуре — высохшее деревце, по разговору — глубоководную рыбу. «Кто ты на самом деле?» — спросил я однажды. «Реалист, проглотивший в себя кусок иллюзорности», — глотая слова, объяснил он.

Зив вырос на нашей улице, и до двадцати двух лет был нормальным парнем, пока, испытав странные ощущения, не увидел вдруг мир в другом облики. Словом, он решил стать поэтом. Писал он легко, влюблялся легко, а расставался со своими подружками совсем уж легко. Он нигде не работал; его содержала мать, у которой был магазин мужских и женских головных уборов и которая считала своего сына самым талантливым поэтом во всем южном районе Тель-Авива. Когда Зиву бывало хорошо, он садился сочинять стихи, но тогда он чувствовал себя сильно подавленным; стоило ему сочинять стихи перестать хотя бы на день-два, как ему становилось хорошо настолько, что он вновь хватался за стихи. Как и многие неуверенные в себе люди, Зив был необыкновенно упрям и раздражителен. На мои замечания он отвечал: «Не будь я немного невротиком, как бы опознали во мне еврейского поэта?» Однажды он уговорил меня сочинить музыку на одно из его стихотворений. Я почему-то согласился. Получилась песня. Имела вроде бы успех. «Поработаем вместе еще!» — заявил Зив. Что думаю на этот счет я, его не интересовало. В моем доме он бывал едва ли не единственным гостем, поскольку прогулки Эстер по квартире не смущали лишь только его одного.

Подсев за мой столик, Зив помахал листком со стихами перед моим носом и признался:

— Я переполнен всем этим, и уж просто не знаю, как мне освободиться от своего рабства.

— Никаких шансов! — издали выкрикнул актер. — Освободиться от рабства не сумел даже Спартак!

Зрочки Зива расширились до невероятных размеров.

Я поинтересовался:

— Нужна помощь?

Зив вжался в стул.

Актеру я объяснил:

— Молодой человек — поэт.

Актер поморщился, а потом, с нежностью поглядывая на зажатый в руке череп, призвал:

— Раз так, пусть угостит нас своим производством!

Зив угостил:

— Сон, словно пиявка,

пил мое тело,

и, проснувшись,

я обнаружил, что лишился крови.



Глаза актера залило угрюмое напряжение. Фыркнув в рюмку и театрально поклонившись в сторону Зива, он проговорил:

— Бред, который ты нам здесь набормотал — это не стихи, а тусклый мусор, лишенный трепетного чувства жизни и звенящего, горячего пульса творчества. Где непрерывный акт, вызывающий в людях бурный ток крови и бешеный оргазм? Свои жалкие пуги ты смеешь называть стихами? Тьфу! Кому ты головы морочишь? Возможно, лишь только куры с их специфическими мозгами могут отнестись с участием к твоему разбрасыванию мусора... Читай, юноша, классиков, наслаждайся шикарными образами великолепного Чарльза Буковского! Взять, к примеру, вот этот шедевр: «— Подними платье повыше! — попросил я. Она подняла. Это было похоже на восход солнца».

Страшно побледнев, Зив втянул голову в плечи, и казалось, что у него вот-вот выпадут глаза.

— О чем господин говорит? — спросил он у меня голосом, напоминающим интонацию изрядно выпившего человека, который изо всех сил пытается казаться трезвым. — Я так старался! — бился... как рыба об лед...

— Не туда старался! — взревел актер. — Биться надо не как рыба об лед, а как гусь о подоконник — эффект гораздо больше!..

Зив растерянно развел руками и, непонятно к кому обращаясь, продолжил:

— Случается, что, будучи измученным под натиском неумного нашествия слов, я целыми ночами ворочаюсь в постели. Тучи слов летают надо мною, застревают в ушах, щиплют в грудь, колот в глаза... Порой мне кажется, что лишаюсь разума...

Я слушал Зива и думал, какое это ужасное несчастье — быть писателем, и какое это огромное счастье, что я не писатель. А еще я подумал, что выражение самых сокровенных оттенков чувств подвластно лишь только музыке...

— Дыши ровнее, — посоветовал я. — Талант нуждается в мужестве. То, что ты ворочаешься в постели, еще не означает, что ты лишился разума. Скотт Фицджеральд по ночам тоже не спал, однако с ума сошла его жена Зельда, а не он.

Зив перевел дыхание и, искоса взглянув на актера, осторожно спросил:

— Этот человек — литературный критик?

— Хуже, — отозвался я.

Сбитый с толку, Зив схватил мою руку:

— Разве бывает кто-то хуже, чем литературный критик?

— Конечно, бывает, — сказал я. — Театральный или музыкальный критик.

— Так он не литературный критик? — оживился Зив. Его лицо порозовело, а в голосе прозвучал металл вызова. — Господин с черепом, вы не думаете, что...

— Мне ни к чему! — перебил актер. — От дум натираются на мозгах мозоли.

— Как тебе такое нравится? — Зив продолжал сжимать мои пальцы. — Этот господин принимает мои стихи за мусор!

— Возможно, господин недостаточно глубоко вник в их суть, — предположил я. — Кстати, о мусоре... Как у тебя с новой подружкой?

— Ты имеешь в виду совсем новую?

— Ну да. — Я вспомнил, что дальше одноразовых подружек у Зива дело не идет...

* * *

Проведя со своей последней подружкой на острове Родос семь дней, Зив после возвращения в Тель-Авив позвонил мне.

— В гостинице, — жаловался он, — моя подружка вела себя как пьяная горилла, и у нас происходили дикие, совершенно опустошительные ночи. Ты представляешь?

— Хочешь, чтобы я представил себе гориллу? — спросил я.

— Или собаку. Эта дамочка бросалась на меня, как собака на свежую кость, разве что при этом не лаяла. Знаешь, как она объясняла свое поведение?

Я сказал, что не знаю.

Зив разъярился:

— «Для любимого, — заявила она, — я готова отдать все, что у меня есть». «Все не надо, — заверил я, — обойдусь самым малым». Кажется, объяснил понятно, да?



Так нет же! Направив на меня скорбный взгляд, она пробормотала: «Бедный мой возлюбленный!..» Тут меня прорвало, и я крикнул: «Это наше бесконечное *сюда-туда-обратно* меня достало! А потому с данной минуты ты становишься для меня продуктом, у которого истек срок давности!» Услышав о своем увольнении, она протяжно вздохнула и объявила, что идет вешаться. «О'кей, милая, — одобрил я, — не отказывай себе ни в чем». Словом, проклятая получила поездку. А я так старательно готовился к ней: прихватил диск с записью нашей с тобой песни «Под рыжим солнцем, на белой лодочке», две бутылки вина «Sauvignon Blanc», книгу какого-то англичанина и Библию...

Я не понял:

— Зачем Библию?

— Чтобы общаться не только о низменном.

Я понял. Потом спросил:

— А презервативы прихватил?

Поэт не понял.

— Зачем их? — спросил он.

— Не знаешь?

— Нет.

— Тогда и я не знаю. Могу уточнить у моего внука.

Поэт понял.

— Шутишь! — сказал он.

— Хотел бы... — отозвался я.

Зив помолчал. Потом послышалось:

— Перед сном почитал англичанина и выяснил: меня никогда не оставит одиночество. Ни меня, ни всех нас. Вот послушай, что англичанин выдал: «Мы все одиноки. Независимо от того, кого трахает и сколько, и неважно, женишься ты или нет. Ты сам по себе. С твоей головой и твоим членом. Ты идешь своей дорогой. А все остальное — сказки Уолта Диснея...» Ты слышишь?

— Конечно.

— И что ты на такое скажешь?

Я сказал:

— Тебе противопоказано читать английских писателей. Тем более — перед сном.

Перед сном лучше просматривай фильмы Уолта Диснея.

Зив снова помолчал. Потом продолжил:

— Увы, то, что эта девица беспредельно глупа, я заметил только на вторые сутки... Ты понимаешь?

Я не понял.

— Почему — на вторые?

— Так ведь пока женщина пребывает голая...

Я понял. И сказал:

— Тем не менее, спать ты с ней продолжал.

— Одно другого не касается, — отмахнулся Зив. — Как бы плотно тела друг к другу не прилипали, но если между душами зияет глухой просвет, то... К черту!..

Мне стало жаль девушку.

— Почему бы тебе не попытаться начать с ней заново? Возможно, что-то еще...

— На место бывшей любви не возвращаются! — перебил меня Зив.

— Ты так считаешь?

— Я доверяю Иосифу Бродскому.

Тогда я спросил:

— Тебе известно, что ты ненормальный?

Оказалось, этого он не знал.

— Знать бы надо, — посоветовал я.

Зив возразил, сказав, что ему — не надо...

* * *

Теперь же, когда мы сидели за столиком в кафе Нисима, Зив сказал:

— А если ты спрашиваешь о той, с которой я познакомился после поездки на Родос, так с ней у меня тоже совершенная *finita*. Достаточно скоро я почувствовал,



что, каждый раз отдаваясь мне, она на самом-то деле оставалась полностью при себе. Особенно явственно я это чувствовал, когда, обхватив мою голову, она вдыхала в мои уши всякую глупость, чушь, бред.

Я решил уточнить:

— Глупость — большую, среднюю или мелкую? Какую из них?

— Несуветную.

— Вот как? — омрачился я.

Зив опустил глаза:

— Эта женщина оказалась совершенно сумасбродной.

Вмешался актер:

— Так ведь женщины другими и не бывают.

Зив заглянул в мои глаза. Кажется, в них он искал источник истины. Не отыскав, сообщил:

— К тому же иногда на ее лице выступало неприятное выражение.

— Даже так?! — возмутился я. — Такое совсем уж невыносимо!

Мы немного помолчали, а потом я сказал, что неприятное выражение на лице можно поправить, если сделать операцию. Пластическую.

— На кой черт ее делать! — помавав над столом черепом, выкрикнул актер. — В могиле лица преобразуются сами по себе!

Зив сглотнул слюну и, выдохнув: «О, кам он, гив ми э брэйн!» — продолжил:

— А еще — всякий раз после нашей близости у меня случался позыв к небольшой рвоте, и ночью снились летучие рыбы. Вот и скажи — как мне таких женщин любить?

Отпив немного водки, я заметил:

— Зив, ты вовсе не обязан... В нашей конституции не сказано, что любовь к женщине является гражданским долгом.

Из горла Нисима, будто из проколотой шины, вырвалось шипение, его лицо покрылось зеленоватыми пятнами.

— Господи! — жалобно застонал он. — Что ты с нами творишь! И будет ли этому конец?!

Актер хохотнул:

— Будет непременно и обязательно — атомную бомбу еще никто не отменял...

— Мне кажется, — сказал я Зиву, — ты просто не уважаешь женщин.

— Почему же? До тех пор, пока они бывают моими — да.

— А тогда, когда они бывают *своими*?

— Женщины «своими» не бывают. Женщины всегда кому-то принадлежат. Разве не ясно?

Мне было неясно, и я загрустил от жалости к себе.

— Прочти что-нибудь еще, — попросил я.

Зив с опаской взглянул на актера. Тот издали помахал черепом.

Зив стал читать стихи, посвященные его будущей подруге. Текст был в меру бодрым, в меру грустным, в меру понятным.

— Что скажете теперь? — зацепил я актера.

Тот тяжело откинулся на спинку стула и, громко зевнув, булькающим голосом произнес:

— *Aquila non captat muscas* — «орел мух не ловит».

У Зива перекошились губы. Он поинтересовался:

— Этот господин — орел?

— Трудно сказать, — осторожно заметил я. — Возможно, орел, а возможно, другая птица.

Будто к чему-то прицениваясь, актер прищурил один глаз. Он внимательно разглядывал Зива и очень напоминал энтомолога, который только что обнаружил перед собой присутствие редкого вида насекомого.

— Поэзия, — проговорил он, — это звон колоколов, сверканье молний, а от твоего хилого бормотания...

Не договорив, он глотнул водки и прочитал:

Вошли — он сразу их схватил

И всех троих тотчас убил.



Разрезал маленьких ребят
И засолил, как поросят...

Зива передернулся, будто его пронзил сквозняк, и, приблизив ко мне лицо, прошептал:

— Этого господина надо бы показать доктору Варди...

Я напомнил:

— Доктор Варди — ветеринар.

— Тем более.

Зив направился к выходу.

Я посмотрел в окно, потом заглянул в пустую рюмку и сказал пару некрасивых слов относительно лукавого поведения водки.

Возле двери меня задержал Нисим.

— Отчего мы цепляемся за жизнь? — спросил он.

Я постучал по термосу с чаем и толкнул дверь.

* * *

По дороге домой я зашел в супермаркет.

— Мне вот этого! — я ткнул пальцем в стеклянный ящик, и мужчина в огромном кожаном фартуке, достав цыпленка, принялся его расчленять.

Я наблюдал за работой мужчины, и в моей памяти ожили картины Сутина с их пламенно-кровавыми пятнами распотрошенных птиц. Вдруг мне подумалось: «Ведь так же, как разное годное и всякое негодное смешалось в животном, все это точно так же переплетено и в человеке. Не об этом ли пытался сказать в своих картинах Хаим?»

На улице меня привлек шум приблизившегося натужного дыхания. Что-то тронуло мою штанину. Я опустил голову. В зубах белого пса был зажат лист бумаги.

— Что это? — удивился я.

Лист бумаги лег на мою ладонь.

— Зачем?

Обнюхав мою руку, Цицерон отбежал к противоположной стороне улицы.

— Зачем это? — заметив длинный автомобиль, спросил я у себя.

Автомобиль, словно черная торпеда, сорвался с места.

* * *

— Что? — меня насторожило встревоженное лицо и низко опущенные плечи Катерины.

Женщина стояла возле газовой плиты и молчала...

* * *

Когда четыре года назад я встретил на кладбищенской дорожке Катерину, она сказала:

— В этой земле мой сын. Повесился он. Вначале влюбился, а после того — повесился. Смертный грех на себя принял. Людей губят три смертных греха: жадность, зависть и несправедливая любовь.

— Три? Других грехов нет?

Катерина немного помолчала.

— Может, есть и еще... — сказала она потом.

Я остановился.

Человек стоял в яме и лопатой выбрасывал за спину землю.

«Точно так рыли окопы», — вспомнил я.

— Что вы там увидели? — спросила Катерина.

Я подумал: «Ямы, окопы, умершие старики, убитые юнцы... Земля принимает всех...»

Мимо нас, напевая что-то веселое, прошел парень с тележкой, в которой развозят землю на свежие могилы. На парне была майка с надписью «Жизнь наша тю-тю!».



— Нашел место для шуток, — сокрушалась Катерина.
 — Молодой еще, — сказал я. — Это мы с вами уже не...
 — И он станет... Никуда не денется...

Два раза в месяц Катерина прибирает в нашей с Эстер квартире, а по средам готовит в большой кастрюле обед на всю неделю. Завтрак и ужин — это на мне...

* * *

— Что? — повторил я.

Катерина наморщила лоб.

— Эстер потребовала, чтобы я все бросила и пошла бы с ней в кинотеатр «Офир».

— Кинотеатр «Офир»?

— В кинотеатр «Офир», на последний сеанс. Так Эстер потребовала. Я напомнила, что в кино не хожу, и вашей жене мой ответ не понравился. Она сказала, что если отказываюсь пойти с ней в кино, то должна сварить для нее «Nescafe».

— «Nescafe»?

— Эстер нельзя пить кофе, — сказала Катерина.

Я кивнул. Переспросил:

— В кинотеатр «Офир»?

— На последний сеанс.

Кладя цыпленка в морозилку, я сказал Катерине, что жду в гости дочку и внука.

— Внук, внук, — залепетала Катерина, опустив голову.

Я заглянул в комнату жены.

Эстер сидела на ковре и расчесывала волосы. В комнате стоял кислый запах. Распахнув окно, я увидел на противоположной стороне улицы старушку, за которой увивалась цепочка из кошек.

«Полная бессмыслица, — подумал я о вожаке этого шествия. — Быть до конца и совестливым, и счастливым невозможно, потому что всегда отыщется что-то, что вклинится между тем и другим».

— Ты как? — спросил я у Эстер.

Жена подняла ко мне лицо и улыбнулась.

Я опустил термос и коробочку с пирожным на стул.

— Это тебе, — сказал я, наливая из термоса чай.

— И пирожное?

— Да, и пирожное.

— Мой завтрак?

— Да. — Я стал собирать с колен Эстер вычесанные волосы.

— Сама, — сказала Эстер.

— Сегодня ты молодцом, — сказал я.

— А где моя дочка?

— Она приходила на прошлой неделе.

— Она меня видела?

— Конечно.

— А мне она не сказала, что видела.

— Наверно, сказать забыла.

— Она глупенькая. Может, она приносила цветы?

— Я не видел. Я сбегаю и принесу.

— Тебе бегать нельзя. Ты старый. Я попью из термоса.

— А еще поешь пирожное.

— Да, и поем пирожное. Цветы принеси потом.

— Ладно.

— Моему брату сегодня холодно, да?

— Может, нет, — отозвался я.

— Думаешь, сегодня ему не холодно?

— Надеюсь, что нет, но точно не знаю.

— Тогда иди.

— Куда?

— Пойди и выясни, каково моему брату сегодня. Иди же!



Я ушел к себе в комнату и развернул бумагу, доставленную большим белым псом.

«Когда-то судьба вытолкнула меня в жизнь, которая толком не удалась, и я вскоре узнала, как тягостно виновата и перед редким человеком, и не менее — перед собой. Когда погружаешься в болото, то даешь себе слово, что обязательно выберешься из него, но проходит время, и оказывается, что ты нисколько не продвинулся, а еще прочнее застрял в своей трясине. Всю жизнь я скупаю в музыкальных магазинах диски Леона Кормана и, закрывшись у себя в комнате, никого в нее не впускаю. Вслушиваясь в музыку Кормана, я погружалась в мир, где нет иных ощущений, кроме трепетного волнения и чувства горького раскаянья. Что это? Вы знаете, что это может быть? Возможно, вы тоже не знаете. А может, не хотите знать... Может, и я не хочу... Может, так удобнее... Я не права?»

Подписи не было.

Звонил телефон.

Зив сообщил, что сочинил хокку для своей новой подруги.

— И что? — спросил я.

— Послушай!

Я услышал:

— Чудо любви —

наши тела вобрало в себя солнце.

И теперь их пожирает оранжевый огонь страсти.

— Не слишком ли много огня? — заметил я. — Таким пламенем девушку недолго довести до испуга.

— Хокку должно быть ярким! — настаивал Зив. — Чем же еще пленить женщину, если не цветами или стихами?

Опустив трубку, я подумал о жене, себя укорив: «Раз не умеешь сочинять стихи, отправляйся в магазин за цветами».

По дороге повстречался знакомый музыкант. У него были безобразно кривые ноги, но ему это нисколько не мешало замечательно играть на флейте. Я знал, что какое-то время он пролежал в больнице, потому спросил:

— Как поживаешь?

Он отозвался:

— По системе трех «Д».

Я не понял:

— Это как?

Он пояснил:

— Доедаю, донашиваю, доживаю.

Я похвалил:

— Это прекрасно, старина, что зря время не теряешь.

Он торопливо протянул руку, и из его перекосившегося рта выпали два-три слова, которые я не запомнил.

В цветочном магазине я объяснил высокому, очень бледному юноше, что хотел бы пленить женщину.

— Понял! — отозвался юноша и решительным движением вставил в мою руку ярко-красный пион, завернутый в хрустящий целлофан.

По дороге домой я обратил внимание, что никто из проходивших мимо мужчин цветов в руках не держал. Я подумал об отце. Пленить маму цветами он вроде бы никогда не пытался. Потом я стал думать о бедняге, который живет по системе трех «Д».

Поднимаясь по лестнице, я обмер. Мне навстречу спускалась Эстер. На ней был потертый домашний халат и туфли на высоком каблучке.

— Иду обнять тебя, — сказала она.

— Но я здесь. Вернись в квартиру.

Эстер послушно повернула назад, и, когда мы вошли в ее комнату, я сказал, что вот теперь, если ей все еще хочется этого, то она может меня обнять.

— Не хочу, — сказала Эстер.

Я протянул цветок.



Понюхав целлофановую обертку, Эстер подошла к раскрытому окну и цветов выронила.

Я прикрыл окно и напомнил:

— Ты хотела цветы.

Эстер рассмеялась и сбросила на коврик туфли.

Я немного потоптался на месте и ушел к себе звонить Зиву.

— Пленить женщину мне не удалось, — признался я.

— О чем ты? — не понял Зив.

— Не знаю. Если б я знал...

Катерине я сказал, что на сегодня она свободна, и, достав из холодильника замечательно выпотрошенного цыпленка, поставил его в духовку.

— Приезжайте к четырем, — сказал я по телефону дочке. — И купи маме цветы.

Присев за пианино, я завел беседу о четырнадцатилетних парнях.

Пассаж... Аккорд... Глиссандо...

* * *

Звонок в дверь раздался ровно в четыре.

Поцелуй от внука. Поцелуй от дочери.

У внука Эстер спросила, на каком инструменте он играет. Тот растерянно посмотрел на меня. Я объяснил:

— На данном этапе своей жизни Дани, для пущей уверенности, испытывает целый ряд инструментов.

Дани признательно подмигнул мне одним глазом. В ответ я подмигнул двумя.

Эстер перевела взгляд на дочку и отметила, что та заметно подросла.

— Шагай за мной, — позвал я внука.

На кухонном столе нас ждало все необходимое для приема: глубокая тарелка с салатом из помидоров, редиски, огурцов, политых оливковым маслом, сосуд со свежим апельсиновым соком, ножи, вилки, пачка салфеток, солонка. Открыв духовку, я извлек из нее румяного, в меру жареного цыпленка. Как мне показалось, natura morta получилась что надо.

— Бабушка чувствует себя неважно, да? — заговорил Дани.

— Иногда.

— Но она еще будет такой, как была прежде?

— Она попытается.

— Быть старым паршиво, да?

— В чем-то — да, а в чем-то — нет. Например, то, что я уже старый, дает мне надежду на то, что мне не придется увидеть тебя немощным и высохшим, как хлебная корка.

— Шутишь, да?

— Старость — она и есть шутка.

— Только не очень веселая, да?

— Самая невеселая. А ты? Как поживаешь ты?

— Путано. В школе нас совсем запутали: учитель по литературе говорит, что детей делают осторожными руками, а учительница по биологии рассказывает нечто другое. Может, я чего-то не понимаю?

— Нормально. Когда люди чего-то не понимают — это нормально. Ненормально — когда люди думают, что они все понимают.

— Снова шутишь? — Отпив немного сока и вкусив цыпленка, Дани придал своему лицу деловитый вид. — Мама считает, что мне полезно пообщаться с тобой, потому что ты ужасно много знаешь.

— Мне известно достаточно, чтобы сойти с ума, — сказал я.

— Что?

— Строчка из Иосифа Бродского.

Дани заметил с грустью:

— Строчка уж больно заковыристая, непонятная.

Я стал утешать:

— Потом поймешь. Известно, что музыка и стихи своей справедливой оценки дожидаться умеют.



— А пока? Что посоветуешь пока?
 Я спросил:
 — Запомнишь или запишешь?
 Дани раскрыл крохотный блокнотик.
 Я продиктовал:
 — Первое: ложиться спать и вставать вовремя. Второе: питаться по рецептам средиземноморской кухни. Третье: слушаться маму и бабушку.
 Я замолчал.
 — Все? — спросил Дани.
 — В основном, все.
 Дани пошевелил носом.
 — Что ж, пока стихи и музыка меня ждут, как ты смотришь на то, чтобы поговорить о самом существенном?
 Я взглянул на вызывающе темнеющие волосики над верхней губой внука.
 — Конечно, поговорим об этом, — согласился я, и мы завели разговор о девчонках.
 — До бабушки ты девчонок трахал? — начал Дани.
 — О-о! — сказал я. — Ты мог бы выражаться чуть-чуть иначе?
 — Как это — иначе? Трахаться есть трахаться!
 — Вообще-то я начал поздно.
 — Это во сколько?
 — Вроде бы в восемнадцать.
 — В первый раз — в восемнадцать?!
 — Вроде бы...
 — Поздновато.
 Я виновато развел руками.
 — У меня есть Доррит, — сказал внук.
 — Есть?
 — Вроде того...
 — Как я понимаю, в школе у Доррит хорошие оценки?
 — Ужасные. Но для нее имеют значение только те оценки, которые ей выставлю я.
 Телефон.
 Пришлось из кухни отлучиться.
 — Жду прихода прелестной особы, — сообщил Зив.
 — В будуар?
 — И туда тоже.
 — А как же Лиза?
 — Мы расстались.
 — Уже?
 — С ней мне было плохо. Гинат говорит, что ей с ее парнем тоже плохо, и мы решили, что...
 — Понимаю.
 — Пока подойдет Гинат, хотел бы прочесть мои новые стихи о духовной ране.
 — Не будет ли разумнее, если о твоей ране ты прочтешь доктору? К тому же, сейчас я занят: мы с внуком обсуждаем проблему становления мужчины.
 Зив немного помолчал, а потом сказал:
 — Гинат предлагает улететь с ней на Бермудские острова — там у нее достаточный старый отец с большой скотоводческой фермой.
 — Отличная идея, — отозвался я. — В мире нет такого второго места, где бы раны заживали успешнее, чем на Бермудах.
 — Правда?
 Я опустил трубку и вернулся на кухню.
 — Хочу стать взрослым, чтобы зарабатывать деньги, — сказал Дани.
 — Станешь обязательно, — пообещал я. — В конце концов, все мальчики становятся взрослыми; но мужчинами — не все. Деньги — это не самое ценное. Время — дороже. Часто оказывается, что не у каждого мальчика вырастают выносливые ноги, крепкая спина и ответственные мозги. Приходится много и хорошенько потрудиться,



прежде чем почувствуешь, что у тебя появились вполне выносливые ноги, крепкая спина и ответственные мозги. Перед смертью мой отец взял с меня слово, что я постараюсь прожить жизнь как настоящий мужчина, и теперь, когда у меня есть ты, завещаю тебе выносливые ноги, крепкую спину и ответственные мозги.

Дани оставил цыпленка и задумчиво проговорил:

— Что если мне не удастся стать мужчиной?

— Для меня это стало бы большим несчастьем.

— Я не хочу, чтобы ты стал несчастным.

— Пожалуйста, не хоти!

— Я попытаюсь стать мужчиной.

— Сделай это! Только не торопись. Такое требует времени... — заметил я и вдруг расстроился, подумав, что увидеть Дани мужчиной, скорее всего, не успею, но в следующую минуту успокоился, подумав, что если стать мужчиной у Дани не получится, то хорошо, что этого я не увижу.

— Клянусь, я стану мужчиной! — сказал Дани.

Я внимательно посмотрел на внука и подумал: «Если так, то моя жизнь, возможно, повторится...»

— Постараюсь! — добавил Дани.

Я показал большой палец.

— Смелее, внук. От жизни не отворачивайся. Другой все равно не бывает...

Дани ухмыльнулся:

— А от своей любви?

Я предпочел промолчать.

— Мама говорит, что любовь — это мутный процесс, и, спотыкаясь о свое прошлое, люди буксуют в настоящем, а в будущем они, будто в трясине, застревают.

— Так говорит твоя мама?

— Да, а что?

Я пожал плечами.

— Моей маме несладко, да?

— Кисловато.

— А это правда, что от любви умирают?

— Не обязательно. Сегодня лечатся от многого...

Сложив два пальца буквой «V», Дани прокричал:

— Yes!

Снова телефон.

В трубку дышали. Дышали — только и всего.

— В трубке слышалось лишь дыхание, — сказал я, вернувшись на кухню.

— Перегрузки на линии, — пояснил внук и спросил: — А ты проживешь долго?

Я кивнул.

— Сколько?

— Сколько потребуется, чтобы написать балладу о мужчине, который...

— Который — что?

— С этим субъектом я должен еще разобраться, так что...

— А у бабушки жить долго получится?

— Не знаю. Обо всем таком знал один лишь Чжуан Цзы. Этот китаец считал, что жить долго удается только тем, кто ни к чему не пригоден и кто своей жизнью никому не мешает.

Повеселев, Дани сказал:

— Выходит, у меня получится!

Я поаплодировал.

Дани спросил:

— Что ты станешь делать, если бабушка умрет?

— Наверно, захочу тоже умереть.

— Как это?

Я промолчал.

— А если умрет мама? Или я?

Я не сдержался:

— Зачем ты спрашиваешь?



Дани объяснил:

— Спрашивают, когда не понимают.

— Еще поймешь, когда свои годы проживешь и когда узнаешь, что каждый прожитый день — это маленькая жизнь.

— Так уж и каждый день?

— Каждый. Начиная с самых первых.

Дани смотрел на меня с недоверием, а я подумал, что к нашей следующей встрече мне придется подготовиться более тщательно.

— Кушай! — сказал я.

На кухню вошла дочка. У нее были припухшие глаза.

— Мои цветы маме не понравились. Ни мои цветы, ни то, как я одета.

— Цветы?

— Да, мои цветы.

— И мои тоже.

— Что?

Я бросил взгляд на внука. Он увлеченно поедал цыпленка.

Дочка вышла в коридор. Я — следом за ней.

Моя бедная девочка! С тех пор, как ее покинул муж, она пребывала в состоянии постоянной растерянности. Ее речь то и дело перемежалась выражениями «не думаю, что», «не могу себе представить, что» и «вряд ли».

— На маму не обижайся, — начал я. — Ты ведь знаешь, что теперь она... Мы должны... Теперь особенно...

Дочь покачала головой:

— Ума не приложу, как ты с ней справляешься...

— У нас с твоей мамой обмен ценностями. Я для нее единственный. И она для меня. Для мужчины это что-то, да значит...

— Для мужчины?

Я хотел сказать что-то ласковое, но нужных слов не находил. Бедная моя дочка... Я вспомнил о крохотном существе, которое из глубины коляски тянуло ко мне ручонки, принуждая меня почувствовать себя отцом. Я брал мою малышку на руки, пытаюсь изучить ее личико, но оно чуть ли не каждый день менялось настолько, что я не успевал к нему привыкнуть. Теперь оно...

Дочь шагнула ко мне.

— Мой бедный папа... — прошептала она.

Я отвел глаза в сторону.

Дочка позвала сына, и они ушли.

* * *

Телефон.

Я поднял трубку. Там молчали.

— Слушаю.

Сдержанное дыхание.

— Слушаю!

Щелчок. Короткий. Сухой.

«Что это? — думал я. — Что? Что?..»

Я прислушался к тишине. Тишина свою тайну не выдавала.

Снова перечитав переданное Цицероном письмо и сменив рубашку, я вышел прогуляться по городу.

Было начало декабря, приближалась Ханука, и люди ожидали прихода зимы и дождей, но в Тель-Авиве стояла солнечная погода. Раввины были недовольны, считая, что народ недостаточно горячо молится.

Я резко остановился... нет — замер, нет — остолбенел, нет — окаменел: на одной из скамеек бульвара Ротшильда сидела безупречно одетая пожилая дама и чему-то улыбалась.

Теряя дыхание, я пролепетал:

— Юдит?

Дама подняла на меня глаза и твердо сказала:



— Видимо, обознались.

Я стоял, охваченный внезапной афонией.

— Глаза... У Юдит были такие же...

Женщина поправила на шее колье из бирюзовых камней и, подвинувшись, сказала, что если я утомился от прогулки, то могу присесть рядом.

Я присел. От волос женщины исходил запах «Chanel № 5».

— Вашу знакомую звали Юдит? — заговорила женщина, и я увидел, как на ее правом виске вздулся сосудик.

Я кивнул.

— Мы были совсем молодыми, когда... Глаза у Юдит были такие же, как у вас...

Женщина прервала меня, спросила:

— И как далеко вы зашли?

— Не очень... Юдит сбежала от меня.

— Сбежала?

— Улетела.

— И вы не сумели забыть?

— Нет, хотя очень старался.

— Зачем?

— Чтобы жить дальше.

— Мне жаль, что вы обознались. Расстроились?

— Скорее... растерялся. Мне семьдесят, а я — растерялся...

Моя собеседница смотрела на меня так, как смотрят, когда ожидают услышать слова совсем другие.

В шагах трех от нашей скамейки повстречались двое мужчин.

— Живешь? — спросил один.

— Живу, — ответил другой.

— Зачем тебе? — спросил первый.

— Так мне что, взять и умереть? — пробурчал второй.

— Почему бы тебе этого не сделать? — ласково проговорил первый.

— Умереть — это вроде бы в дураках оказаться, — заметил второй. — А от твоих вопросов меня тошнит.

— Вот и вырви, — посоветовал первый. — Сам не сможешь, могу засунуть тебе два пальца...

— Тебе бы только засунуть... — сказал второй. — Иди к черту!

Первый пошел. Второй посмотрел, как уходит первый, и тоже пошел, только в противоположную сторону.

С моря подул теплый ветерок, но вскоре потерялся.

Вдруг женщина сказала:

— В молодости я была трусихой и мечтала освободиться от незащищенности. Тогда я не знала, что... Тогда я не думала, что... Тогда я не представляла себе, что... Тогда мне казалось, веду себя разумно, но я допустила ошибку и оказалась в Йоханнесбурге. Это была моя *maxima culpa*, самая большая вина. Очень скоро я поняла, что одним лишь разумом жить невозможно — человек не так задуман. С тех пор я испытываю чувство вины и перед собой, и перед одним человеком... Меня постоянно преследуют где-то прочитанные слова: «Нужно отдать огню его долю, чтобы спасти остальное». Мудро, да?

— Совсе нет, — возразил я. — Огонь не задобришь. Он, как и память, ненасытен...

Моя собеседница, нахмутив брови, замолчала. Я помолчал в ответ.

Вспомнился тот день, когда...

* * *

Юдит взяла из моих рук огромный букет белых роз и поставила их в воду. Цветов хватило бы на три вазы, но в комнате оказались лишь две. На этажерке я увидел пластмассовую коробочку с моей записью сонатины Клементи, а чуть ли не полдивана занял собою огромный плюшевый пес. Я заглянул в глаза тому, кто посмел занять мое место.



— Зачем он здесь? — спросил я.

Губы Юдит отстраненно улыбнулись и сказали:

— Можешь присесть на стул.

Моя голова вдруг наполнилась пустотой.

Через два дня Юдит позвонила и сказала, что плюшевый пес на ее диване — подарок от жениха. Я чуть было не спросил: «И “Chanel № 5” тоже?» — но вместо этого сказал:

— Отличный пес!

— Это все, что ты можешь сказать?

Я принялся подыскивать другие слова, но, не найдя ничего более умного, спросил:

— Зачем тебе жених?

— Чтобы вырваться, — услышал я.

— Из чего?

Юдит не ответила...

* * *

— Однажды, — продолжила женщина, — я заглянула в какую-то небольшую церквушку и поставила свечу. «Господи, — просила я, — освободи мою память!» С тех пор прошло много лет, но Господь мою память так и не освободил. Видимо, тогда, в церквушке, поставив свечу в чужом храме, я совершила еще одну ошибку... Иногда я думаю, что Бог решил меня наказать. Такое быть может?

— Бог не наказывает, — сказал я. — Бог всего лишь не прощает.

Наши взгляды встретились.

— Что — не прощает?

Я увидел, как женщина вздрогнула, и подумал: «Свою память плоть не теряет».

— Не знаю, — сказал я. — Его понять трудно.

Женщина перевела взгляд на мои руки.

Я почему-то сказал:

— Теперь у меня дочь.

— Кто знает, возможно, дочь могла быть у вас и с той, которую звали Юдит...

— Возможно, но это была бы другая дочь.

Мы помолчали. Потом женщина сказала, что ее зовут Лия.

— Лия?

Мой вопрос прозвучал, наверно, неловко, потому что женщина спросила:

— Вас что-то смущает?

— Нет, — торопливо ответил я и добавил: — Меня зовут Макс.

— Так вас зовут?

— Почему бы нет?

Женщина рассмеялась.

— Почему? — не понял я.

— Ради бога, простите, я не над вами смеюсь. Просто мне вдруг подумалось о любви...

— Над любовью не смеются.

— Нет?

— Думаю, что нет.

— Разве это не смешно, когда вдруг обнаруживаешь, что любовь оборачивается досадной ловушкой? Ведь не напрасно какая-то писательница признавалась, что во время работы над книгой о любви у нее было ощущение, будто она запустила руку в мешок, полный змей...

Я рассмеялся.

— Вас рассмешило признание писательницы?

— Нет, просто подумалось — как хорошо, что я не писатель.

— Когда-то мне захотелось стать женой успешного человека, но вскоре я поняла, что жена — это удобная вещь, которую повсюду за собой таскают и которая должна улыбаться, когда муж ее целует. Вы не жена, и знать такое не можете...

— Зато как мужчина я знаю, что жена — не вещь, и уж тем более не всегда удобная...



Мимо нас прошла юная пара. Девушка лет пятнадцати, подергивая парня за рукав, сообщила:

— Кончится тем, что ты меня потеряешь.

Парень казался моложе, чем эта девушка, и он явно тянул с ответом. Он что-то проговорил лишь после того, как они отделились от нас шагов на восемь, и я его слов не расслышал.

Небо над Тель-Авивом стало темнеть.

— Я была глу-у-упой! — сказала женщина. — Я была глу-у-упой девчонкой! Состоятельный человек предложил убежать от бедности, и я сделала это. Потом... поняв, что потеряла себя, я умерла.

Я отвел взгляд в сторону, проговорил:

— По вашему виду такое не скажешь.

— Выходит, я удачно прикидываюсь. Согласитесь, что при желании и при определенных усилиях любую ситуацию можно вывернуть наизнанку. В конце концов я себе приказала: «Терпи!» Я надеялась, что приказ станет для меня заменой чувству сожаления...

Я покачал головой.

— В чем дело? — спросила женщина.

Я промолчал. Вспомнилось, как где-то прочел: «Приказ заменял им совесть».

Женщина стала смотреть на прохожих.

Я взглянул на часы. Шел седьмой час.

Вдруг женщина рассеянно проговорила:

— На днях я услышала, как кто-то утверждал, будто пожилым людям ничего иного не остается, как лишь шуровать кочергой в углях... Но я не собираюсь посвящать остаток своей жизни раскаянье. Вы согласны с Ремарком: «Раскаянье — самая бесполезная вещь на свете. Вернуть ничего нельзя. Ничего нельзя исправить?»

— Ремарк умел думать, — сказал я.

— А вы?

Я пожал плечами.

— Скажите, что вам приходит в голову, когда вы видите, как у женщины из-под колье выглядывает дряблая кожа шеи?

Я не нашелся, что сказать. На ум пришло чье-то утверждение: «Не бывает дряблая кожа, бывает история без любви».

— Вы — не Ремарк, — определила женщина.

— Нет, конечно, не Ремарк, — согласился я.

И вдруг женщина стала рассказывать о том, что вот уже несколько дней, как она с сестрой своего покойного мужа скупает в музыкальных магазинах Тель-Авива диски с записями композитора Леона Кормана. Они обе обожают его музыку. Разумеется, она и в Йоханнесбурге имела возможность слушать произведения этого господина: в ее доме хранилось несколько кассет с записями его музыки, и, слушая ее, она частенько беседовала с маэстро. А иногда еще и с его портретом.

Я вздрогнул.

— С портретом Кормана?

— Время от времени его портреты появлялись в журналах Африки. Корман — гигант!

Кажется, я покраснел.

— Как вы сказали?

— Корман — гигант!

Я озадаченно прошептал:

— О чем же? О чем вы разговаривали с этим господином?

Испытующе посмотрев на меня, женщина улыбнулась:

— Угадайте.

— Как я могу угадать?

— Попробуйте.

Я сказал:

— Наверно, о появляющихся иногда перед вами странных призраках... Мне знакомо такое. Бывает, что я с призраками беседую... Нет, не подумайте, что я их к себе зову — они сами, не спросив меня, возникают... Это ужасно! А вам было не страшно разговаривать с этим человеком?



Лицо женщины вдруг помолодело.

— Нет, — улыбнулась она. — Разве Леон Корман — призрак? Хотя, если признаться, беседуя с ним, мне было немного не по себе...

Я насупил брови, подергал носом, постучал себя по коленям и сообщил:

— Говорят, этот музыкант — мрачный тип, и такой он, видимо, оттого, что в юности обладал одной-единственной парой туфель. Представляете — всего лишь одной!.. Вы бы смогли обойтись одной парой туфель?

Лицо женщины внезапно постарело.

Я замолчал. Женщина замолчала в ответ.

«Она вдова, теперь — вдова...» — подумал я и следующую мысль — «Но мне-то что до этого?» — от себя отогнал.

— Леон Корман знает, что я его слушаю, — весело проговорила женщина. — Он знает, что я...

— Вы уверены? — перебил я. — Вы уверены, что все обстоит именно так?

— Конечно! Леон Корман — художник. Разве вы не слышали об особом чутье художника?

— О чем-то таком слышал... — буркнул я безразличным тоном.

Женщина снова замолчала, а потом я услышал:

— Почему бы нам не прикинуться, что живем?

Я отозвался:

— Разве мы не живем?

Женщина взглянула на меня так, будто собиралась спросить о чем-то еще. Не спросила и лишь едва слышно проговорила:

— Но ведь...

Я вскинул руку. Таким жестом полицейские останавливают движение уличного транспорта.

Женщина опустила глаза.

Мы послушали тишину.

Потом женщина сказала:

— Тут совсем рядом море, и можно спуститься и увидеть закат.

Я запрокинул голову. У неба был вялый, унылый вид.

— Боюсь закатов, — сказал я и подумал: «Чтобы увидеть закат, достаточно поглядеть на нас».

Женщина приблизила ко мне лицо:

— Не хотите?

Я судорожно глотнул воздух. Запах духов «Chanel № 5» сводил меня с ума.

— Нет, — сказал я. — Я себе не палач, и потом... женщины на пляже давно уже в мою сторону не смотрят. Даже не пытаются. Теперь за вниманием к себе я обращаюсь к врачам. А еще я не выношу вечернего пронзительного крика чаек.

Женщина поправила на шее кольцо, спросила:

— Это правда, что Вирджиния Вульф утопила себя?

Я кивнул.

— Правда и то, что когда несчастную подняли из воды, в карманах ее одежды оказались камни?

— Может быть, — сказал я. — Почему вы подумали о Вирджинии Вульф сейчас?

— Об этом я думаю постоянно.

Вдруг я вспомнил, как однажды...

* * *

Однажды, неся в себе чувство мучительного одиночества, я спустился к морю. Вздвигаясь над водой, волна за волной упрямо тянулись к берегу, но тотчас отступали назад, безропотно погибая под волнами, которые набегали им вослед. От моря несло гнилью. Я опустился на песок и стал смотреть, как под воду уходит солнце.

— Как же мне теперь?.. — бормотал я. — Как потом?..

Пляж был пуст, лишь чуть впереди от меня у самой воды сидели двое мужчин. Один был лысый, а у другого была волосатая спина. Мужчинам было не до меня.

— Скоро стемнеет, — послышался голос лысого.



Тот, что с волосатой спиной, потянулся к воткнутым в мокрый песок бутылкам пива.

— Паршиво там, в городе, — сказал он и отпил из бутылки. — Паршиво...

Лысый кивнул на море.

— Гляди, — указал он на женщину, которая шла по воде. — Белые волосы над белым купальником.

Тот, что с волосатой спиной, сделал несколько глотков подряд.

— Со мной она не угадала, — сказал он.

— Что? — не понял лысый.

Тот, у которого волосатая спина, достал новую бутылку и выпил ее всю на одном дыхании.

— Тогда она нарубила дров, — сказал он.

— Дров?

— Некоторым женщинам кажется, что стоит им выйти замуж, как счастье само собой...

— Ты ее знал?

— Знал...

— Твоей была?

— Была...

— Ей казалось, что счастье...

— Казалось...

— Кажется, теперь она решила прогуляться у моря.

— Она всегда была несобранной. Кажется, она и за меня вышла по рассеянности. Через полгода после нашей свадьбы я спросил, о чем она думает, когда я целую ее в грудь. Она ответила: «О моем любимом!» Я ударил ее, крепко ударил, и тогда она, заскулив, добавила: «Думаю только о нем!» Я ударил ее снова и спросил: «Поэтому ты пошла за меня?» — «Пошла не туда!» — сказала она. Кажется, она и сейчас идет не туда...

Море подрагивало, будто пыталось стряхнуть с себя все лишнее, что накопило в себе за день.

Лысый неотрывно наблюдал за морем.

— Куда это она идет? — вдруг прошептал он.

— Наверно, к своему любимому, — отозвался тот, что с волосатой спиной. Он принялся за новую бутылку.

— Что это она там вытворяет? — засуетился лысый. — Ты только погляди, что она с собой делает!

— Что же?

— Не знаю. Ее больше не видно.

В небе устало кружили чайки. Из воды, будто пожимая плечами и чуть присвистывая, выпрыгивали белые гребни волн и тут же вновь опадали. Пляж накрыла тяжелая тень. Я поднялся с остывающего песка, а потом, по дороге домой, пытался для себя решить, в чем люди нуждаются более: в праве забывать или в праве помнить?..

* * *

— Иногда, — продолжила женщина, — мне хочется снова стать девочкой.

— И поиграть в прятки?

— Откуда вы знаете?

— Так ведь все старики впадают в детство; все они не прочь поиграть с кем-либо в прятки...

— Отчего же именно в прятки?

— А что еще старикам остается?

Мимо пробежали три подростка и, взглянув на нас, хихикнули.

Женщина отвела взгляд в сторону, проговорила:

— Знать бы, что люди обо мне думают...

Я пожал плечами:

— Вы настолько тщеславны?

— Нет, просто любопытно сравнить с тем, какой я себя вижу сама.

— Какой же вы видите себя сами?



— Будто поглощенное тиной болото. Или как последнее трепыхание догорающей свечи. . .

Я рассмеялся:

— Звучит уж слишком по-книжному.

Женщина посмотрела на меня, и я увидел, как морщинки, выбежавшие из уголков ее глаз, замерли на лбу, смяли его.

— У вас не появилось желание меня поколотить?

— Поколотить вас? Зачем мне желать такое?

— Хотя бы из милосердия. Сама это сделать не могу, а вы бы сослужили мне добрую службу.

Я извинился, сказав, что уже больше не служу, что я теперь на пенсии.

Мимо нас прошел знаменитый писатель. Я читал его книгу «Сучий сын». У писателя был болезненный вид.

«Мы с ним почти ровесники», — подумал я и, опустив голову, посмотрел на свои руки.

Мои руки. Мои пальцы. . . Когда-то они были крепкими, гибкими, а теперь. . .

Я подумал о старике Ренуаре, который писал своих красных купальщиц кистью, привязанной к запястью.

— У вас красивые пальцы, — сказала женщина.

Я сделал вид, что не слышу.

— В декабре небо темнеет рано, — сказал я.

— Да. — В глазах женщины разлилась печаль.

— Возможно, ночью пройдет дождь.

— Возможно, — согласилась женщина. Она произнесла «возможно» так, будто собралась сказать, что в этом мире возможно всякое разное. — Грустно, когда от нас уходят дни. . .

Я напомнил:

— Уходят не только дни.

Женщина покачала головой.

— Бывали дни и бывали ночи, когда я чувствовала себя совершенной развалиной, рухнувшим строением, которое лежало в руинах и даже не пыталось отстроить себя заново. А потом наступали дни, когда мне хотелось вновь стать той девушкой, которую молодой талантливый пианист пригласил на прогулку. Мы с ним долго гуляли по берегу озера Кинерет, и вдруг он принялся рисовать передо мной картину, будто к нам подошли Моцарт и Гайдн. Моцарт сказал, что нанялся добровольцем на работу в кибуц, а Гайдн. . .

— Погодите! — перебил я. — Разрешите, я продолжу. Гайдн приехал в Тверию с целью подработать в одном из баров в качестве пианиста.

— Как вы догадались? — женщина наклонила ко мне голову.

— Природное воображение, — объяснил я.

— Надо же, чтобы так!.. — изумилась женщина.

Я опасался, что запах духов «Chanel № 5» вынудит мое сердце выпрыгнуть наружу.

Мимо нас прошли подростки. И парню, и девушке было лет по пятнадцати. Каждый пять-семь шагов они останавливались и целовались. Я поднялся со скамейки и отдал им честь.

— Что вы делаете? — испугалась моя дама.

Я сказал, что приветствую любовь.

Моя дама прошептала:

— Все о любви знают лишь только малыши. Ни за что не догадаетесь, что ответила шестилетняя девочка на вопрос, что такое любовь. Она сказала: «Когда моя бабушка заболела артритом, она больше не могла нагибаться и красить ногти на ножках, и тогда мой дедушка стал делать это для нее даже тогда, когда у него самого заболели артритом ручки. Это любовь».

— Так сказала малышка?

— Именно так.

Я посмотрел на дом через дорогу. Мужчина и женщина ходили по балкону и вместе поливали цветочные горшки. Потом они вместе стали наблюдать за тем, как по небу бегает облака.



— Стареют не каждый день, правда? — Женщина старалась на меня не смотреть. — Бывают дни, когда...

— Да, — откликнулся я, — такие дни бывают. Особенно по утрам...

— Сейчас вечер.

— Да, вечер.

— День ушел.

— Да, ушел.

— Еще один...

— Завтра придет другой день.

— А как быть, если... Вы понимаете?

— Да, я понимаю.

— А как быть, если вы... Понимаете?

— Да, конечно, я понимаю.

— И как быть, если...

— Завтра придет другой день, — повторил я и подумал, что, когда мужчина и женщина делают любовь между собой поровну, то такая любовь весит вдвое меньше, чем та, которую носит в себе один из них.

— Наверно, та, которую звали Юдит, вас любила? — спросила женщина.

— Думаю, что не очень.

— Как странно... — рассеянно проговорила женщина и улыбнулась.

Я увидел узкие щелки глаз.

«Они такие, как у Юдит», — подумал я.

— Будь я на месте той девушки, я бы представила себе вас гигантом.

— Гигантом?

— Или королем.

— Королем?

— Или Гераклом.

— Гераклом? И кем еще?

Женщина не ответила.

«Юдит, — подумал я, — кажется, время нас порядком ограбило».

Женщина снова коснулась моего плеча, спросила, о чем я думаю.

— Не помню, — солгал я. — Проклятая забывчивость. Наверно, это от старости, да?

— Наверно. Отчего же еще? — бесстрастно отозвалась женщина, а на ее лице было написано: «Возможно, мы два воскресших из небытия духа... или, возможно, просто два ненормальных существа».

По земле стали стелиться вечерние тени.

Женщина поднялась со скамейки и, взглянув на меня, проговорила:

— Я утомилась. Я ужасно давно живу.

И вдруг ее глаза погасли.

Я перевел взгляд на балкон дома через дорогу. Ни женщины, ни мужчины на нем уже не было.

— Так вы признаетесь, что обознались? — спросила моя дама и, не дожидаясь ответа, добавила: — Рада была встрече.

Ее слова прозвучали так, будто на самом деле было сказано: «Больше это не повторится!»

Женщина уходила, не оборачиваясь, и я стал смотреть, как она переходит дорогу тяжелыми, неловкими шагами.

«Ничего общего с той мягкой, величественной походкой, — подумал я. — Ничего от того, что напоминало движение распускающегося цветка. И все же... Те самые глаза, которые однажды погасли...»

* * *

В крошечной комнате Юдит был один диван, один комод, одно окно, один стол, на котором стоял старенький проигрыватель. На единственном стуле я увидел недопитый стакан чая. Перехватив мой взгляд, Юдит покраснела и, прошептав «прости», отнесла стакан за матерчатую перегородку — видимо, кухню.

Потом Юдит сказала:



— Маму не помню. Она давно умерла, а мой папа... Ему нравилось меня баловать. Однажды он принес домой большой глобус. Раскручивая его, я останавливала на нем палец — так я побывала во многих странах...

Юдит замолчала, присела на диван рядом со мной.

— А теперь? — Я смотрел на потертый пол.

— А теперь... я завралась, — сказала Юдит. — Не было у меня ни глобуса, ни папы. После смерти мамы моя тетя забрала меня к себе. Она обожает музыку и пьет вино. Она пьет много вина... Не знаю почему, но мне всегда казалось, что глобус у меня был... и что папа тоже был.

Я вложил в руку Юдит синюю пластмассовую коробку с записанной моим отцом до-мажорной сонатиной Клементи.

— Возьми себе.

— Я сохраню. Обещаю!

Я заговорил о музыке. Юдит слушала меня рассеянно, а вскоре и вовсе переменяла тему.

— Я сняла эту комнату, где все пропитано безжизненным холодком и неустроенностью, — сказала она.

Я покосился на облупившийся лак старого комода и как можно веселее выдохнул:

— Не все!

— Разве?

Моя рука легла на плечо девушки и поползла, поползла...

Наши глаза встретились.

— Что ты собираешься делать? — спросила Юдит.

— Можно мне потрогать твою грудь? — спросил я.

— А что потом?

Что потом — я не знал. Юдит знала.

— Я думаю, что потом будет только хуже... — Юдит горестно улыбнулась и еще плотнее сомкнула колени.

— Непустишь? — спросил я.

Юдит закрыла глаза, и тогда я спросил:

— Ты больше не считаешь меня гигантом, королем и Гераклом?

— Ты гигант, король и Геракл, только мне нельзя... Не теперь... Не это... Пожалуйста, не расшатывай меня. Не люби. Не души. Помоги мне. Помоги себе.

Меня напугал стук собственного сердца.

— Не понимаю...

Юдит отвела мою руку в сторону:

— Не делай этой ошибки...

За окном вдруг стемнело. Юдит поднялась с дивана и подошла к выключателю. С потолка брызнул тусклый свет.

— Потом было бы только хуже, — сказала Юдит.

— Кто может знать, что потом будет и чего потом не будет... — промямлил я, не отрывая взгляда от растерянно мерцающей под потолком одинокой лампочки.

— Я знаю, — проговорила Юдит. — Этим знанием женщины обладают от своей природы.

— По-твоему, то, что между нами, недоразумение? — спросил я.

Выждав минуту, Юдит тяжело надавила обеими руками на мои плечи. Казалось, она смотрела не на меня, а сквозь меня.

— Купить дом сможешь? — спросила она.

— Целый дом?

— И яхту.

Я рассмеялся.

— Вот видишь...

— Что? — не понял я. — Что я должен видеть?

Юдит не ответила. Я увидел, как ее глаза погасли.

— Но почему? — прошептал я.

Юдит распахнула передо мной дверь, и всю дорогу домой я пытался угадать, отчего глаза у людей гаснут...

* * *

На углу улицы Шенкин женщина подошла к черному автомобилю и распахнула дверцы. Меня позабавила внезапно пришедшая в голову мысль: «До чего же просто обманывать, не обманываясь самому». А потом, когда автомобиль тронулся с места, меня охватили озноб и чувство слабости. «Может, это к лучшему, — подумал я о внезапно нахлынувшей на меня слабости. — Быть может, эта слабость встанет на пути другой, еще более сильной слабости?»

День внезапно погас, придав городу загадочный облик. На вечернем небе появились первые звезды. Я вошел в крошечный скверик с одной-единственной скамейкой и присел на нее, решив отмежеваться от времени и пространства мира. «Который теперь час в Африке? — гадал я. — Возможно, Юдит уже спит, а может быть, лишь только ко сну готовится...»

Сбоку от меня послышался шорох. Я повернул голову. Под кустом внутри полиэтиленового мешка лежал скорчившийся человек. Я подошел, подумав, что человеку плохо.

— Ты чего? — выглянув из мешка, спросил он. У него были красные веки и большие желтые зубы.

— Почему вы тут лежите?..

— Лежу. И что?

— Зачем здесь, да еще в мешке?

Глаза человека в грязной футболке смотрели на меня так, будто я говорил на непонятном ему языке. Он выбрался из мешка, поднял валявшийся на земле окурок сигареты, чиркнул по коробку спичкой, а потом, сделав пару затяжек, отбросил окурок в сторону и снова заполз в мешок. Спустя минуту он высунул голову.

— Я мог бы тебе не отвечать, — сказал он. — Ведь ты не полицейский, правда? Раз ты не полицейский, то я не обязан тебе отвечать, но так уж и быть. Время от времени хочется с кем-то поговорить, и тогда мне все равно с кем... могу и с тобой.

Я отвернулся.

— Слышишь? — вдруг проговорил он. — Ты только вслушайся!

Я затаил дыхание.

— Слышишь, какая ночь? Такое ощущение, будто мир вот-вот ко всем чертям рухнет!

Я сказал, что ничего такого не слышу.

Человек постучал зубами.

Я посмотрел на его чахлое лицо и спросил:

— Зачем вы тут, в этом мешке?

— От избытка чувств, — доверительно отозвался он.

Я покачал головой.

— Такое мне понятно.

— Правда?

Я кивнул.

Рука человека призывно постучала по мешку.

— Можешь прилечь рядом.

Я отказался.

Он жестко выругался — впрочем, беззлобно.

Я попросил его не ругаться.

Он что-то пробормотал.

— Вам бы найти себе работу, — посоветовал я.

— Нет.

— На полставки.

— Нет.

— День через день.

— Нет.

— А ваша жена? Как она смотрит на все это?

Взгляд человека вдруг затуманился.

— Я ушел из дома, — устало буркнул он. — Любовь — не для всякого-каждого, и, наверно, по особому позволению бога. А может, ее надо уметь дожидаться... Понимаешь?





Я покивал: мол, понимаю.

— У меня с этим не получилось. Меня не оставляло ощущение, будто отбываю долгий, унылый срок наказания.

— Плохо, — сказал я. — Быть одному плохо.

— Вдвоем еще хуже. Жене я оставил все свои сбережения.

— У вас были сбережения?

— Достаточные для того, чтобы моя жена смогла подлечить свои больные зубы. Их у нее был полный рот.

— Бедная женщина...

— Теперь уже нет.

— А вы? — осторожно спросил я. — Чем заняты теперь вы?

— Занят? Ах да, разумеется, я занят. Люди чем-то заниматься просто обязаны. Я в меру дышу, в меру живу, только сплю безмерно, потому что, пока спишь, не хочется есть. Вовремя уснуть — моя главная забота. Хорошо бы еще вовремя не проснуться. Попробуй-ка оставаться человеком, когда вокруг тебя люди...

Я махнул рукой.

— Разве вас не смущает, когда стороной уходит ваша единственная жизнь?

— Ну и пусть себе... И потом, с чего ты взял, что жизнь — единственная? Я вот считаю, что в каждой жизни бесконечное множество жизней, напрасно у людей голова кругом идет и толком не знают они, за какую из своих жизней цепляться.

— Напрасно?

— Ни к чему.

— По-вашему, жизнь — она без секретов?

— Без! Как может представлять собою загадку то, что бесконечно повторяет себя? Впрочем, не я первый, кто это заметил.

Я засмеялся:

— Кто же он, этот остроглазый, если не вы?

Лицо человека вдруг осунулось. Очень осунулось. Страшно осунулось.

Я услышал:

— Все реки текут в море, но море не переполняется; к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь...

— Возвращаются?

— Возвращаются.

— Все реки?

— Все.

— К тому месту?

— Только к тому.

— Бред! — недовольно сказал я.

Со стороны моря показался самолет. Мигая красными и зелеными огоньками, он покружил над городом, а потом, нащупав путь на посадку в аэропорту под Лодом, стал медленно снижаться.

Я перевел взгляд на человека.

— Ну и как вас принимает население?

— Ты про толпу?

— Про народ.

— Народ безмолвствует... Как в «Борисе Годунове».

— Вам знаком Пушкин?

— И Пушкин, и царь Борис. В России я снимался в кино. Играл толпу. Здесь я эту роль доигрываю.

Человек отошел к дальнему кусту и помочился.

— Я вызываю в тебе жалость, да? — застегивая брюки, проговорил он и, вдруг воздев руки к небу, прочел:

— Что мне мир,
коль в этом мире
нет меня...

Я поаплодировал.

— Живете в неверии и выдумке?



— Как и все. Каждый из нас живет во лжи: я — в своей, ты — в своей. Правды не отыскать ни в себе, ни в супермаркете. . .

— Выходит, вокруг одна только выдумка и ложь?

— Конечно.

— И никакой правды?

— Почему же? В том и есть правда, что все — ложь.

— Выходит, если все — ложь, то и сама ложь — тоже ложь?

— Верно.

Я помолчал. Потом непонятно зачем проговорил:

— Господи, как мы живем. . .

Человек разъяснил:

— Живем — как в тумане.

Я посмотрел на небо. Были звезды. Тумана не было.

«Туманно в других странах», — подумал я.

— Только бы без войн и засухи, — сказал человек и поскреб подбородок. —

А ты? Ты в этом мире участник?

— Надеюсь, что да. Музыка сочиняю, на рояле играю.

Человек скривил губы:

— Что ж, ты тоже доиграешься. . .

Мы помолчали, а потом я спросил, думает ли он о своем будущем. Он сказал, что нет, оно его не занимает, и что за будущее отвечает лишь только Всевышний.

Я поднялся со скамейки.

В безлюдном переулке мне послышалось, будто за мной кто-то идет. Я остановился, сжал кулаки, готовясь дать отпор моему преследователю. Никого. Затаив дыхание, я слушал тишину. «Звуки тоски, — определил я. — Те самые, проклятые. . .»

Из тумана вынырнул бело-синий джип.

— Эй, чего тебе здесь? — У полицейского был простуженный голос и усталые глаза.

— Понятия не имею.

Полицейский достал сигарету, закурил, а потом проговорил:

— Шел бы ты лучше спать.

Я отозвался:

— Не с кем.

Второй полицейский, тот, который сидел за рулем, сплюнул в опущенное оконце.

— Нам бы твои заботы, — устало вздохнул он.

Я с нежностью отозвался:

— Дай-то вам бог!

Джип, недовольно фыркнув выхлопной трубой, сорвался с места и затерялся в рыхлой белизне тумана.

Я немного потоптался на месте.

«Счастье — когда можно раствориться в тумане», — подумал я и поспешил домой.

* * *

Вечером, стоя у окна и неотрывно разглядывая улицу, я завел беседу с загадочным Шуманом, светлым Чайковским и воздушным Дебюсси.

— Баллада мне сопротивляется, — пожаловался я им.

Гении промолчали.

Я догадался: им не до меня.

По тротуару прогуливался большой белый лабрадор и с вызывающей надменностью поглядывал на мое окно. Казалось, животное пыталось высказать мне что-то нехорошее. Я погрозил ему кулаком. В ответ он презрительно зевнул.

Мое горло перехватила судорога, к груди стали прорываться толчки, рот наполнился горечью. Комната пустилась в пляс; меня стошнило.

В окно постучал кто-то из чудаков Самуэля Беккетта.

— Если упаду — зареву от счастья, — произнес чудаков, растягивая слова.

Отличная мысль — мне понравилась. Повалившись на пол, я стал ждать счастья. Счастье не появилось. Мне не повелось.



«Семьдесят — это второй переходный возраст?» — подумал я и задремал.

Приснился заглянувший в тель-авивскую академию музыки композитор Мейербер. Он спросил у одного из студентов: «Какая из мировых опер вам нравится больше других?» — «Разумеется, ваши “Гугеноты”». В какой еще опере можно услышать о том, как тысячи христиан с такой невероятной жестокостью истребляют друг друга под музыку одного-единственного еврея — вас, господин Мейербер!...»

Разбудил телефон.

— Как ты? — спросила дочь.

— Лежу на полу.

— На полу ты никогда не лежишь.

— Сегодня лежу.

— Как это — лежишь?

— Плашмя.

— Я выезжаю! — прокричала дочь в трубку.

Такси из Ашдода прибыло через час.

— Папа, собирайся в больницу!

— Туда — нет! — упирался я.

— Что — нет?

— Туда не хочу.

— Нет?

— Нет!

— А что — да?

— Как всегда — не сдаваться.

— Собирайся! — перебила дочь.

— А как быть с...

— За мамой я присмотрю.

— А я из больницы вернусь, как ты думаешь?

— Ты победишь, папа.

Слова дочери звучали тепло и уютно.

* * *

В больнице «Ихилов» медицинская сестра велела прилечь на койку.

— Фамилия?

— Корман.

— Имя?

— Леон.

— Дата рождения?

— Шестое декабря тысяча девятьсот сорокового года.

— На что жалуетесь?

— На себя.

— Зачем?

— Во мне появились неполадки.

— Неполадки?

— И очаги напряженности.

Медсестра криво улыбнулась и потребовала, чтобы я оголил бедро. Я подставил то, что надо.

Потом пришел высокий санитар. У него было печальное лицо, а на его майке надпись: «Не цепляйтесь к петушку!»

— Прошу сюда! — санитар пригласил меня занять место в больничной каталке. Я занял.

— Поехали, — грустно произнес санитар.

Я почувствовал себя куклой, усаженной в детскую коляску.

В конце коридора санитар остановился.

— Палаты переполнены, — сдавленным голосом проговорил он. — Ваша кровать в коридоре — дело временное... Возможно, к утру какие-то лежбища в палатах освободятся, и тогда...

Понюхав лекарственный воздух, я пожаловался:



— Не люблю больницы.
 — Лечение...
 — Не люблю, — повторил я.
 Санитар загадочно произнес:
 — Тяжело в лечении — легко в раю...

Я сказал санитару, что он ужасно мил, и еще добавил, что своими мудрыми пассажами он завладел моим сердцем.

— Да ладно уж!.. — отмахнулся санитар и доверительным голосом сообщил, что над сердцем не властны даже кардиологи.

Озадаченный сообщением санитаря, я подумал о состоянии находящейся в больном сердце души, но вдруг с облегчением вспомнил, что Платон утверждал, будто душа пребывает не в сердце, а в мозге.

Санитар спросил, правда ли, что я сочиняю музыку.

— Время от времени, — признался я.

Санитар покачал головой и, погладив мое плечо, задумчиво проговорил:

— Ужасно хочется сочинить какую-нибудь удачную вещицу.

Я попросил санитаря чуть пригнуться.

— Мне тоже, — шепнул я в ухо санитаря.

В конце коридора показался доктор. Доктор стал задавать вопросы, удивительно схожие с теми, что и медсестра из приемного покоя.

А еще через три часа пришли сразу два доктора. Один спросил:

— Вы тот самый Леон Корман, который композитор?

Я кивнул.

— Надо же! — взволнованно сказал он. — Мой сын исполняет две ваши пьесы: сонату и элегию. Рад познакомиться!

Я подумал: «Ну да, как же! Знакомиться с докторами — предел мечтаний...»

Другой доктор раскрыл папку с бумагами.

— Ничего страшного анализы нам не подсказывают, — бодро проговорил он. — Разве что некоторая усталость... Пока мы оставим вас здесь, проследим... Какое-то время полежите.

— А пролежни не появятся? — озаботился я.

Оба доктора посмотрели на меня так, как смотрят коты на залетевшего на подоконник воробья. И засмеялись. Вместе. Оптом. Я был приятно удивлен: не часто увидишь смеющихся докторов.

Тот, у которого сын исполняет мои сочинения, спросил:

— А что, собственно, вы почувствовали у себя дома?

— Раздражение, — сказал я.

— От чего раздражение? — не понял другой доктор.

— От всякого разного.

Доктора приподняли брови.

— От всякого?

— И всякого, и разного.

— Звучит очень занятно, — сказал один доктор.

— Благодарю, доктор! — Я почувствовал себя польщенным.

— В шашки играете? — спросил другой доктор.

Я сказал, что нет, не играю.

— Вот и чудесно, — улыбнулся другой доктор.

— Здесь мы проследим за состоянием вашего сердца и вообще... — запрокинув голову, сказал первый доктор.

Другой доктор взял мою руку и снова прослушал пульс. Потом спросил, хожу ли я на рыбалку. Я сказал, что нет, не хожу.

— Вот и отлично, — проговорил он задумчиво.

Ни о сухой корке хлеба, ни о преследующем меня большом белом псе и уж тем более об Эстер я не обмолвился ни словом.

— Возможно, — предположил я, — проблема с моим питанием.

Один из докторов, наставительно подняв палец, заметил:

— Если кому-то изменяет жена, а при этом у этого кого-то рога не выросли, то еще не значит, что организму этого самого кого-то не хватает кальция.



Довод доктора показался мне вполне убедительным, и я спросил:

— Может, что-то с памятью? В последние дни моя голова сильно загружена прошлым.

— Больше, чем настоящим?

— Гораздо больше. Можно сказать, до отказа. Мой мозг просто набит мыслями о девушке, которую я когда-то недолго любил...

— Эффект Блюмы Зейгарник! — сказали в один голос оба доктора и пояснили, что человек лучше запоминает действия незавершенные, чем те, которые завершить успел. Даже в случае, если люди пытаются что-то забыть, память все равно находит случай себя когда-то проявить, к тому же прерванное действие запоминается лучше, чем завершенное.

— Выходит, настал мой случай? — предположил я.

Доктор, чей сын исполняет мою сонатину, сухо спросил:

— А как у вас с репродуктивной функцией?

Мой лоб покрылся холодной влагой.

— А может, все дело в звуках моей баллады? — осторожно проговорил я.

— Звуки? — насторожились доктора. — Что с ними?

— Они перестали меня слушаться.

Доктора между собой переглянулись, затем посмотрели на меня. Взгляды были какие-то странные.

Наконец, один очень тихо, но твердо проговорил:

— Переутомление.

Другой подхватил еще тише:

— Вероятность незначительной толики неврастении. Для творческого человека такое и возможно, и допустимо...

Первый доктор потряс подбородком и ласково сказал:

— Отдохните.

По моей спине пробежал холодок.

— Зачем? — не понял я.

Другой сладостно улыбнулся:

— Надо, надо...

Я опасался, что от холода мой позвоночник застывает.

Первый доктор решительно потребовал:

— Ничего не делайте!

— Ничего? — робко осведомился я. — Совсем ничего?

Другой доктор уточнил:

— Хотя бы на какое-то время.

— Ну да, хотя бы на какое-то! — подхватил первый.

Столь согласованный диагноз двух докторов меня напугал. «Возможно, они спят вместе», — подумал я.

— А позволить себе просто размышлять я могу? — уныло спросил я.

— Лучше, если поменьше. Голову надо беречь.

— А что если думает не голова, а сердце?

— Это не так, — возразил первый доктор. — Слава богу, это не так. Еще Фернандо Пессоа справедливо заметил, что если бы сердце попыталось думать, то оно бы вскоре остановилось.

— Выходит, мне не думать?

— Ни о чем.

— И не делать музыку?

— Хотя бы какое-то время.

— А силы? Где я возьму на это силы? Ведь на то, чтобы заставить себя не сочинять, мне придется потратить колоссальную энергию.

— Отдыхайте! — дружно сказали доктора и отступили вглубь коридора.

Ко мне за ширму заглянул санитар.

— Лечимся?

— Да уж... — отозвался я.

— Сами виноваты, — с горечью в голосе проговорил он и исчез.



Принесли ужин. Хлеб я отложил в сторону. Сыр тоже. Съел яйцо, выпил чай из пластмассового стаканчика. Стал думать о балладе, но мои мысли перебила медицинская сестра Лиана.

— Как вы?

Я улыбнулся.

Сестра сделала три коротких укола в живот. Посоветовала:

— Постарайтесь уснуть.

— Боюсь, — признался я. — Вдруг не проснусь...

— Мужчины не должны бояться.

Я приподнял голову, сказал:

— Мне известны случаи, когда мужчины умирают еще до того, как у них останавливается сердце.

— Кто вам такое сказал?

— Читал.

— Вы верите книгам?

— А что?

— Книгам верить нельзя.

— Не буду, — пообещал я.

— Великий композитор должен верить лишь себе.

— Я — великий?

— Персонал нашей больницы говорит о вас именно так. Я сама слышала.

— Вы верите персоналу?

Медсестра Лиана сделала отмашку недовольной рукой, и я увидел, как она, гневно тряся задом, удаляется в комнату медицинских сестер. Было любопытно — чтобы задом трясли так гневно, я никогда не видел.

Из соседней палаты санитар повез к лифту пожилую женщину, которая, озираясь по сторонам, торопливой рукой приглаживала на голове волосы.

— Отправляемся на рентген, а не в фотоателье, — прищелкнув языком, напомнил санитар.

Женщина опустила руку.

Санитар сказал что-то еще, но слов я не расслышал.

С головой накрывшись одеялом, я подумал, что, возможно, теперь эта женщина предчувствует свой уход из жизни. Я внимательно прислушался к себе. Слава богу, подобного предчувствия в себе не услышал. Сбросив с лица одеяло, я забормотал:

— Еще нет, еще нет...

Вернулся санитар и, похлопав ладонью по пустому сиденью каталки, кивнул в сторону одной из палат.

— На очереди нервный мужчина, — сообщил он. — Пока люди с жизнью ладят, они вроде бы живут. Жить перестают, когда устают ладить...

— Вы про ту женщину?

— Я про всех. А та женщина мечтает умереть.

— Что?

— Умереть она хочет. Этим и живет.

— А мужчина? Отчего он нервный?

— Беднягу беспокоит внезапно наступившее гормональное затухание. Вовремя не подготовился...

«Как к землетрясению», — подумал я и сказал:

— Надеюсь, он не рассыплется, как высохшая хлебная корка.

Санитар наклонился к моему уху:

— Говорят, что скоро ученые изменят строение людских клеток. Уж очень эти клетки устроены неудачно...

Я возражать не стал.

Санитар ушел.

Часы в больничном коридоре показывали 2:10.

Я принялся думать об Эстер, о моей дочке, о времени, о музыке. И с мыслью: «Музыка — не экзорцизм» — уснул.

Во сне я прогуливался по улице Алленби, но вдруг почувствовал, что за мной кто-то крадется. Кто крался — не видел, не слышал. Только чувствовал. Я свернул на про-



спект Ротшильда. Возле фонтана остановился — привлекли умиротворяющие звуки падающей воды. «Эти звуки надо бы использовать в моей балладе», — подумал я.

На одной из скамеек сидела девочка с худенькой шейкой. Светленькие глазки поразительно искрились. В последние годы на улицах Тель-Авива дети встречаются редко. Больше — служащие. Теперешние дети заняты домашним компьютером. Девочка напевала одну из моих песен. Я удивился — эту мелодию я слышал сотни раз, но так она еще не звучала.

Взгляд девочки остановился на мне. Я подумал: «У всех, кто исполнял эту песню, получалась она по-разному. Странно — почему, когда люди делают одно и то же, у них это получается по-разному?»

Мы запели вместе.

— Нравится? — спросила девочка.

— Пожалуйста, продолжай, — попросил я.

— Песня отличная, да? — спросила она.

— Так себе...

— Не понимаешь, — заключила девочка. — Старый ты.

Я развел руками — мол, прости, что есть, то есть.

Из-под рядом стоящей скамейки выбежал большой белый пес и ураганно пронесся вдоль бульвара.

— Постой! — крикнул я. — Куда ты?

Цицерон издали отозвался:

— Еще вернусь!

Меня разбудила медсестра Вика. Включила свет. Передала таблетки. Сказала:

— Вы во сне пели.

— Мне снилась девочка.

— Вам снятся девочки?

— Там была лишь одна.

Медсестра Вика загадочно улыбнулась и посмотрела куда-то в угол.

Приняв таблетки, я сказал, что мне стало гораздо легче, и тогда сестра Вика, погасив свет и откинув в сторону мое одеяльце, распахнула на себе халатик. Мою шею обожгли раскаленные руки, мои губы обожгли зазорные груди, на мои плечи упали горячие капли слез. Я успел подумать: «Только бы не рухнуть, как гнилое дерево...»

Кажется, я не очень понимал, что делаю. Я просто делал. А когда невидимая сила поглотила мое сознание, надо мной взошла заря с малиновыми губами, малиновыми сосками, малиновым животом. «Разве сейчас утро?» — изумились глаза, а в ушах послышался призывный звук рога из бетховенской увертюры. «Это ты, Эгмонт?» — спросил я у зари и весь сжался.

После этого сестра Вика халатик на себе запахнула, а мне велела следовать за ней в процедурную комнату, на дверях которой висел плакат: «Один человек имеет право смотреть свысока на другого только тогда, когда он помогает ему подняться. Габриэль Гарсиа Маркес».

— Сделаем электрокардиограмму, — объявила медсестра Вика и на моей груди расставила присоски электродов.

Я задержал дыхание.

Запись электрокардиографа показала, что с сердцем у меня в порядке, и я с удовлетворением подумал о том, что во времена моих коллег Шуберта и Шумана пожилым мужчиной считался не то чтобы семидесятилетний, а даже сорокалетний.

Такси с молоденьким водителем подъехало через десять минут.

— На улицу Флорентин, — сказал я.

Машина проехала мимо Большой синагоги, кинотеатра «Офир», аптеки на углу Алленби и Грузенберг. Я ткнул пальцем в стекло.

— Вон там, где большая стеклянная витрина, входили в клуб «Бейтар». Боксерский ринг там стоял...

— Теперь здесь магазин женской обуви, — отозвался водитель.

Я отвернулся от окна. С некоторых пор женская обувь была мне ненавистна.

«Время никого и ничего не щадит», — подумал я, вдруг почувствовав себя побитым, как тогда, когда...

* * *

Надо мной склонилось лицо тренера. Я спросил:

— Меня нокаутировали?

Тренер скривил губы, проворчал:

— Этот парень уложил тебя подремать прямо на настиле ринга. Ты немного запоздал с нырком, к тому же твоя правая болталась, как...

— Не надо! — перебил я тренера.

— Домой проводить?

— К черту!

— Что?

— Доберусь сам. Ноги-то на месте?

— И ноги, и уши твои на месте, только вот нос и это место, что под глазом...

Я покачал головой.

И тут тренер сказал, что я сражался, как мог, и что во мне сидит это самое.

— Это самое? — не понял я.

Тренер направился к выходу.

— Смотри, не потеряй в себе мужчину! — послышалось издали.

Я поплелся в душевую и пустил на себя воду.

На улице стоял влажный воздух, и меня покачивало. Я шел, стараясь держаться поближе к стенам зданий, и думал о ближайшей тренировке.

— Проиграл? — спросила с порога мама.

Я закрылся у себя в комнате.

— У нашего сына такое лицо, будто по нему провели кухонной теркой, — донесся мамин голос.

— Оставь его в покое, — попросил отец.

— Он мой сын, и он, кажется, проиграл.

— Похоже, что и в том, и в другом ты права, но только сейчас оставь его в покое.

Мама постучала в мою дверь.

— Ты проиграл?

— Да, мам.

— В прошлый раз ты тоже проиграл.

— Да, мам, в прошлый раз тоже.

— Тебе больно?

— Терпимо, мам. От любой боли можно отключиться.

— Так уж и от любой...

— Мозг отключает.

Мама пожала плечами.

— Мой не отключает. Когда я вижу у моего сына такое лицо, то мой мозг...

— Мам, потерпи!

— Господи, сколько времени это продлится?

— До первой моей победы, мам. После победы мое лицо изменится.

— Уж лучше останься со своим лицом... Тебя могут покалечить еще сильнее, чем покалечили сегодня.

— Меня не покалечили, а слегка подучили.

Мама снова пожала плечами. Она не могла взять в толк, как можно сочетать в себе тягу к чтению хороших книг с жестким, грубым состязанием на тесном, пропитанном потом боксерском ринге.

— А твои пальцы? Ты их совсем не бережешь. Неужели тебе мало того, что ты чемпион по музыке?

— Я должен начать побеждать. Невозможно стать чемпионом по музыке, прежде не став мужчиной.

— Разве ты не мужчина? Разве я родила тебя не мужчиной?

— Мужчина не позволит, чтобы ему разбивали лицо. Я стану чемпионом, мам! Я стану мужчиной и чемпионом!

— Мой храбрый мальчик! Я всегда знала...

— Храбрость тут не при чем, мам. Быть храбрым проще, чем быть мужчиной...

— Ты — мужчина! Ты — чемпион! Ты чемпион по музыке! Прошу тебя, береги пальцы!





— Пальцы сберегу. И мужчину в себе тоже.
 — Я испекла оладьи, которые ты любишь.
 — Надеялась увидеть меня победителем?
 Мама поджала губы...

* * *

— Уснул? — спросил водитель такси.
 Я покачал головой.
 — В клубе «Бейтар» мне порядком доставалось...
 Водитель рассмеялся:

— Пока не догадался унести ноги?
 — Однажды я победил. А вон в той постройке, которая напоминает сарай, была начальная школа. Тогда многие вернулись из гетто и концлагерей, и в первом классе мы сидели вместе: и семилетние дети, и пятнадцатилетние... А вон в том переулке Бенья Гурски забирался на ящик из-под огурцов и играл на русской гармошке, а еще он пел про лягушек. А вон там стоял киоск «Соки-воды». А вот тот самый бар, в котором мы с Эстер...

Я опустил голову и замолчал.
 — Спишь? — спросил водитель.
 Я не спал. Перед моими глазами мелькали улицы, где я...

* * *

Истерзанный тоской и одиночеством, я метался по вечерним улицам Тель-Авива. Казалось, улицам не было конца.

Меня не занимали ни лица людей, ни их мысли. Огни витрин огромных магазинов слепили глаза, гул автомобилей терзал уши, а нос вдыхал стоящие в воздухе запахи бензина и апельсинов. У города была своя ноша, у меня — своя. Я думал о Юдит. Господи, до чего же хотелось увидеть, как она ходит по земле, как смотрит на облака, как пьет кофе, и было грустно от мысли, что прошлого больше нет, а есть лишь одно проклятое настоящее. Лицо, голос, походка Юдит все еще продолжали управлять состоянием моих чувств и мыслей, и порой, разглядывая вечернее небо, мне виделось, как мы с Юдит, взявшись за руки, словно влюбленные парочки на картинах Шагала, парим над крышами города.

— «Chanel № 5»... «Chanel № 5»... — будто в бреду, бормотал я и вдыхал запах волос Юдит.

А еще бывали минуты, когда мне становилось так холодно, будто из меня вся кровь вышла, и тогда я думал уже не о том, чтобы вернуть Юдит, а о том, чтобы вернуть себя себе.

— «Chanel № 5»... «Chanel № 5»... — шептал я и мучительно содрогался от желания еще раз увидеть загадочную улыбку Юдит, и был готов поклясться, что улыбка Джоконды по сравнению с улыбкой Юдит — всего лишь неудачная копия. Губы Юдит! Нет-нет, допустить мысль, что больше никогда не сумею прикоснуться к этим губам, я позволить себе не мог; на всякий случай я даже стал по несколько раз в день чистить зубы. Господи, отрывая листки стенного календаря, я с горечью думал об уходящих из моей жизни днях без Юдит!..

— Постой! Куда и зачем ты без нас? — умолял я время. Тогда я еще не знал, что к мольбе людей время никогда не прислушивается...

Однажды я повстречал знакомого музыканта. У него было сморщенное лицо.

— Заботы? — спросил я.
 — Ж-ж-жизнь... — прошипел он.
 — К черту! — сказал я.

Мы помолчали.

— Знаешь, — заговорил музыкант, — прятаться от жизни лучше всего у женщин.

— А прятаться от женщин?

Музыкант сказал:

— Ну я пошел.



— Прятаться? — спросил я.

— К черту!

Я пожал музыканту руку.

В дверях банка «Diskont» стоял чернокожий охранник. Я стал жаловаться ему на то, что меня оставила Юдит.

— Почему оставила? — спросил охранник.

— Чтобы вырваться. Так Юдит сказала.

— А ты что?

— Я завыл. Что тут скажешь?

— Можно всякое, — пояснил охранник. — Можно, например, сказать: «Любимая, откуси себе язык!»

Я подумал, что если бы люди, оставляя друг друга, стали бы откусывать себе языки, то половина человечества оказалась бы немой.

В один из вечеров Тель-Авив показался мне особенно измученным, и я бродил по улицам, словно уличная кошка, рыскающая в поисках пристанища. Вдруг я догадался, что это не город измучен, а я сам. «Ку-ку!» — сказал я себе и заглянул в большой магазин. Побродил по двум этажам. На третьем этаже я заметил привлекательную продавщицу.

— Позвольте назвать вас Юдит, — сказал я.

— А если не позволю? — рассмеялась девушка.

— Всего один раз.

— А что дальше?

— Не знаю, — сказал я.

— Мне жаль. — Продавщица сделала скорбное лицо и больше не улыбалась. —

Но я не Юдит.

Я вышел из магазина. От фонарей на тротуары падал усталый свет, и ко мне вновь вернулось ощущение опустошенности. Мимо меня прошла женщина. Так себе женщина. Думаю, она была старше меня лет на пятнадцать. Зато она хорошо пахла. Вернее, она очень хорошо пахла. Догнав ее, я пошел рядом.

Вдруг она остановилась и, кривя губы, спросила:

— Ты уличный кот?

Я опешил.

— С чего вы взяли?

— Всю дорогу обнюхиваешь меня.

— Вы хорошо пахнете, — сказал я. — Эти духи... Это же «Chanel № 5», да?

Женщина покачала головой.

— А ты, оказывается, опытный котик, — вполголоса проговорила она.

Она привела меня в небольшую и очень чистую квартиру. Мы сидели на диване и смотрели телевизор.

— Тоскливо, да? — сказал я.

Женщина выключила телевизор и, прикусив губу, спросила, читал ли я Чарльза Буковски.

Я сказал:

— Кое-что.

Женщина откинула голову на спинку дивана и проговорила:

— Знаешь, Буковски написал обо мне.

— Нет, ничего об этом не знаю, — признался я.

Тогда женщина неторопливым, тягучим голосом прочла: «Она была девственницей и очень плохой поэтессой. Я думаю, когда женщина оставляет свои ноги закрытыми до 35 лет, это слишком поздно как для любви, так и для поэзии».

Я задумался.

И вдруг женщина пронзительно прошептала:

— Повали меня!

Я повалил.

Ночью женщина проснулась и, взглянув на светящийся циферблат настенных часов, спросила:

— Нанюхался вдоволь?

Я потянулся за брюками.



— Первый час... — подавленным голосом проговорила женщина.
 За окном в окружении молодых звезд прогуливалась луна.
 — Начало нового дня, — бодрым голосом сказал я.
 Приподнявшись на локте и откинув назад волосы, женщина выпалила:
 — К черту! — и ее голова снова упала на подушку.
 Я не стал спрашивать, к чему было упоминать черта.
 Женщина снова уснула. Стараясь не шуметь, я направился к двери.
 Дома я бросился к пианино в надежде извлечь из него утешающую мелодию.

До утра извлекал.

— Подумай, что ты делаешь? — за моей спиной стояла в ночной рубашке мама.
 Я обещал подумать. Мама ушла к себе.

«Господи, прости меня!» — моя музыка стала вымалывать прощение. Потом я игру прервал и спросил у себя, за что прощение вымалываю. У себя ответа не добился. Раскрыл дверцы книжного шкафа. Взгляд остановился на корешке книги Симоны де Бовуар, но «Обряд прощаний» в голову не шел. Кажется, мой мозг продолжал слоняться по Тель-Авиву...

* * *

— Спишь? — снова спросил водитель.
 Я не спал.
 — Улица Флорентин, — сказал водитель.
 Я расплатился.

* * *

Дома дребезжал телефон.
 Дочь спросила:
 — Что сказали в больнице?
 Я ответил:
 — Там не говорят, там делают.
 — Что с тобой делали?
 — Самое необходимое.
 — Вот видишь, ты выстоял!
 — Да, я себя отлично проявил.
 — А может...
 — Что?
 — Может, будет лучше, если я свою квартиру продам и с Дани перееду к вам?
 — Я думаю, что мы управимся сами. Я с мамой, мама со мной...
 — Папа, я все же не уверена, что ты... Почему бы не связаться с доктором Шером? Маме необходим уход. Особый уход. Доктор Шер заведует клиникой для таких людей, как моя мама.
 — Пусть доктор Шер заведует в своей клинике, а здесь заведую я, со мной об этом больше никогда не заговаривай.
 В комнате моей жены пахло как обычно — чем-то кислым и старостью.
 Распахнув окно, я спросил:
 — Как ты сегодня?
 Эстер задумчиво улыбнулась. Улыбка мне не понравилась — она была направлена непонятно на кого. И вдруг Эстер раскрыла ладонь.
 — Они красивые, — сказал я про горстку цветных пуговичек.
 Мышцы на шее Эстер напряглись, как у кошки. Свободной рукой она погладила мое плечо и спросила:
 — Ты здесь?
 — Где же мне еще быть?
 — Я подумала, что ты ушел и что ты не возьмешь меня в кино. На последний сеанс...
 — Здесь я. Разве ты не видишь, что я с тобой?
 — Теперь вижу, а раньше я думала, что тебя здесь нет.
 — Ты не должна так думать.



— Ладно, тогда я оденусь, и мы пойдем в кино на последний сеанс, да?

— Как-нибудь пойдем.

Пуговики из ладони Эстер выпали на ковер.

Из шкафчика в ванной комнате я достал свежее белье и большое полотенце, а из зеленой тумбочки шампунь. Включил душ.

— Повернись... Еще, еще немного...

Купая жену, я подумал о рожденной из пены морской Афродите, а потом вспомнил, как однажды мы с Эстер отдыхали в Нетании, и как Эстер в подаренном мною купальнике входила в море. Я любовался моей женой. Тогда ей было тридцать пять.

— Вот и порядок!

Я отключил душ и большим полотенцем обтер сбившиеся на голове седые волосы, серую кожу лица, желтые складки живота, раздувшиеся вены ног.

— Остальное — сама, — сказал я.

Эстер кивнула, но к полотенцу не притронулась.

— Вот так...

Я уже успел смириться с мыслью, что до конца жизни мне придется купать и менять на этой женщине белье. Я одел Эстер в бордовую шелковую пижаму, мой подарок ко дню пятидесятилетия, а потом потянулся за большой расческой.

— Надо причесаться, — объяснил я.

Эстер послушно подставила голову.

— Вот так... Вот так... Вот так...

Я подумал о либретто оперы Глюка, где Орфей мог бы вернуть Эвридику к жизни лишь при условии, что от нее отвернется.

— Вот так... Вот так...

Я представил себе, что повстречайся Орфей с женой Лота, у них бы, конечно, нашлась общая тема для беседы.

Я отвел Эстер в комнату и сказал, что пойду на кухню заварить для нее чай. Если бы четыре года назад меня спросили, сколько стоит пачка молока или килограмм соли, я бы не ответил. Теперь знал. И где на кухне стоят банки с рисом и мукой, теперь тоже знал. Четыре года...

Я ждал, пока в чайнике закипит вода, а о проведенной в больнице ночи старался не думать. Я стал думать о моей балладе и даже пропел:

— Что день грядущий мне готовит...

Вернувшись к Эстер, я застал ее сидящей на коврик.

— Твой чай.

Эстер подняла голову, спросила:

— Они вернут моего брата?

Я заглянул в глаза жены, как заглядывают в книгу. Прочел: «Мне нехорошо!»

— Попей чай, — сказал я.

— Пусть они вернут моего брата.

— Они вернут.

— Когда? Ты знаешь, когда вернут моего брата?

— Нет, — сознался я. — Я не знаю, у кого спрашивать. Просто не имею понятия.

Попей чай.

Эстер глотнула из чашки и вернулась к своим пуговкам.

— Завтра, — сказал я. — Игру с пуговками продолжишь завтра. Пора ложиться спать.

Эстер вдруг улыбнулась, спросив:

— Я красивая?

— Конечно! Спокойной ночи!

Чай я отнес на кухню. Вылил в раковину. Промыл чашку, почистил зубы. Постирал в ванной комнате носки, развесил их на веревке. Перед тем, как включить душ, заглянул в зеркало. Зеркало пугало своим бесцеремонностью: на лице была нарисована картина растерянности и досады. Захотелось от этого лица отвернуться, сбегать, словно от приближающейся опасности, но вдруг почудилось, что ко мне подошел отец, сказал: «Когда подбирается опасность, не отворачивайся. Наоборот — попытайся заглянуть ей в глаза».

Я сбросил с себя одежду. Все вроде бы на месте: ничего такого, что напоминало бы рассыпающуюся, засохшую хлебную горбушку.



Вот она — моя голова. Она не допустит размытых мыслей. Вот они — мои руки. Они уберут, если потребуется, преграды. Вот они — мои ноги. Они направят меня, куда надо. Голова, руки, ноги — чем не достойное войско!

Я задержал взгляд на моем лице. Никакого сомнения — зеркало отражало облик вполне мужчины. «Ты не засох, — сказал я себе. — Разве что чуть-чуть усох...» Вспомнил: «Не ищи другого лица, если имеешь свое!» — взывал знаменитый средневековый каббалист Парацельс.

«Вот именно!» — согласился я.

Я погасил свет. Впереди меня поджидала ночь.

— Иду! Куда от тебя денешься... — шепнул я ей, а потом, лежа в кровати, стал думать о том, что на этой кровати мы с Эстер спали вместе долгие годы и что когда-то кровать под нами безудержно стонала. Теперь не стонет.

Я попытался вспомнить, когда мы с Эстер в последний раз обнимались. Не вспомнил. Зато вспомнил, как когда-то Эстер могла часами находиться в этой комнате и, стараясь мне не мешать, просто сидела, держа на руках нашу дочку и наблюдая за тем, как я добываю из клавиш звуки, как достаю из книжного шкафа книги, как гляжу в окно, как...

«Почему бы мне не заглянуть в комнату Эстер сейчас? — подумал я. — Обниму ее и вернусь к себе».

Не заглянул. Натянув на себя одеяло, я закрыл глаза.

История с медсестрой Викой будто вырвала из меня кусок опрятности. Я никогда не шел на поводу у моего члена и уж тем более не считал себя его рабом, но в ту ночь...

В моей голове мелькнула мысль: «Что если в наказание за свой саспенс мне взять и застрелиться?» Но я передумал.

Выбравшись из кровати, я босиком пробрался к книжному шкафу.

В дни своих рождений мои родители дарили друг другу по две-три книги, а потом эту традицию переняли и мы с Эстер. Со временем книжный шкаф превратился в довольно приличную библиотеку. Мама часто перечитывала Кнута Гамсуна и Стефана Цвейга, а отец — Сервантеса, Толстого и Беккетта. «Книги — защитники души», — говорила мама, пытаясь внушить мне, что если душе понадобится помощь, то персонажи Платона, Бальзака, Ремарка, Башевиса-Зингера, Белля, Аарона Мегеда на мой призыв непременно отзовутся...

Достав том «Триумфальной арки», я отыскал те самые строчки: «Лавинь, узнав о смерти жены, провел ночь в публичном доме. Проститутки спасли его, а с попами ему было бы худо. Это можно понимать или не понимать. Объяснять тут нечего».

Мне вдруг показалось, что я физически ощущаю присутствие автора. «То-то же!» Взбодренный Ремарком, я захлопнул книгу. Ни к чему превращать себя в шофар и трубить о своем покаянии. Я оглянулся на дверь в комнату жены.

И тут меня снова прорвало: «Зачем была та женщина? Зачем на себе халатик распянула? И зачем было это? Возможно, у медсестры Вики умер муж, и ей это было нужно для своего спасения? И тогда... что же выходит? Что для кого-то я послужил проституткой? Я?!»

Не торопясь выйти из сна, я поговорил с Ортегой-и-Гассетом. Знаменитый психолог внимательно выслушал меня, а потом потряс пальцем перед моим носом. «Когда цепь событий обретает непредвиденный поворот, — сказал он, — мы себе заявляем, что это невероятно».

«Понял!» — хотел я ответить психологу, но тут зазвенел телефон.

— Как мама? — спросила дочка.

— Теперь спит. Она просила, чтобы я пошел с ней в кино.

— В кино?

— В кинотеатр «Офир». На последний сеанс. До того, как родилась ты, мы еженедельно ходили в кинотеатр «Офир» на последний сеанс. Мы просто обожали ходить на последний сеанс, а потом, по дороге домой, заглядывали в небольшое кафе и выпивали по бутылочке лимонада. Дома мы ложились в нашу кровать и перед тем как уснуть читали Музиля, Сент-Экзюпери, Гамсуна, Генри Миллера и верили, что будем всегда счастливы. Об Имре Кертесе мы тогда не знали. Сегодня твоя мама обо всем этом вспомнила.



— И что же теперь?
 — Теперь твоя мама спит.
 — А ты?
 — Я — нет. Общаюсь с собою. Веду исключительно важную беседу.
 — С самим собою?
 — По-настоящему важные беседы только с самим собою и возможно вести. Сейчас я беседую с собой о проститутках.
 — Вот как!
 — В мои годы людям позволительно заводить в голове тараканов.
 — Кажется, тараканы заводились у тебя и в прежние годы...
 — Возможно, только они были других размеров.
 — Папа...
 — Что?
 Трубка помолчала.
 — Береги себя! — услышал я.
 — Обязательно! А как у тебя?
 — Путаница. Жизнь путаная...
 — Это не она. Просто этот мир заселен путаниками.
 — Я его плохо перевариваю...
 — Мир не виноват. У людей слабые желудки. Этот мир надо уметь как следует прожевать, а мы заглатываем в себя куски всякой гадости, а потом ими же давимся...
 — Приятных снов, папа.
 — И тебе. Поцелуй за меня внука.
 Я вернулся в кровать.
 С улицы доносился рокот грузовых машин. По ночам они подвозили к базару ящики с фруктами.

Сон то приходил, то обрывался. В памяти шевельнулись чьи-то слова: «Беспробудно снят лишь три вида людей: дети, мертвые и ночные сторожа». Я не находил причин, чтобы воспринимать себя ребенком, ночным сторожем или мертвым. Уже неплохо...

Часы показывали 1:17.

«Эстер... — подумал я. — Время...»

Я зажег свет, снова пробрался к книжному шкафу, ощутив потребность полистать Книгу.

«В те дни не было царя у Израиля; каждый делал то, что ему казалось справедливым», — прочел я.

«Какое прелестное было время! — подумалось мне. — *В те дни...* — Вдруг я утешил себя мыслью: — Так ведь в Израиле царя нет и сегодня...» А вот тут сказано, что «всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо». «Всякое дело» — какое бодрящее душу обещание!

Вернув Книгу на место, я задержал взгляд на прислоненной к стеклянной дверце старой фотографии. На маме была светлая широкополая шляпа и ситцевое платье со вставленными плечиками-подушечками, а рядом отец в форме бойца Еврейской бригады армии Ее Королевского Величества. Тут же еще одна фотография: отец в гражданском костюме, который он носил во время службы в отделе городского водоснабжения. В этом же костюме отец ходил на концерты в филармонию.

Мама... Отец... Рядом... Врозь — никогда.

Как-то к приболевшему отцу пришел приятель-музыкант и, заметив лежащую на шкафу шляпу, удивился: «Никогда не видел вас в шляпе!» Отец сел в кровати и очень серьезно проговорил: «Шляпу не ношу, чтобы ни перед кем ее не снимать».

Теперь эта кровать моя. Забавно: жизнь začínают в кровати, в кровати же и заканчивают...

Мой отец...

* * *

Мне исполнилось девятнадцать, когда мой отец умирал от рака. В музыкальном ансамбле Южного военного округа, где я служил аккомпаниатором, мне разрешили взять недельный отпуск.



В клинике отца больше не задерживали, а лежа дома, он смотрел на все окружающее каким-то странным, загадочным взглядом. В один из дней он особенно долго молчал и меня разглядывал неотрывно, почти не мигая. Я не знал, куда себя девать.

И вдруг отец заговорил о жизни и о малодушии.

— Ты меня понял? — спросил он.

Я ответил, что над этим подумаю. Я пытался сказать что-то еще, но отец жестом руки остановил меня. Мы продолжали просто смотреть друг на друга. Кажется, в эти минуты я впервые в своей жизни оценил выразительность молчания.

— Поставь ту запись, — попросил отец. — Хочу послушать сейчас...

Кажется, я сильно покраснел, вспомнив, что синюю коробочку с записью домажорной сонатины Клементи подарил Юдит.

Кинувшись к пианино, я сказал, что лучше сыграю живую.

— Сынок, живи долго и счастливо, — сказал отец, когда я кончил играть.

Я обещал.

— Но знаешь ли ты, что означает счастье?

Я сказал:

— Наверно, когда радостно от достигнутого...

Отец немного помолчал. Еще никогда его лицо не казалось мне таким озабоченным.

И вдруг отец попросил достать из книжного шкафа его любимого Шопенгауэра. Я достал. Отец принялся пролистывать страницы.

— Вот, — наконец сказал он. — Запоминай.

Отец произносил слова медленно, местами с особым нажимом и чуть ли не по слогам:

— «Счастливейшая страна та, которая нуждается лишь в малом ввозе или совсем в нем не нуждается, — так и из людей счастлив будет тот, в ком много внутренних сокровищ и кто для развлечения требует извне лишь немного или ничего».

Вернув книгу, отец спросил:

— Ты понял все?

Я сказал, что не все.

— У тебя есть время. А пока запомни: успех, слава, красота женщины и все такое рано или поздно иссякнет, и тогда самое важное — сохранить хотя бы себя. Сохранить! Понимаешь?

Я кивнул.

Отец снова приподнял и руку и задержал ее в воздухе — так делают, когда требуют принятия клятвы.

— Сохранить совесть... Понимаешь?

— Да.

— И сострадание.

— Да.

— И справедливость.

— Да.

— До конца.

— Да.

— И держать удар не отвыкай.

— Да.

— Обещаешь?

Я обещал:

— Совесть, справедливость, сострадание до конца.

— Все верно.

Рука отца дрогнула.

— Не умирай! — просил я.

Плохо выбритой щекой отец потерся о подушку.

— Эй, боксер, не грусти. Видишь, я не грущу...

Я не видел.

— Знаешь, почему?

Я не знал.

— Пока ты будешь музыкантом и бойцом, я не затеряюсь...



Я смотрел в его удаляющиеся от меня глаза и шептал:

— Папа, я не понимаю...

Рука отца потянулась ко мне.

— И бойся Бога, — услышал я. — Потому что...

Рука повисла в воздухе.

— Папа, я не понимаю!

Отец незнакомо улыбнулся.

— Мужчины в ответе...

— Папа!

— Только не спрашивай, что отнимает у нас жизнь.

Глаза отца потухли.

Рука отца опала.

Лицо отца поменяло цвет.

Отец!!!

Он ушел от меня, послушавшись — ведь родители детей не слушаются. Родителям подавай, чтобы дети слушались их.

Руку отца забрала мама и с этой минуты из своей руки не выпускала. Я увидел, как мама эту руку гладила. Двое суток гладила.

Через много лет я прочел о шведском ученом, который, исследуя умирающих, пришел к выводу, что в теле человека присутствуют особого вида подкожные волокна. Ученый назвал их «волокнами любви», утверждая, что чем дольше эти волокна испытывают на себе ласку и чувство любви, тем дольше продлевается в человеке жизнь. Об этом моя мама догадалась задолго до открытия ученого шведа.

— Почему моего отца проглотила опухоль?

— Не знаю, — сказал хирург. — Возможно, причина есть, а возможно, что нет.

— И в чем вселенский смысл? — недоумевал я.

Хирург развел руками.

— И смысла нет? — съежился я. — Ни в чем — нет?

А потом настал час, и меня ввели в небольшую постройку при входе на кладбище. Человек в черной широкополой шляпе кивнул в сторону каталки и приподнял черное покрывало.

— Посмотри! — настаивал он. — Нужно опознать...

Я не мог смотреть и не мог не смотреть. Мой взгляд скользнул по белому, блее всякого белого, лицу. Это лицо моему отцу не принадлежало: не его нос — этот был острый, не его глаза — эти были стеклянные.

Я рассмеялся.

Человек испугался. Отбежав в сторону, он издали забормotal:

— Ты еще посмотри... Нужно... Голову-то подними... Посмотри еще...

Я представил себе, как через несколько минут каталку подвезут к яме, и я буду вынужден смотреть на то, как незнакомые мне люди, взяв в руки лопаты, примутся погружать сантиметр за сантиметром в другой мир, в другое жилище, в другую тишину то, что осталось от моего отца.

Рядом послышалось:

— Ну, что скажешь?

Я сказал:

— Отец, я сохрaнню...

Человек в черной шляпе замахал руками.

Я последовал за каталкой, силясь понять игру, которую ведет с нами жизнь.

А потом...

Знакомые и незнакомые мне люди стали расходиться и, проходя мимо меня, клали на мое плечо ладони. Кто-то сказал: «Понять смерть можно, а вот жизнь...»

Я взглянул на маму и подумал: «После того как заглянешь в лица мертвых, заглядывать в лица живых страшно быть не должно».

Потом — мы с мамой остались стоять одни. У наших ног — свежий холмик земли. Я подумал: «Жизнь и смерть пребывают рядом». Мама закрыла руками лицо. Мои глаза задержались на холмике земли. В голове пронеслось: «Черви вот-вот заползут, облепят...»

Дома мама опустила в кресло возле окна. Голову мама слегка запрокинула; ее лицо в проникающем с улицы вечернем свете было иссиня-бледным.



— Мама! — позвал я, но она не отозвалась. Ее глаза, казалось, вытекли.

— Мама! — снова позвал я.

Мамины пальцы вцепились в подлокотники кресла. Я стал целовать ее руки, подумав: «Единственная моя!» И вспомнилась строка из русской песни — «другой не будет никогда».

— Мне предложили работу на почте, — проговорила мама и вновь замолчала.

Я хотел уткнуться лицом в мамины колени и говорить, говорить, говорить об отце. Но мама вдруг поднялась из кресла и, торопливым движением поправив чуть сбившийся воротничок темной блузки, направилась к себе в комнату. Меня поразила удивительно ровная, твердая походка.

Я подумал — о Боге, о том, что в детстве мечтал рисовать мамины руки, о том, что мама никогда не позволяла себе забывать, что она женщина. Как Марлен Дитрих, которая никогда не падала в обморок, опасаясь, что это может выглядеть незлегантно.

Комнату поглотила тишина.

— Что будет с моими занятиями в академии музыки? — проговорил я в тишину и открыл дверцы книжного шкафа.

Квалифицированного ответа в «Мыслях» Паскаля я не нашел.

«Хорошо бы, — подумал я, — придумать для каждого человека в отдельности карту с указанием его жизненных ориентиров. Развернув такую карту, каждый нашел бы свой путь. С такой картой не заблудишься...»

* * *

Густобровый декан академии принял меня со скорбной ласковостью.

— То, что ты талантливый пианист, — заговорил он, — ни у кого из нас сомнений не вызывает, и ничего нет в том удивительного, что ты мечтал посвятить себя концертной деятельности, но жизнь, обстоятельства, судьба...

Я молчал.

Декан продолжил:

— Надеюсь, ты понимаешь, что исполнитель должен постоянно следить за своей формой, а теперь, оставшись без существенной материальной поддержки, ты...

Я молчал.

— Мы все сочувствуем...

Я молчал.

— ... твоей проблеме.

Я молчал.

— Вот послушай. Пришел человек за советом к раввину с проблемой, которую не знал, как осилить. «Друг мой, — сказал раввин, — Бог не просто так посылает людям проблемы, а с учетом сил каждого из них, так что одно из двух: либо ты со своей проблемой справишься, либо эта проблема не твоя».

Я молчал.

— Конечно, проблема — твоя...

Я молчал.

— Мы тут посоветовались с коллегами... Словом, памятью о твоих способностях сочинять оригинальную музыку, мы предлагаем тебе перевестись в класс композиции профессора Кестлера. Как ты на это смотришь?

Я молчал.

— Над предложением можешь подумать несколько дней, а то и всю неделю.

Мы вместе помолчали.

Это было довольно оживленное молчание, во всяком случае, у меня было достаточно времени, чтобы вспомнить реплику из «Гамлета»: «Есть, стало быть, на свете божество, устраивающее наши судьбы по-своему».

Обреченно оглядев свои пальцы, я сказал:

— Ваши доводы кажутся мне разумными.

В ту ночь я во сне пил вино из очень высокого бокала, но стекло почему-то треснуло, вино ушло в белую скатерть, а моя ладонь наполнилась лужицей крови и осколками стекла. Через мгновение ладонь усохла.

«Как же мне оставаться музыкантом с такой рукой?!» — закричал я.



«А вот так! — отозвался вольтеровский Кандид. — Что ни случается, все к лучшему».

* * *

Бывали дни, когда я говорил себе: «Может, лучше к ногам жизни бросить белое полотенце и удавиться?» А потом, вспоминая об обещании отцу не отвыкать от умения держать удар, говорил себе: «Фигу ей, а не белое полотенце!»

* * *

Возвращаясь с работы, мама уходила на кладбище. Иногда мы отправлялись туда вместе. Ничего против кладбищ у меня не было, и все-таки мысль, что когда-нибудь меня там оставят, вызывала во мне чувство растерянности и неприятия.

Однажды мама сказала:

— Люди живут дважды: до кладбища и после кладбища.

Я возразил, что после кладбища — это не жизнь, а смерть.

Мама склонилась над могилой, проговорив туда:

— Смерть — это тоже жизнь.

Я спросил:

— Разве отец слышит?

В ответ мама взглянула на меня — и только.

Дома я сказал:

— Мне больно, когда у тебя грустные глаза. Пожалуйста, улыбнись.

Мама меня послушалась.

— Замри! — сказал я.

— Что? — не поняла мама.

Я объяснил:

— Игра такая. Надо замереть, не изменив выражения лица.

— Ладно.

Поцеловав мамино лицо, я сказал:

— Отомри!

Я ушел к себе в комнату и стал играть фугу Баха, а перед тем, как лечь спать, вдруг подумал, что отец оставил меня лишь на время, что он скоро вернется, чтобы снова жить так, как живут до кладбища.

— Отец, отомри! — проговорил я, засыпая.

* * *

В гостиной, пропахшей лекарствами, мочой и увяданием, меня встретил человек лет двадцати пяти.

— И хозяин, и доктор, — представился он.

— В газете написано, что дому престарелых требуется пианист, — сказал я.

— Проявите себя.

Рояль «Bechstein» был старый, но расстроенный не совсем до конца.

— Что это было? — спросил доктор.

— Гендель, — отозвался я.

Лицо доктора покрылось цветом пурпурного кетчупа. С губ сорвалось:

— Вы полагаете, что Гендель — это именно то, что моим пациентам жизненно необходимо?

Я сыграл кое-что из Саши Аргова.

Лицо доктора, сбросив с себя кетчуп, покрылось бежевой пудрой.

— Приступайте к работе, — услышал я.

По понедельникам, средам и пятницам автобус подвозил меня к южной окраине Тель-Авива, к дому, по которому бродили люди с раздавленными душами, от которых постоянно исходил запах разложения. Все, что им теперь позволяла жизнь — это надрывно сопеть, мучительно кашлять, задыхаться, мрачно хрипеть, перебрасываться рассеянными, недоговоренными взглядами и исковерканными улыбками. Иногда остановившиеся взгляды этих людей я ловил на себе и тогда думал о том, как, должно быть, нестерпимо видеть мир такими глазами.



Вглядываясь в эти разрушенные, изможденные лица, я осторожно роптал: «Господи, зачем человеку жизнь даришь, если потом таким образом забираешь?» И только тешила мысль: «Отцу и маме повезло — до этой жизни не дожили». И только тешила надежда: «Может, и мне избежать удастся...»

Однажды я увидел, как взгляд умирающей госпожи Брахи уперся в пожелтевшее, изрядно высохшее лицо господина Авигодора. Это был хотя и остановившийся, но поразительно живой, цепкий взгляд. Я задержал дыхание, подумав, что на меня так уже давно никто не смотрит. И вдруг в уголке Брахиного рта вздулся белый комочек и по губам потекла каша. «Вот он — итог человеческой жизни...» Я отвернулся, вцепился пальцами в клавиши.

Я видел, что моя игра перед еще не покинутыми богом людьми доставляла им удовольствие, но особо она привлекала к себе худенького человечка с прозрачно-бледным носиком и костлявую, будто обглоданную, бывшую балерину с глубоко вогнутыми щеками. Худенький человечек устраивался за моей спиной и, слушая, неудержимо лил слезы, а балерина, одобрительно трясая головой и сморкаясь, внимательно разглядывала мои пальцы. Однажды худенький человечек, почесывая об угол стула зад с воспаленными анальными железами, скорбным голосом сообщил мне, что он был замечательным скрипачом, но общественность этого города, не сумев оценить силу его искусства, отобрала у него смычок. Балерина, которой было давно за девяносто, тоже доверилась мне и рассказала, что с тех пор как санитар Игал прокусил ей мочку уха у нее время от времени возникает ощущение беременности. Через какое-то время мне стало известно, что санитар Игал покусал не только балерину, и я ему сказал, что он животное, к которому следует приставить ветеринара. Игал повеселел и попытался куснуть меня. Я сумел увернуться и увидел сидящую в стороне балерину. Она смотрела прямо перед собой, и ее губы шевелились.

— С кем это она беседует? — спросил я доктора. — Я никого не вижу.

— Это ты не видишь, а она убеждена, что в данную минуту перед ней именно тот, с кем ей вздумалось пообщаться.

«Счастливый она человек», — решил я.

Я сыграл что-то из «Щелкунчика».

Худенький человечек немного поплакал, но вдруг улыбнулся и помахал трясущейся ручкой. «Morituri Te Salutant...» — «Идущие на смерть приветствуют тебя...» — подумалось мне.

Прикрепив к груди несчастных бумажные слюнявчики, нянечки взялись старательно наполнять кашей нелепо раскрытые рты, из которых по сморщенным подбородкам стекали зеленоватые сгустки слюны, а потом я снова открыл крышку рояля и стал стучать по клавишам, изображая что-то скачущее, танцующее, трескучее. Обступив меня, люди радостно притоптывали ногами, хохотали и махали своими немощными ручонками.

Я играл для них. Я улыбался им. Я одобрительно качал головой. Я думал: «Кто может посметь беззащитным людям не позволить ввязаться в отчаянную схватку с таким итогом человеческой жизни?»

Доктору я сказал:

— Кажется, приближение смерти этих людей не пугает...

Доктор рассмеялся:

— Для того-то они, собственно, и живут... Еще до меня Монтень заметил: «Жизнь — это приготовление к смерти».

«Не слишком ли горек дар божий?» — подумал я, и доктор, словно угадав мою мысль, отозвался:

— Все мы плоды Его неудавшегося эксперимента, а наша жизнь — всего-навсего забавно смонтированная лента кино, после просмотра которой каждый из нас был бы не прочь вырезать из нее некоторые эпизоды.

Я пожал плечами.

— Смело, доктор! Не опасаетесь, что у творца этого кино чуткие уши? Кроме того, он не только создатель, но и властелин этого мира.

Доктор горько улыбнулся:

— Думаете, я забыл об этом? Помню, маэстро, помню... Однако в своей неудаче он и сам давным-давно удостоверился.



Я загрузил.

— Вы, доктор, не считаете, что уход человека из жизни — процесс по-настоящему мерзкий?

— Разумеется, это так, но, тем не менее, от него добровольно никто увильнуть не пытается. Я никогда не слышал, чтобы мои пациенты выражали желание жить вечно; они просто говорят, что не хотели бы умирать.

— А знаете, доктор, — предположил я, — если справедливо утверждение, что бог милостив, то не исключено, что в этом деле он решит кое-что подправить...

Доктор поморщился.

— Упаси боже! Стоит людям узнать, что смерть отменена, как они тут же лишатся чувства страха, а взамен его ощутят чувство вседозволенности. Согласитесь, что когда все дозволено, это так же невыносимо, как то, когда все не дозволено. Нет, приятель, из того, что ваш разум так болезненно обострен, еще не следует, что и Его разум столь же болен.

Я прикусил губу. И, покусывая, спросил:

— Не слишком ли смерть загадочна?

— Не знаю, — отозвался доктор. — Но утешает мысль, что когда-нибудь и мы умрем, и эта штука свою тайну нам непременно выдаст.

Мое лицо изобразило восторг надежды.

Доктор пристальным взглядом обвел своих внезапно задремавших пациентов, а у медсестры Розы спросил:

— Со снотворными не переборщили?

Медсестра сделала круглые глаза и поджала губки.

— Смотрите у меня! — доктор угрожающе пошевелил пальчиком и вернул взгляд на меня.

— Жизнь — это и счастье, и наказание, — сказал он.

Я посмотрел на Лею, которая терла ладонью свои постоянно слезившиеся глаза. Пожевав хлеб, она передала недоеденный кусок соседу по столу.

— Страшно, да? — спросил доктор.

— Тягостно на это смотреть, — признался я.

— А вы не смотрите. Вы всякое такое не берите в голову, а просто играйте, маэстро. Играйте, пока играется. И не бойтесь чего-то лишиться. Люди слишком норовят иметь...

Я вспомнил Станислава Ежи Леца: «"Выше голову!" — сказал палач, накидывая петлю».

— Парад немощности, — проговорил я.

— Разве?

— Разве нет?

Доктор ухмыльнулся.

— Кто посмеет назвать старухой госпожу Берту с ее прекрасно сохранившейся силиконовой грудью? И у кого достанет смелости обозвать стариком господина Роберта, у которого сквозь вставленные челюсти с трудом, но все-таки пробивается какое-то подобие улыбки? Пока мы не выясним, как дела обстоят там, нам ничего иного не остается, как уважать здешнюю жизнь. Не напрасно Монтень писал о том, что жизнь — это приготовление к смерти, и что смерть учит человека жить.

— Даже так, как живут эти люди? Стекающая изо рта слюна, трясущиеся руки, упрятанные в штанах подгузники — это жизнь? Неужели мы живем для того, чтобы дожидаться своего неминуемого капкана в виде старости и смерти? Хорошо еще, что это мы проделываем всего один раз...

— Господин Корман, вас к телефону! — крикнула медсестра Роза.

Я поднял трубку. В ней звучала до-мажорная сонатина Клементи.

Наверно, я побледнел, потому что доктор обеспокоенно спросил:

— Что там?

— Я бы и сам не прочь узнать.

Из туалета выскочил совершенно голый Ашер и, роняя слюну, громко потребовал, чтобы его признали мужчиной. Подоспевший санитар стал Ашера успокаивать, клянясь, что никто в этом не сомневается. Ашер успокоился и дал отвести себя в комнату.



— Хоть бы прикрыл свою наготу, — заметил я.

Доктор улыбнулся.

— Какая же это нагота? Настоящая нагота скрывается далеко в глубине себя.

Я мысленно заглянул в себя и поморщился.

— Кому пришло в голову назвать человека венцом творения?

— Кому же еще, если не самому человеку? — сказал доктор. — Вам не кажется странным тот факт, что количество разума на планете сохраняется постоянно на одном уровне, а население все увеличивается?

Да, мне казалось.

Доктор пояснил:

— С одной стороны, успехи в гериатрии, с другой — пока умные рассуждают, глупцы размножаются.

Я напомнил о боге:

— В конце концов, это он навлек на нас голод, засуху, старость и болезни.

Доктор усмехнулся:

— Море, цветы, музыку и нас с вами — тоже он.

Я пристально посмотрел на доктора. Он производил впечатление человека, который верит в то, что говорит.

— Доктор, не слишком ли много в вас бога? — спросил я.

— Бога *слишком* не бывает, — сказал доктор.

— Если, конечно, он вообще есть...

— Я предпочитаю, чтобы он был.

В зал вошел высокий мужчина с неровно подстриженной бородкой.

Сестра Роза издали прокричала:

— Рива, к тебе пришли!

Толстая Рива, у которой были сильно провислый живот и багровые щеки, повернула голову. Как выяснилось, Риве в этот день исполнилось восемьдесят три года, и муж принес ей в подарок модель усовершенствованной клизмы.

— Хорошо бы суметь перехитрить смерть, — сказал я доктору.

— Так ведь пытались...

Доктор немного помолчал, словно раздумывая над тем, имеет ли он право приглашать тайну, а потом я услышал историю о царе Сизифе, к которому явился бог смерти Танатос и предложил пройти с ним прогуляться. Царь, догадавшись о цели Танатоса, заметил, что, согласно греческому обычаю, он должен вначале гостя накормить, напоить, в баньку проводить, а когда бог смерти подчинился Сизифу и сел за стол, был тут же закован в цепи на несколько лет. Люди перестали умирать, ибо некому стало приходиться за ними. Но такое положение дел не могло радовать всех тех, кто оказались тяжело раненными в нескончаемых битвах. Корчась от мучительных болей, воины молили даровать им скорейшую смерть, но та не приходила. И тогда, вняв молитвам раненых, демон смерти Арес отыскал и освободил бога смерти Танатоса и принялся навестывать упущенное. Наконец-то смогли умереть смертельно больные и мучительно жаждущие избавления от мук герои, а что касается Сизифа, то он был тут же отправлен в подземное царство и обречен на вечный каторжный труд за попытку шутить со смертью.

Я подумал о моей маме: «Она совсем не старая!»

У доктора я спросил, любит ли он свою жену.

— Конечно.

— А потом, когда она состарится?..

— Тогда состарюсь и я.

— Могу себе представить, какое это будет для вас счастливое время! — рассмеялся я.

Доктор почему-то нахмурился.

Долгое время я не понимал, где я, собственно, работаю: в доме для престарелых или в доме умалишенных, и даже по вечерам, приходя на занятия в академию, накопленная за день память моих глаз, носа, ушей продолжала хранить в себе слившиеся воедино и запахи сладковатого распада, и необузданные, лишённые смысла громкие выкрики...



* * *

Однажды в этот дом пришел навестить своего отца известный музыкальный критик. Он узнал меня и, послушав мою игру, сказал, что, судя по моим импровизациям, я, видимо, готовлю альбом детских пьес.

— Разве? — отозвался я. — Не знал...

Ласковой ладонью критик провел по моему плечу, заявив, что его в достаточно высокой степени привлекает мое поразительно детское восприятие мира.

«Надеюсь, этот человек не педофил», — подумалось мне.

* * *

Дома я целовал маме руки, а она высохшими, насквозь пустыми глазами смотрела на закат солнца.

— Больше оно не взойдет... — однажды проговорила мама.

С того дня она разучилась смотреть как прежде, дышать как прежде, говорить как прежде. Я думаю, что мою маму испугала мысль о необходимости продолжать жить, но еще больше она страшилась того, что называется *выйти за рамки*. Объявив жизни войну, мама ушла на фронт, и последней траншеей, последним резервом связи с прошлым стал для нее мир снов. Во сне она умерла. Не стало ни моей мамы, ни моего детства. Мне надо было привыкать к чувству, что «теперь ты ничейный».

В один из дней я собрал из стенного шкафа и ящиков комода мамину одежду, упаковал в коробки и отвез в дом престарелых.

Жалование в доме престарелых давало мне возможность покупать себе рубашки, джинсы и ношенные куртки из магазина, который назывался «Полный крах». По вечерам я почти не выходил из своей комнаты, помногу читая или ведя длительные беседы с моим пианино. О боге я думал все реже. Чаще — о дьяволе.

А потом появились мои первые песни. Кое-что взяли на радио. Словом, устоялся некий новый образ жизни, мой новый *Modus Vivendi*. Продолжая вести борьбу за место в жизни, я больше не начинал мой день с разминки пальцев и почти забросил гаммы. Теперь мое отношение к инструменту изменилось: если прежде я на нем играл, то теперь, занятый мыслями о том, какими звуками выразить свои ощущения подъема или тревоги, возбуждения или подавленности, я с ним вначале беседовал, и только потом осторожно, с трепетным волнением позволял себе прикоснуться к клавишам.

Modus Vivendi...

И все же память о Юдит не отпускала, и, чтобы не оказаться погруженным в пугающую трясину прострации, я уходил из дома и часами бродил по городу, унося в себе одно-единственное желание — спастись от тоски и потерянности. Но и на улицах ощущение потерянности меня не покидало, и тогда я мысленно заговаривал с Юдит: «Помнишь мой рассказ о Раскольникове и о его сестре?... А помнишь... А помнишь...»

Говорить было больно. Еще большую боль причиняло отсутствие отклика. Такой острой боли я не испытывал даже во время боев на ринге. Я бродил по улицам, опасаясь себя к себе подпустить, и ходил, наверно, на человека, которого поразила молния. Прохожие поглядывали на меня с сочувствием и изумлением, но чаще с испугом.

Тель-Авив казался мне пространством, наполненным аферистами, садистами, педофилами, сомнительными барами, темными крошечными сквериками. Я блуждал, передвигаясь наобум, не слыша собственных шагов, не замечая, как, оказавшись за чертой города, наткнулся на вспаханные поля или глухие рощицы.

Я безмолвно расспрашивал Юдит. Я себя безмолвно корил. Или — выбрасывал горькие слова на стены домов, на тусклые фонари.

Когда же бывало совсем неумоги, я забирался в телефонные будки и, прижимая к губам мертвую трубку, погасшим голосом шептал: «Я потерял тебя... Я потерял себя... Я потерял...»

Я был невменяем. Я был в глубоком нокауте. Можно было открывать счет не до десяти, а до ста десяти — в себя я бы все равно не пришел.

Так прошли лето, осень, зима, весна. День сменялся наступившим сном; сон сменялся наступившим днем. Я постоянно бормотал стихи Йоны Волах или, словно назвав заветный пароль, шептал: «А вдруг... Вдруг Юдит вернется...»



Однажды в телефонной трубке сказали:

— Вас вызывает Йоханнесбург.

Через минуту послышалось:

— Гигант?

Я боялся, что задохнусь.

— Юдит?!

— Да. Ты меня слышишь?

— Конечно!

— Тогда я ошиблась. Теперь оказалось, что все не так...

— Что ты имеешь в виду?

— У меня чудесный сын, но все равно — теперь все не так... Господи, зачем я говорю об этом!.. Мне стыдно признаваться, что теперь все не так, но сегодня я не выдержала. Сегодня захотелось сказать...

— О чем? — кричал я.

— Я не должна была... Прости. Сегодня на меня нашло...

— Что, Юдит? Что?

Трубка замолкла, а я продолжал кричать:

— Юдит, не молчи! Говори со мной! Пожалуйста, Юдит!

Трубка молчала.

Она молчала, а я кричал:

— Говори, говори со мной! Пожалуйста, Юдит, говори!

Трубка молчала.

Я плотно прижимал ее к губам. Я прижимал ее целый час, а может, вечность.

* * *

В ту ночь был крошечный безлюдный бар. Человека за стойкой звали Морис.

— Кажется, в этой жизни я ничего не смыслю, — признался я ему. — А вы?

Морис тщательно протер тряпкой поверхность стойки и рассмеялся:

— А я вроде бы — да. Жизнь похожа вот на это меню.

Я посмотрел на листок, вставленный в целлофановый мешочек.

— Что в нем? — спросил я.

— И всякое, и разное... Все как в жизни. Что будешь пить?

Я не знал, что мне пить.

Морис ждал.

Я сказал:

— Что-нибудь для восстановления дыхания.

— Тогда стаканчик рома.

— А если для восстановления души?

— Тогда — два стаканчика.

— Рома?

— Именно.

— Тогда, пожалуйста, три стаканчика рома и к ним что-нибудь еще покрепче.

— Зачем тебе?

— С головой у меня тоже сложности...

— Крепче рома ничего не бывает.

— Выходит, моей голове ничем не помочь?

Морис развел руками.

В бар пробрался щенок. Он был весь черный, а хвостик белый.

— Бездомный, — сказал Морис. — По вечерам он заглядывает сюда, чтобы поспать. Здесь он никому не мешает. Может, тебе?

— Что?

— Тебе он не помешает?

— Нисколько.

Щенок взобрался на один из стульев и, свернувшись калачиком, тут же уснул.

— Он спит совсем немного, а потом уходит.

— Куда?

— Кажется, у него никого нет...



— Выходит, нам по пути.
 — Так как, подать ром? — спросил Морис.
 — Три стаканчика.
 — Ты уверен?
 — Три!

После третьего стаканчика в бар вбежало огненное облачко и, накрыв собою Мориса и стойку, потянулось ко мне раскаленными столбиками щупальцев. Догадавшись, что мне предстоит сгореть или ослепнуть, я зажмурился.

— Подлечился? — убирая за мной пустые стаканчики, спросил Морис.
 — Какого черта? — отозвался я. — Пива бутылочку!

Морис пожал сиреневыми плечами. Его уши были теперь зелеными, а зубы — оранжевыми.

Пиво в бутылочке празднично пенилось, но пить его я не стал, потому что из пены вдруг вышла Афродита.

— К черту! — вырвалось из меня.

Мой выкрик разбудил щенка; жалобно проскулив, он бросился к выходу и, не оглядываясь, побежал вдоль улицы. Я кричал ему вослед:

— Эй, песик, подожди! Хоть ты-то меня не покидай!..

В это утро город раскачивался, напоминая неудачно изготовленную декорацию; улицы казались кривыми и желтыми, изумляя меня видом неестественно повисших в рыжем воздухе домов, а у луны было обморочное лицо.

Подумав о Юдит, я направился к слабо освещенной нише — там стоял ящик мороженого.

— Две штуки, — попросил я. — Пожалуйста, две.

Женщина улыбнулась, переспросила:

— Две?

— Давайте сюда! — Я, кажется, покраснел.

На углу улицы стояла старушка.

— Мадам, примите! — протянул я ей лишнее мороженое.

Отступив на шаг, старушка сказала:

— Мне не надо.

* * *

Белые клавиши... Черные клавиши...

Из нутра инструмента вырывались робкие вспышки воспоминаний...

Когда часы показывали 8:00, я брал с собой термос и выходил из дома. В кафе Нисима меня дожидался завтрак для Эстер.

Улицы Тель-Авива...

* * *

Когда-то я слонялся по Тель-Авиву в поисках Юдит.

Улица направо. Улица налево. Снова туда. Снова сюда...

Мимо проходили толпы людей, и я, отчаянно вглядываясь в эту толпу, громко выкрикивал имя Юдит до тех пор, пока мой язык не каменел, и тогда за дело принимались мои глаза, рисуя перед собой удивительные видения. «Юдит, приди!» — звали глаза. Но разве видения откликаются? Порой мне казалось, что от нелюбви Юдит я умираю, но... нет-нет, сдаваться я себе не позволял — такого не было! Только с видениями не справляясь: вместо одних возникали другие, не менее странные. И вновь, словно в бреду, я бормотал:

— Юдит, отзовись! Мою музыку исполняют на радио... Скажи, что ты ее слушаешь... Юдит, кажется, теперь я стал...

Но... Город казался пустым.

Говорят, надо смотреть правде в глаза. Я пытался. Я делал это. В результате — ничего, кроме боли.

«Неужели приближение к истине — в ощущении боли?» — думал я, и мне начинало казаться, будто на моем теле загорается кожа, и мое «я», от тела отторгнутое, сворачивается и отмирает. Мучительно лоя ртом воздух, я каменел, лишь толь-



ко успевая подумать о том, что, быть может, биография каждого из нас — это не что иное, как история подавления в самом себе боли.

Однажды вблизи от городского рынка я встретил мужчину в высоких резиновых сапогах. В руке он нес пластмассовое ведро.

— Рыбешек не желаешь? — Лицо мужчины напоминало жареный на костре кусок мяса.

Я не желал.

— Жаль мне тебя, — с грустью в голосе поговорил мужчина. — Коли не желаешь рыбешек, выходит, от жизни тебе желать больше нечего.

— Сократ!.. — усмехнулся я.

В услышанном слове мужчина, видимо, заподозрил подвох.

— Какой такой Сократ? — осторожно спросил он.

— В сапогах, — отозвался я. — В резиновых.

Мужчина поспешил пройти мимо.

«А если этот человек прав? — подумал я. — И все, что мне остается, — это безропотно дожидаться ухода в небытие, где нет места ни тоске, ни радости, ни тайным желаниям?»

* * *

— Мне нехорошо!.. — стонал в телефонную трубку Зив.

Мне тут же стало понятно, что он сочиняет стихи.

— Займись чем-то другим, — посоветовал я.

Зив обещал, но через два часа позвонил снова.

— Кое-какой текст получился... Заглянуть к тебе позволишь?

Я позволил.

Прошло более часа. Зив не появлялся. Тогда трубку поднял я.

— Ты сказал, что идешь.

— Я приходил, только перед твоей дверью наткнулся на огромного белого пса. Он не спускал с меня глаз.

— А ты что?

— У меня разболелся живот.

— И что тогда?

— Я выскочил на улицу. Знаешь, на улице я себя почувствовал так, будто себя потерял, и мне пришла в голову мысль, что, может быть, я себя потерял из-за отсутствия во мне некоего необходимого гена. Как ты думаешь, я прав?

— Думаю, что так оно и есть. Возможно, это тот самый ген, которого нам всем не хватает, — сказал я и опустил трубку.

Пройдя по коридору, я выглянул за дверь. На лестничной клетке лежал Цицерон.

Я поздоровался. В ответ пес с облегчением вздохнул и поднялся.

— Давай! — Я протянул ладонь.

Из приоткрывшейся пасти животного выпал конверт. Раскрыв конверт, я достал из него лист бумаги и прочел: «Пока вы придумывали себе тоску, а потом о ней позабыли, я свою в полный рост вырастила. В Тель-Авив я прилетела по торговым делам фирмы сына и остановилась у сестры моего покойного мужа. В этом доме удивительно умный пес Цицерон, с которым мы легко подружились; он замечательно догадлив и обожает, когда с ним беседуют. Мне даже думается, что он знает и обо мне, и о вас все, то есть даже такое, о чем вы, я надеюсь, догадаться никогда не сможете. Цицерону можете смело довериться; мне он обещал, что постарается довериться вам. В квартире есть компьютер, и если вздумаете пообщаться... Надеюсь, Господь меня поймет...»

Подписи не было.

Я вновь перечитал письмо и подумал, что... Господи, прости! Мне стало стыдно того, о чем я подумал, и утешился лишь тем, что мои мысли Цицерон мог и не разгадать.

— Иди! — очень вежливо попросил я животное.

Цицерон сбежал по лестнице.

Я вернулся в комнату и опустился в кресло. В памяти всплыла где-то прочитанная фраза: «Огонь в костре погас, и ни к чему разгребать охлажденную золу».



Из книжного шкафа глянула на меня фотография отца.

— Если напоминаешь мне о милосердии, — отозвался я на взгляд отца, — то я помню...

Телефон.

— Чем-то занят? — спросила дочка.

— Прислушиваюсь к своему дыханию.

— Зачем?

— Любопытная музыка.

— Папа?

— Что?

— Нет, ничего.

Вспомнилось, как, уходя из этого мира, отец мне сказал, что самое трудное в жизни — это оставаться мужчиной.

Мне захотелось сказать дочери, чтобы она оставалась женщиной.

— Дочка, — сказал я.

— Что?

— Нет, ничего.

* * *

Позвонил поэт Зив.

— Никогда мне не нужна женщина так, как в эти дни. Как быть?

— Придется подождать, — сказал я.

— Чего? — не понял Зив.

— Подожди, пока наступят другие дни...

* * *

Лето, осень, зима, весна — Юдит не возвращалась. От улиц Тель-Авива по-прежнему веяло тоской, а от вечерних зданий отражался недовольный свет. Если верить Монтеню, то стоит человеку увидеть весну, лето, осень, зиму, как ему это покажется вполне достаточным, чтобы поверить в то, что он повидал все и что ничего нового ему больше не покажут. Но кто Монтеню поверит?

Порой мне казалось, что моя жизнь вот-вот лопнет, и, не доверяя ночам, я боялся уснуть, карауля свою жизнь. Мой караул звучал в унылом фа-миноре.

Однажды я не сдержался. Я надавил на дверной звонок того дома, и передо мной выросла пухленькая женщина со скользящими глазками.

— Мне бы поговорить с Юдит, — произнес я подчеркнуто-безразличным тоном.

Женщина смотрел на меня так, словно видела перед собой утопленника.

— Юдит улетела, — услышал я.

— Как — улетела?

— По небу. В Африку. Вроде бы в Южную Африку. С тем парнем, у которого на улице Шенкин большая бухгалтерская контора. Неотразимый молодой человек, умница. Знал, чем девушку осчастливить... Он одаривал Юдит обувью.

— Обувью? — растерялся я.

— Десятками пар.

— Ну и...

— Что — ну и?

— Осчастливил?

— А ты как думаешь?

Я развел руками.

Женщина приблизила ко мне лицо. Казалось, она собирается обнюхать меня, но она всего лишь поинтересовалась:

— Ты ненормальный?

— Не знаю, — ответил я.

— Почему не знаешь?

— Не знаю.



— Ты не в своем уме! — Женщина торжествующе повела плечами, и под ее халатиком всколыхнулись необъятные, широко расставленные груди. — Уж поверь мне: молодой девушке жить, имея туфли, и жить, туфли не имея — не одно и то же.

Мне стало жаль себя и, спускаясь по лестнице, я принялся думать о том, как мне быть теперь и как мне быть потом. Вспомнился ужасно смешной анекдот: «Одиноким молодой человек спросил: “Девушка, а что вы делаете сегодня вечером?” — “Замуж выхожу!” — ответила девушка. — “Вот как? А потом?”»

Больше я не смеялся, а стонал от боли и бессилия. В голове вертелась обворожительная фраза из Генри Миллера: «Мы должны быть благодарны тем, кто ударяет нас ножом в спину».

— Господи, верни Юдит из проклятой Африки ко мне! — просил я.

И еще:

— Господи, не лишай меня разума!

И еще подумал: «А если Юдит все же вернется, сколько пар туфель смогу для нее купить?» И понял: для того, чтобы не погибнуть, у меня остается одна-единственная возможность: придумать себе достойный *artificatum*, *заменитель* любви, и тут же в эту ложь поверить.

* * *

Сознание покинуло архитектора Дова Зейлера на рассвете, а в полдень возле его могилы толпилось человек двадцать. То, что осталось от Дова, увернули в белую простыню и опустили в глубокую темень. Я подумал о том, что эта ночь для Дова никогда не кончится и что ему не хватило жизни для того, чтобы выиграть конкурс, получить приз...

Возле меня кто-то прочел молитву «Бог дал, Бог взял». Я повернул голову. Читал господин Бах, председатель конкурсной комиссии городских архитекторов. У него дрожал голос. Верующие люди могут ошибаться и даже делать что-то нехорошее, зато они, не в пример другим, умеют горячо молиться и хорошо каяться. А потом, когда все разошлись и над кладбищем повисла яростная тишина, Нисим тронул мое плечо.

— Память сохранит, — сказал Нисим.

Я согласно кивнул, припомнив историю с умершим в Париже Шопеном, когда польские патриоты, решив сохранить память о своем национальном достоянии, вынули из выпотрошенного тела композитора сердце и поместили его в одном из костелов Польши.

— У каждой памяти свои зарубки, — отозвался я.

Задержав на мне пыливый взгляд, Нисим спросил:

— Помнишь, как однажды Дов...

— Помню...

* * *

В тот день я сидел в кафе, когда появился Дов. Нисим предложил сыграть партию в шахматы, но Дов покачал головой и опустил глаза.

— Мой кот Барсик умер, — сказал он. — Когда взошло солнце, я решил искупать Барсика, а он взял и умер...

Иногда Дов брал кота с собой в кафе Нисима. Барсику нравилось смотреть, как Дов и Нисим играют в шахматы.

— Не верь! — сказал Нисим. — Может, Барсик ушел не весь? Говорят, что умирает всего лишь тело, а душа продолжает жить дальше...

— Глупости это, — сказал Дов. — У Барсика были усы, лапы, хвост, а души не было. У котиков не бывает.

— Может, перед тем, как... Барсик какой-то знак подал?

— Я был занят своими чертежами, а Барсик лежал на столе и смотрел, как я работаю. И вдруг он умер...

— Не верь! — повторил Нисим. — Другого выхода у тебя нет. Вбей себе в голову, что другого выхода нет. Когда загорелся мой танк, и нас, раненых, забрал в Хайфу вертолет, я не поверил, что мой танк совсем уж до конца погиб. Я лежал в госпитале и не верил. И сейчас не верю. Говорю себе: «Мой танк стоит там, в поле.

Просто вокруг моего танка высокая трава выросла, и он теперь не заметен. Нет, весь погибнуть мой танк не мог...»

— Но ведь Барсик...

— Не верь!

— Не верить?

— Нет!

И вдруг Дов взглянул на часы и сорвался с места.

— Куда?! — испугались мы.

— Пойду я, — сказал Дов. — Время кормить Барсика...

* * *

Над кладбищем сверкало солнце, и пролетевшая птица вроде бы хохотнула. Я посмотрел на небо и подумал: «Как может птица веселиться здесь, и как может здесь так бессовестно сверкать солнце?»

— Что? — спросил Нисим, перехватив мой взгляд.

— Солнце горит, словно шапка на воре! — возмутился я.

Нисим задумчиво поскреб небритый подбородок.

— Скоро и за нами придут, — сказал он. — Обойти эту территорию никаким маневром не получится...

Я укоризненно покачал головой:

— Эй, полковник!

На верхней губе Нисима выступили капельки пота.

— Не могу взять себе в толк, отчего, когда начинаешь привязываться к жизни, она вдруг от тебя ускользает...

— А ты в это не верь. Изю всех сил прикинься слегка глухим, слегка незрячим...

Нисим устало улыбнулся.

— А ты что — себя обманываешь? — спросил он.

— Стараюсь.

— Получается?

— А ты как думаешь?

— Дзадзен... — прошептал Нисим.

— Что?

— Перед предстоящим боем наш дивизионный инструктор советовал заниматься упражнениями дзадзен. Он считал, что упражнения дзадзен помогают бойцам избавиться от лишних мыслей и позволяют удержать голову в полной пустоте.

— И что же, — спросил я, — дзадзен вам помогал облегчить голову?

Нисим судорожно вздохнул и, сплюнув себе под ноги, направился к воротам.

Я подумал о Дове: «Он ушел из этой жизни». Потом подумал о Юдит: «Она ушла из моей жизни». Во рту я ощутил вкус горечи.

Постояв еще немного над могилой Дова, я повернул к сектору «И—К».

Там, пробираясь по узким, тесным тропинкам между могилами, я подумал о том, что мои родители с каждым годом все более и более мертвеют. Вдруг вспомнился знакомый скрипач, который после того, как похоронил своего брата, никогда больше на кладбище не приходил. Ни разу. «То, — считал он, — что опустили в землю, можно называть чем угодно, но только не моим братом».

В секторе «И—К» могила моей мамы. Я зажег свечу и попросил:

— Отомри, мама!

В секторе «Л—М» могила моего отца. Поставив свечу, я сказал:

— Отец, я помню!

В траве за оградой кладбища лежала молодая пара. Кажется, они занимались чем-то большим, чем мне показалось сначала.

«На здоровье, — подумал я. — И все же... как они могут чувствовать себя тут, да еще так — прямо под взором Создателя? Впрочем, возможно, на минутку-другую Его что-то отвлекло, и на эту пару Он сейчас не смотрит...»

Отвернулся и я.



* * *

Однажды трое молодых мужчин привели в дом престарелых пожилую рыхлую женщину.

— Мы сильно заняты, — объяснили они доктору, — а за мамой нужен уход.

— Нужен, — подтвердил доктор, и молодые мужчины женщину оставили.

На третий день женщина, некрасиво покачивая немощным телом, направилась ко мне. Казалось, ее кости вот-вот развалятся.

— Корман? — улыбнулась она.

Я насторожился: лицо незнакомое, а вот голос...

— Который сейчас год? — спросила женщина.

— Две тысячи десятый.

Женщина задумалась.

— Подожди-ка... — попросила она.

Я подождал.

Наконец она проговорила:

— Прошло тридцать семь лет. Не припоминаешь?

Я припомнил...

* * *

Нашу группу направили в Бирд-Маде, где был расположен штаб десантной дивизии полковника Дана Шомрона. Поместив нас в каменный бункер, предложили немного отдохнуть. Время терпело. Мы разбрелись по углам. Я прилег возле двух братьев-близнецов. Из входа в бункер просматривалась пустыня, в песках которой были разбросаны искореженные стволы наших пушек, гусеницы танков, горка касок, обгорелых фляг.

«До египтян метров двести», — заметил один из братьев, и в тот же миг командира взвода отдал приказ: «Всем прикрепить штыки!»

Меня тряхнуло.

«Ты, музыкант, не писай! Если что, мы прикроем!...» — прокричал другой брат, и я почувствовал на своем плече руку моей мамы.

— Корман, просыпайся! — Надо мной склонилась наша молоденькая певица. — Приходил связной из штаба дивизии. Полковник просит музыкантов к себе.

— Думаешь, мы победим? — спросил я у певицы.

— Придется, — сказала она. — Если не хотим, чтобы в стране умолкла музыка...

* * *

— Рина? — Я бережно обнял пожилую женщину.

— Зина! — отозвалась она и наклонила голову. Ее глаза смотрели сухо и укоризненно. — Когда-то мы были на «ты».

Я кивнул и сказал:

— Конечно, ты — та самая Зина, что на военной базе в Рафидиме замечательно пела.

— Это тогда... — глаза женщины стали влажными. — Все это было тогда...

— Я помню.

Из глубины тех дней передо мной возник тот...

* * *

В тот день я был занят своим новым сочинением, когда в комнату вошла Эстер и, протянув листок бумаги, посмотрела на меня незнакомым, испытующим взглядом. Бледность на лице жены пугала.

— Что это? — спросил я.

— Просят... — сказала Эстер.

В тот Судный день синагоги были переполнены, и люди молились особенно усердно. Оно и понятно: если от десятка лживых слов, высказанных за год, еще как-то спастись можно, то в праведный день...

Хотя артистов, поэтов и композиторов явиться всего лишь *попросили*, нам хотелось думать, что нас мобилизовали. Мы разъехалась по фронтам.



И тогда — я увидел, как в Синайской пустыне подбирали тела первых погибших. И тогда — я увидел, как на Голанских высотах горели наши танки. И тогда — к кладбищам страны потянулись вереницы гробов. И тогда — я подумал, что парни, которых теперь укладывали в землю, со временем прорастут в цветы и что потом, когда-нибудь, другие парни, составляя из этих цветов букеты, будут их дарить своим девушкам. И тогда — я услышал, как пожилая кассирша из большого магазина причитала: «Если бы молодые люди отдавались больше любви, этого бы не случилось...»

А потом я догадался: в тех парнях жизнь убили не навсегда...

* * *

— Помню, — повторил я.

Зина радостно улыбнулась, но торопливо губы сомкнула, пытаясь скрыть от меня беззубый рот.

— Конечно, ты помнишь! — проговорила Зина. — Можно отмахнуться от жизни, но не от юности и любви. В этом мире все ходит кругами... Вот и мы встали на новый круг. Очередной...

«Господи, о чем это она теперь?» — подумал я, вспомнив, как архитектор Дов Зейлер часто повторял: «Пожилые люди опасны своей непредсказуемостью».

Зина опустила на пол.

Подошел доктор и сделал укол.

* * *

Память глаз и ушей перехватили пальцы, и те забегали по клавишам.

Пассаж... Аккорд...

Моя баллада пыталась рассказать о том дне, когда тель-авивское небо внезапно покрылось зеленоватой слизью туч, и все вокруг потемнело. Утратив дневной свет, город погрузился в густую, усталую ночь. Длинная белая тропа пролегла по небу, расколола его, и, после минутной паузы, за горизонтом раздался оглушительный раскат грома. На верхушки пальм упала капля, за ней — другая, а потом тучи, будто лишившись терпения, широко раздвинулись, позволив обрушиться потоку отчаянного ливня. Подняв оглушительный крик, над городом заматались потревоженные птицы. Крыши автомобилей покрылись затейливыми узорами влаги, а по оконным стеклам, кокетливо извиваясь, потекли дождевые ручейки. Люди, старательно прикрывая головы портфелями, канцелярскими папками или просто руками, жались к стенам зданий. Зеленые, красные огни светофоров отражались в мутной поверхности мостовой. Хмурая брови и мелко перебирая ножками, немолодая женщина тщетно пыталась обойти лужу.

Я забежал под оранжевый козырек какого-то бара. Девушке пришлось потесниться. К нам шагнул полный мужчина, но, сообразив, что втроем под козырьком не уместится, поежился, выдохнул из себя клубок пара и, подняв воротник пиджака, прошел дальше.

— Какой коварный дождь, — заговорил я.

— В этом городе все так, — отозвалась девушка. Ее лицо раскачивалось в зыбких потоках воздуха, а неумело положенная краска придавала ее глазам выражение грусти. Под тонкой блузкой напряглись затвердевшие от прохлады соски.

— Прочный дуб, — сказал я, кивнув на дверь бара. — За такой дверью должно быть светло и сухо.

Лицо девушки сморщилось, словно от боли.

— Если не возражаешь, мы можем...

Девушка не возражала.

— Что пьем? — спросил бармен. У него были седые усы и пухлые губы.

— Мы подумаем, — отозвался я.

Девушка подняла на меня глаза. Ее взгляд вобрал в себя отражение встревоженного зверька, обманутого ребенка и упавшей со стула старушки.

— Бармен ждет, — шепнул я. — Что будешь пить?

— Не знаю. А ты?

— Пожалуй, рюмку водки. В такую погоду лучше всего глотнуть немного водки.



— От водки моим ногам бывает нехорошо.

— Опухают?

— Раздвигаются.

Юмор я оценил. Похлопал в ладоши.

Вдруг девушка заплакала. Я достал из стаканчика бумажную салфетку, попросил не плакать. Девушка послушно утерла слезы.

Бармен поставил диск. Элла Фицджеральд запела «Lady, Be Good».

Я посмотрел на девушку. «Парализованное», — подумал я о ее лице, но спрашивать, отчего оно такое, не стал, зная, что у людей достаточно причин оставаться с окаменевшими чувствами и парализованными лицами.

За окном летал дождь. «Природа в истерике...» Мне в голову пришла мысль, что полет дождевых капель можно передать через скрипичное пиццикато, раскаты грома через взрывные удары большого барабана, а злобные вспышки молний — через...

— Надеюсь, ты чем-то занимаешься? — спросила девушка.

— А как же!

— Чем-то серьезным?

— Ну да. Разбираюсь с хламом в моей голове.

— А-а, — сказала девушка и посмотрела на меня так, как смотрят на пустое место.

И тогда я, для того чтобы девушка не смотрела на меня так, сообщил:

— Зато я знаю, кто автор книги «Гаргантюа и Пантагрюэль».

У девушки вздрогнули ресницы.

Я продолжил:

— А еще знаю, что Никола Тесла — сумасшедший гений, а Марк Шагал родом из Витебска, а шаровая молния...

— Вот как?.. — повела плечами девушка.

Я освобождено вздохнул, решив, что наступило время закрепить за собой успех.

— Знаю, — оживленно заметил я, — много забавного из личных отношений знаменитых мужчин и женщин.

— Правда? — вяло проговорила девушка.

— Хотите об Альфреде де Мюссе и Жорж Санд?.. Прошу! Об Иване Тургеневе и Полине Виардо?.. Пожалуйста! О Скотте Фицджеральде и его жене Зельде?.. Позвольте!

Девушка замерла в ожидании.

«Вот он — триумф!» — догадался я и, чтобы дать возможность поверженной девушке прийти в себя, выдержал небольшую паузу.

В бар вошли два погруженных в себя парня. Пройдя к стойке, они залпом выпили по стаканчику зеленого ликера и, поправив на шеях серебряные крестики, отправились обратно — туда, где дождь.

Бармен улыбнулся нам, сказав:

— Одни доставляют радость своим появлением, другие — своим исчезновением.

Мы улыбнулись в ответ.

— Хотите знать, чем отличаются иудеи от христиан?

Мы хотели.

— Одни свинину не кушают, а другие — да, — пояснил бармен и помолчал, ожидая нашей реакции.

Мы не реагировали.

Бармен продолжил:

— А хотите знать, что их объединяет?

Мы снова хотели.

— И те и другие кушают друг друга.

Мы молчали.

— Забавно, да? — погладив усы, спросил бармен.

Мы пожали плечами.

— Эти парни заходили и вчера тоже. Сказали, что Израиль воспринимался бы гораздо лучше, не будь в нем израильтян.



— Пожалуй, и мне немного водки, — проговорила девушка.
 Я одобрительно кивнул, заметив, что в Тель-Авиве немного водки никому не помешает.
 Мы стали пить водку из одной, но очень высокой рюмки. Глоток я, глоток — девушка. Девушка сказала, что ее зовут Эстер.
 — Что за история у тебя? — спросил я.
 Посмотрев на запотевшие окна, Эстер сказала:
 — Можно не говорить?
 Мы принялись слушать Эллу Фицджеральд. Кажется, она старалась вовсю.
 — Мне всегда казалось, — не выдержал я, — что хорошая музыка располагает к общению.
 Эстер отпила глоток, потом вновь посмотрела на окно.
 — У меня был брат, и теперь его нет, — проговорила Эстер. — Ты можешь понять такое?
 — Такое — да. Недавно умер мой отец.
 — Мой брат жив.
 — Жив? Но ты сказала, что его нет...
 Эстер взяла мою руку.
 — У тебя красивые пальцы.
 Я решил, что у этой девушки не только глаза, но и губы потрясающе хороши.
 Я кивнул на нашу рюмку:
 — Глотнешь еще?
 Эстер глотнула еще.
 — Тебе уже лучше?
 — Да, гораздо лучше. Ты женат?
 — Вдовец, — сказал я.
 — Понимаю. Жена умерла...
 Я тоже глотнул из рюмки.
 — Ни черта она не умерла... Это я умер.
 Эстер рассмеялась:
 — Выходит, что ты покойник?
 — Нет, я не совсем покойник, но так выходит.
 — Понимаю... — Эстер посмотрела на дверь бара, потом снова на меня.
 — Что?
 — Бывает же такое — на улице страшный ливень, и вдруг на твоем пути встает надежная дверь...
 «И шея у нее тоже хороша», — подумал я и спросил:
 — В любви ты что-нибудь смыслишь?
 Эстер пожала плечами.
 — А ты?
 — Теперь уже не знаю. Это плохо, да?
 Мы немного помолчали.
 На бумажной салфетке я записал номер своего телефона.
 — Зачем? — сдавленно проговорила Эстер.
 Салфетку я смял и спросил, нравится ли ей получать в подарок туфли.
 — Туфли?
 — Да, дюжины туфель. Туфли, туфли, туфли, туфли...
 Эстер затрясла головой.
 Я подумал, что в любви эта девушка точно ничего не смыслит.
 Элла Фицджеральд замолкла.
 Я заглянул в рюмку. Она была пуста.
 — Ты напоминаешь человека, которого только что из воды вытащили, — сказала Эстер.
 «Так, наверно, и есть», — подумал я и вдруг почувствовал, как во мне что-то освободилось.
 — Эстер! — позвал я.
 — Что?
 — Тебе кто-нибудь дарил туфли?



— Туфли? Нет, а что?

— Правда — нет?

— Правда.

— Никто?

— Нет. Не понимаю, чего ты пристал с туфлями?

Под влажной блузкой Эстер выступали еще не утратившие своей твердости соски.

Я подумал: «Слава богу, счастья эта девушка еще не испытала».

Вспомнился вечер, когда...

* * *

В тот вечер, после выступления со студенческим оркестром академии, я решил заглянуть в ближайшее кафе и за кружкой пива отпраздновать мой успех.

— Я знаю, что вы музыкант, — сказал сидевший за соседним столиком пожилой мужчина.

Я кивнул.

— Там, в углу, пианино, — продолжил он.

Я взглянул на пианино.

— Не откажете, если я попрошу вас исполнить что-нибудь из «Бабочек» Шумана? Сегодня ровно восемь лет, как...

Я не стал расспрашивать о том, что случилось восемь лет назад. Я сел за пианино...

* * *

— О чем ты задумался? — спросила Эстер.

Я прошептал:

— У тебя не найдется желания доставить человеку немного счастья, зная, что это в твоих силах?

— Если только в моих силах...

— В таком случае не откажись пойти со мной в клуб «Хорошая музыка». Буду играть Шумана. Если хочешь, для тебя одной.

Ресницы Эстер взметнулись.

— Ты?

— Я.

Губы девушки проговорили:

— Для меня одной?

— Думаю, Шуман мне позволит.

— Тогда чего же мы ждем?

— Действительно — чего?

Когда мы вышли из бара, дождь почти прекратился.

Я выставил ладонь, сказал:

— А ведь был ужасный ливень...

— Был, — отозвалась Эстер.

Я смотрел на эту девушку и думал: «Я нашел тебя, и со времен Колумба более значительного открытия мир еще не знал».

— Дождь был — и вдруг его нет... Кажется, человеческие чувства способны влиять на погоду.

— Чувства? — Эстер взглянула на небо и взяла меня под руку.

На улице Алленби мы заглянули в лоток букиниста и полистали несколько книжек.

— У писателей склонность присваивать себе чужие чувства, — сказал я.

— А у музыкантов?

Я ощутил желание взлететь с этой девушкой в небо и парить в нем, как Он и Она на картинах Шагала. Наклонившись к ладоням девушки, я подышал на них. Потом сказал:

— Твоя рука — как подаренная Тесею нить Ариадны.



* * *

Зал в клубе «Хорошая музыка» был заполнен лишь наполовину, но какое это имело значение, если я играл для одной Эстер. А потом...

Мы бродили по Тель-Авиву до полуночи, и впервые за долгое время я почувствовал, как во мне разливается тепло.

— Хорошо! — сказал я.

— Хорошо! — отозвалась Эстер.

В одном из окон трехэтажного дома горел свет.

— Там моя комната, — сказала Эстер. — На трех девочек одна комната. Один на всех чайник. Один на всех холодильник. Одна на всех газовая плита.

— Один на всех шкаф для одежды, — вставил я.

— Как ты догадался? — удивилась Эстер.

Я пояснил:

— На меня сошло озарение.

— Спасибо за вечер! — сказала Эстер.

Вдруг я ощутил озноб при мысли, что в мире отыскалась сила, которая выгнать меня из моего бессмыслия и мучительной боли.

— Спасибо тебе!

— Спокойной ночи!

— Спокойной ночи!

Я не двигался с места.

— Мы увидимся еще? — спросил я.

Девушка погрузила свое лицо в мои ладони.

Прошли минуты. Прошло множество секунд.

Время...

Я обнаружил, что время обрело другое измерение.

Подняв голову, Эстер посмотрела на меня так, как смотрят на экран кинотеатра, пытаясь угадать, что произойдет дальше.

— Звони! — проговорила она, протянув руку.

— Конечно! — Я понял, что эту руку отпускать не хочу.

— Спокойной ночи! — сказала Эстер.

— Спокойной ночи!

По дороге домой я с пониманием прислушивался к воплям обезумевших от страсти котов.

Я вошел в телефонную будку.

— Спокойной ночи!

— Спокойной ночи! — отозвалась Эстер.

Улегся дождь, и в небе выглянули звезды. Проходя мимо прижавшихся к тротуару усталых машин, я сгребал с капотов дождевые капли.

В лужах отражались ночные огоньки.

* * *

Баллада.

Allegro... Legato...

Не та звонкость. Не та нежность. Не то... Не так...

Беспомощные звуки, будто покрывшись ледяной коркой, отдавали холодом.

Телефон.

Молчание.

— Кто?

Молчание.

— Ты?

Молчание.

Опустив трубку, я послушал комнату. Она отозвалась тоской и унынием.

Пассаж — качнулась беспокойная мысль.

Аккорд — в груди шевельнулось что-то зыбкое.

Я понял, что оказался в плену; не понял — в плену у кого...

Освободив клавиши, объявил перерыв, подошел к окну.



Вдруг почудилось — стучат в дверь. Вдруг подумалось — точно так же, как тогда...

* * *

Тогда на пороге стояла Эстер.

— Ты играл «Бабочек» Шумана для одной меня? — спросила она.

— Только для тебя!

— Мне сильно понравилось.

— Ты пришла сказать об этом?

— Да. То есть, нет — не только об этом. В тот вечер в клубе... Твои пальцы...

Мне подумалось, что ты тот мужчина, которому я могла бы довериться, а потом, когда мы несколько дней не виделись, мне стало казаться, что повсюду, где не ты, безрадостно и уныло. Я купила диск фортепианных пьес Шумана и, оставалась в комнате одна, слушала это чудо и теряла себя от счастья.

— Буду играть для тебя всегда, — сказал я. — Если будешь рядом со мной, то...

— Я здесь...

Это было то мгновение, когда я окончательно почувствовал, что эта девушка стала неотъемлемым условием моей жизни.

— Можно я посижу вот в том кресле и послушаю, как ты играешь?

Я играл несколько часов подряд.

— Я здесь, — сказала ночью Эстер.

— Буду нежен, — обещал я.

Предугадывая мои самые сокровенные желания, Эстер целовала мое все. Я был ошеломлен щедростью ее губ, и мы учились отдавать друг другу силы честно, на все сто.

— Называй меня Галатея, — просила Эстер. — Обрати меня в женщину, какую хотел бы видеть ты.

— Но я не Пигмалион, и сказка Овидия вроде бы не про нас...

— Милый, ты прав: я вовсе не из слоновой кости, хотя... изваяв не Галатею, а свою Эстер, ты сумел оживить меня. Надеюсь, навсегда...

Была уже не ночь, но еще и не день. Эстер улыбалась мне, и я целовал ее улыбку. Обессиленные, мы продолжали друг друга трогать, а потом Эстер повернулась на бок и уснула.

Я любовался ее обнаженной спиной, прислушивался к ее дыханию, и мучила ревнивая мысль: «В эти минуты Эстер всецело отдалась власти Морфея».

Я закрыл глаза. В раскрытое окно пробивался уличный шум.

Эстер проснулась так же внезапно, как и уснула. Повернув ко мне голову, она нежно улыбнулась.

— Теперь мы части друг друга, — сказала она.

— *Части* — слово неудачное, — отозвался я. — Ухо режет.

— Зато они наши, да?

— Если *наши*, то...

— Милый, состоялось приятие наших жизней.

— *Приятие* — слово гораздо удачнее...

Я гладил волосы Эстер и жмурился, испытывая состояние благодущия и покоя.

— Ты никогда не рассказываешь о своих родителях, — сказал я. — Почему?

Эстер растерянно улыбнулась.

— Я не знаю, что сказать...

— Такого быть не может.

— У меня — может... Я без родителей. Иногда мне кажется, что их у меня никогда не было. Ни у меня, ни у моего брата. Мы были совсем младенцами, когда нас вынесли из гетто Вильно в деревню возле небольшого озера. Женщину звали Ядвига. А когда закончилась война, по Литве разъезжала седовласая женщина с большими черными глазами. Она раздавала еврейским сиротам книжки с цветными картинками. Мне было два годика, а моему брату — четыре. Позже, оказавшись в Палестине, я узнала, что те книжки были написаны на английском...

Просочившись сквозь окно, луч утреннего солнца осветил оставленные на спинке стула колготки, и я, мысленно поздравив комнату с обновленным интере-



ром, подумал о моем профессоре, который говорил: «Играя Гайдна, необходимо стать немножечко Гайдном, а играя Скрябина — на какое-то время Скрябиным; а когда играешь...»

Эстер спросила, о чем я думаю.

Я поднялся с кровати.

— Попытаюсь превратиться чуть-чуть в Шопена, и тогда ты услышишь, о чем я думаю.

— Разве Шопен знает, о чем думаешь ты?

— Кто, если не он...

В то утро ни Шопен меня, ни я его не подвели. Во всяком случае, я очень старался вызвать Шопена на доверительный тон; вернувшись в кровать, я принялся вслух рисовать картину нашего с Эстер утра лет через тридцать.

Эстер села в кровати и сказала:

— Хочу, чтобы это утро осталось навсегда.

— Оно останется.

— Навсегда?

— Конечно!

— Нестерпимо хочется поверить.

— Поверь!

— А ты? Ты веришь?

Я кивнул.

— Глупый, — грустно улыбнулась Эстер. — Разве бывает что-то навсегда?

— Надеюсь...

Руки Эстер заматались на моих плечах.

Обессиленные, влажные от пота мы выкрикивали какие-то странные слова, а отдышавшись, гадали, кем мы стали друг для друга теперь и кем станем друг для друга потом.

Из кухни я принес пачку кефира. Глоток — Эстер, глоток — я.

— Твои глаза останутся? — спросила Эстер.

— И зимой, и летом.

— А твои пальцы?

— И весной, и осенью.

— Мы будем счастливы?

— У нас другого выхода не будет! Господи, еще совсем недавно я метался по Тель-Авиву, не зная, как справиться с чувством бессилия, страха и жалости к себе, и все, на что меня хватало, это закрываться у себя в комнате и, страшась потерять в себе мужчину, до изнеможения вести бессмысленные «бои с тенью»!.. И вот, повстречав тебя, я с удивлением обнаружил, что в знаменитый закон о свободном падении тела вкралась досадная ошибка. Наука была посрамлена, и теперь учебник физики придется переписать, вставив в соответствующую главу следующее существенное дополнение: «Однако следует отметить, что тела, придя в состояние влюбленности, свое падение приостанавливают».

Я смотрел на Эстер и вдруг почувствовал, что прежний мир, который всецело состоял из Юдит, больше не существует, что от моей прежней раны остался рубец, пусть пока еще заметный, но без нервных окончаний. Один мир за мною сомкнулся, другой мир предо мною открылся.

С моих губ сорвалось:

— Ты меня здорово выручила!

Эстер не поняла.

— Ты мне послана небом!

Эстер рассмеялась:

— А я-то думала, что Красным Крестом, матерью Терезой, отделом по оказанию помощи особо озабоченным юношам, а еще — добровольцами из общества по уходу за редкими особями...

— Да, но...

— Ничего не говори! — просила Эстер.

Мы вернулись к молчаливой беседе рук. Кажется, тогда я впервые узнал, что отдаваться — это на самом деле брать...



Вдруг Эстер пожаловалась:

— Я голодна.

— Что же теперь будет? — озаботился я создавшейся непривычной для меня ситуацией.

Рассмеялись мы одновременно...

* * *

«Перерыв окончен!» — объявил я себе.

Аккорд... Пассаж...

Надо бы больше *cantabile*. Больше...

* * *

Когда родилась удивительно похожая на меня девочка, я окончательно укрепился в мысли, что проделал все как следует. Юдит я не забывал, но вскоре обнаружил, что от прошлых чувств почти полностью освободился, и это вновь обретенное состояние вызывало во мне одновременно и бодрость, и смущение. Память о тех днях, неделях, месяцах, когда я ощущал себя отверженным, теперь теряла свою яркость, и с каждым новым днем я все острее чувствовал, насколько необходим появившимся в моей жизни двум женщинам. Улицы города, которые прежде казались мне сосредоточением мучительных видений, теперь превратились в места моих радостных прогулок с Эстер и малышкой. Эстер училась быть матерью, а моим любимым занятием стало целование крохотных багровых ручек, которые с яростным восторгом теребили мои волосы, нос, уши.

«Как легко и просто человеку удастся освободиться от своей боли», — думал я.

Один день толкал другой. Дочка подрастала. Днем мы с Эстер щедро обменивались исповедальными разговорами, теплыми взглядами, а перед сном — пылкой нежностью. С нами были музыка, книги, кинотеатр «Офир». Мы жили.

Как-то, проснувшись среди ночи, я недоуменно заглянул в темное пространство комнаты.

— Где мы? — спросил я.

— В раю, — ответила Эстер.

Разумеется, я знал, что всему есть предел, что как бы дерево не тянулось к небу, ему все равно не дотянуться. И все же в ту ночь я подумал, что ничего более яркого и значительного, чем пробуждение вдвоем с любимой, в моей жизни быть уже не может, и вновь уснул.

В том году солнце над Тель-Авивом сияло особенно весело.

* * *

Однажды я понял: все дело во времени. Оно, будто рукой, всех одинаково гладит и, словно палкой, всех одинаково наказывает. Теперь мои сочинения регулярно исполнялись на радио, в концертных залах, и недостатка в средствах на жизнь у нас не было; тем не менее работу доме престарелых я не оставил. С годами во мне все острее и мучительнее росла потребность приходить в этот дом, вглядываться в лица его людей, будто пытаюсь в этих лицах угадать свое будущее. Я охотно отзывался на приглашения доктора принять участие в каком-либо празднике или в дне, когда отмечалось столетие кого-то из постояльцев.

Старенький «Bechstein» давно отодвинули глубоко в угол, а его место занял электронный инструмент, на котором теперь работал студент музыкальной академии. Славный парень. Мы с любопытством разглядывали друг друга. Он, видимо, обо мне думал: «Что этот старец тут потерял?», а я гадал: «Надолго ли этого парня тут хватит?»

* * *

Проснувшись среди ночи, Эстер разбудила меня и незнакомым голосом сказала:

— Говори со мной!

Я включил торшер.

— Хочешь поговорить о брате?



— Да.
 — Из плена возвращаются, — убежденным голосом сказал я.
 — Прошло полвека...
 — Время существенно не всегда и не во всем.
 Эстер сбросила на пол одеяло.
 — Брат водил меня к морю, когда я была маленькой. Он хороший.
 — Возможно, твой брат еще вернется.
 Эстер сбросила подушку.
 — Жаль, — сказал я. — Жаль, что я не знал твоего брата.
 — Ты не виноват. Я думаю, что ты не виноват. Он умрет в сирийском плену?
 Я поднялся с кровати.
 — Заварю чай, — сказал я и вышел на кухню.
 За столом Эстер оживилась и даже запела одну из моих песен.
 — Иногда ты в порядке, — заметил я.
 — В порядке?
 — Да. Как сейчас.
 — Это как?
 Не ответив, я привлек жену к себе. Погладил волосы.
 — Я видела его! — вдруг вскрикнула Эстер.
 Я не спросил — кого.
 Эстер оторвала взгляд от окна и посмотрела на меня.
 — Пленных должны обменять, — сказал я.
 Эстер похлопала в ладоши, спросила:
 — На кого обменяют моего брата?
 — На кого — я не знаю.
 — А может случиться так, что моего брата не...
 — Такого не случится.
 — Даже если пойдет дождь?
 Я покачал головой.

Через несколько недель я увидел, как Эстер срывает со своих блузок пуговицы и беззвучно смеется.

После этого я два дня не брился, не смотрел на часы, не читал Белля, не слушал Шостаковича. Приятели спрашивали, почему на звонки не отвечаю. Им казалось, что у меня климакс.

Дочка сказала:

— Маму надо бы куда-то устроить.

Я промолчал. Спустился в магазин за цветными пуговицами.

* * *

Звонил доктор.

— Празднуем Хануку. Непременно приходите!

Я пришел.

Доктор произнес короткий, но вдохновенный монолог о наших предках в дни той легендарной Хануки, а затем из кухни в гостиную вкатили коляску с тарелками, доверху наполненными румяными пончиками и картофельными оладьями в масле.

Я, заняв место за роялем, стал наигрывать веселые вещицы.

Потухшие взгляды на стертых лицах постояльцев дома внезапно ожили. Запихивая себе в рот оладьи, они радостно вертели головами и громко пукали. В гостиной витал дух пира во время чумы, смерти во время жизни.

Во двор въехали два молодых человека на мотороллерах. Они привезли с собой ящики с творожными пирогами и яблоками в меде.

— Позвольте! — всполошился доктор. — Мы ничего подобного не заказывали...

— А вы не беспокойтесь, — сказали посыльные, — за все заплачено.

— И кто же это... — недоверчиво проворчал доктор, но молодые люди, молча опустив ящики на землю, развернулись и уехали.

Доктор позвал санитаров. Ящики отравились на кухню.



— Вы что-нибудь понимаете? — доктор привел меня к себе в кабинет и усадил в кресло.

Я пожал плечами.

Доктор прошелся по кабинету и вдруг остановил на мне долгий изучающий взгляд.

— Что, доктор? — Про себя я невольно отметил, насколько этот толстый лысый человек разительно изменился внешне по сравнению с тем далеким днем, когда я увидел его впервые.

Время, время...

— Видите ли, — он заговорил тихим, сдержанным голосом, — с недавних пор у этого дома появился какой-то загадочный благодетель.

— Вот как?

— Именно так! — в появившемся выражении лица доктора предугадывалась засада. В каждом глазе — по скрытой пушке.

— Вы меня пугаете, доктор, — сказал я.

Пушки из глаз доктора выпали.

— Наоборот, — пролепетал доктор, — это я побаиваюсь, как бы вы нас не покинули. Мне было бы жаль. Очень жаль.

— Не понимаю... — замялся я.

Вцепившись в мой рукав, доктор заговорил о благотворных лечебных свойствах моей музыки и о том, как я ужасно необходим несчастным людям этого дома.

— И что же? — насторожился я.

Доктор задумчиво посмотрел в сторону своего письменного стола, сказав:

— И уж тем более мне жаль теперь...

— А отчего *тем более*? — не понял я. — Отчего жаль?

Доктор загадочно улыбнулся.

Мне подумалось, что пушки в его глазах появятся вновь. Но нет.

Доктор сказал:

— Теперь у нас появилась возможность выплачивать вам дополнительную сумму.

— Вы шутите, доктор?

— Композитор Корман, кажется, вы приобретаете успех еще и за границей; во всяком случае, у вас там объявились богатые поклонники, а возможно, решили откликнуться ваши богатые родственники.

— Что вы, доктор, — пробормотал я, — за границей у меня не то что богатых, но даже бедных родственников нет...

Доктор озадаченно посмотрел на меня.

— А ваш канадский зять? Возможно, он и есть тот человек, который...

— Который — что?

Доктор развел руками.

— Мой канадский зять — не человек, — сказал я. — Но что за тайны?

Доктор постучал по дереву стола:

— Arcana Caelestia... Тайны небесные.

Я постучал по подлокотнику кресла, посчитав, что лишний раз постучать по дереву еще никому не повредило.

Доктор открыл ящичек письменного стола и достал из него какую-то бумажку.

— Вот, — перейдя на хриплый шепот, сказал он, — возьмите.

Это был стодолларовый чек на мое имя.

Я посмотрел на доктора и осторожно спросил:

— Хотите сказать, что ханукальные дни все еще сохраняют свою чудодейственную силу? Или тут снова бог замешан?

— На этот раз не бог, — сказал доктор. — Пару дней назад на денежный счет этого дома поступила достаточно приличная сумма. Даже очень приличная сумма. Человек предпочел себя не называть, однако особо оговорил условие, при котором в праздничные дни чек в сто долларов должен быть предназначен лично для вас, господин композитор.

В дверь кабинета постучали.



— Доктор, — санитар Рафаил махнул рукой в сторону двора, — там автомобиль!

Автомобиль был очень длинный и очень черный.

Распахнулась дверца, и на землю ступила пожилая дама с большим бирюзовым ожерельем на шее.

— С праздником, доктор, — сказала дама.

На губах доктора замерла напряженная улыбка, а в широко раскрывшихся глазах что-то пробудилось. Сдвинув брови, он растерянно проговорил:

— Так это вы?!..

— Так уж выходит... — сдавленно отозвалась дама и подошла ко мне.

— Так это вы? — сказал я в тон доктору.

Сохраняя каменное лицо, дама взяла меня под руку.

Кажется, я покраснел, а у доктора слегка приоткрылся рот. Бедняга просто не знал, куда девать себя от изумления; он смотрел на меня с таким выражением, будто мы давно не виделись. Я выдавил из себя виноватую улыбку.

— Ведите же меня в дом! — требовала дама.

Тщательно умытые и причесанные жильцы дома были рассажены на диванах в гостиной. Воздух стоял еще более удушливый и тяжелый, чем в обычные дни.

Оторвав взгляд от ожерелья госты, доктор умоляюще посмотрел на меня. Его губы потянулись к моему уху:

— Пожалуйста, помузицируйте! Гость у нас. Благодетель...

Кажется, готовый принять на себя всю полноту ответственности за этот мир, я подошел к роялю и объявил:

— До-мажорная сонатина Клементи.

Госты опустила голову.

Тело доктора вздрогнуло, а в его глазах, охваченных приступом недоумения, я прочел: «Маэстро, сегодня мы празднуем Хануку, а вы тут с этим Клементи...»

Я виновато улыбнулся, прикрыл крышку рояля, а госты, торопливо попрощавшись с присутствующими, вновь взяла меня под руку, и мы направилась к стоящему во дворе черному автомобилю.

Я спросил:

— Как вам наше веселье? Понравилось?

— Да, — вполголоса проговорила женщина, — веселый кошмар.

Я обернулся на доктора. Тот растерянно глядел нам вслед. Я помахал ему свободной рукой. Доктор открыл рот. И снова закрыл.

На заднем сиденье автомобиля восседал Цицерон.

— Вы прихватили его с собой? — удивился я.

— Цицерон в курсе, — сказала женщина. — Он знает...

— О чем он знает?

— Обо всем.

Я оглянулся на Цицерона.

Тот отвернулся.

— А меня вы, кажется, похитили?

Женщина не ответила.

— Зачем?

Женщина молчала.

— Что-нибудь случилось?

Женщина потрогала на шее ожерелье и сказала:

— Кажется, меня больше нет.

— Где вас нет?

— Думаю, что нигде.

Я снова взглянул на Цицерона.

— Дружище, ты что-нибудь понимаешь?

Цицерон снова отвернулся.

— Кажется, он тоже не понимает, — сказал я женщине. — Так меня все же похищают?

Женщина покачала головой.

— Я похожа на похитителя?



— Мне нужно домой, — буркнул я.
 — Разве я вас держу? — Женщина повернула ключ зажигания.
 «Мерседес» остановился на моей улице.
 У Цицерона был подавленный вид.
 — Сегодня Цицерон неразговорчив, — сказал я.
 — Сегодня — нет, — отозвалась женщина. — Да и что он может сказать?
 — Тогда скажите вы.
 Лицо женщины вдруг помолодело.
 — Мы увидимся? — спросила она.
 Я пожал плечами.
 Лицо женщины вновь постарело.
 Я захлопнул за собой дверцу.

* * *

Немного потоптавшись в коридоре, я заглянул в комнату жены. Эстер сидела на ковре и чему-то улыбалась, но, заметив меня, попросила, чтобы я расчесал ей волосы. Я ушел за расческой в ванную, а когда вернулся, застал Эстер лежащей на ковре животом вниз; ее рука шарилась под диваном. Я подумал о тех вечерах, когда, возвратившись из кинотеатра «Офир» домой, мы с Эстер ложились в нашу кровать и любили друг друга.

— Вот она, — сказала Эстер, достав закатившуюся под диван пуговку.

Я радостно покачал головой и сообщил, что теперь по праздникам буду получать дополнительные сто долларов.

Эстер сказала:

— Пуговка не сбежала.

«Это замечательно, что пуговка не сбежала», — подумал я и вдруг вспомнил сказку из «Триумфальной арки», где волна ласкала утес до тех пор, пока тот не рухнул.

Эстер подняла ко мне лицо и предложила потанцевать.

— Ты просила причесать тебе волосы, — напомнил я.

— Танцевать! — сказала Эстер.

Я поставил диск, и мы, немного потанцевав, остановились у окна. По улице бродили люди и о чем-то разговаривали. Одни морщились, другие смеялись. «Каждый со своей музыкой», — подумал я.

Потом я взял руку Эстер и спросил, помнит ли она бар с дубовой дверью. Эстер пожала плечами. Я напомнил:

— Была осень, и шел дождь. Мы пили водку и слушали, как поет Элла Фитцджеральд. Это было нашим началом. Ты помнишь?

В ответ Эстер погладила мое ухо.

Мы потанцевали еще.

Потом я накормил Эстер ужином, и мы долго молчали. Я подумал, что люди, которые друг друга мало знают, говорят охотно и много, а те, которые друг друга знают хорошо — подолгу молчат. «Вот оно — продолжение нашего начала», — сказал я себе и себе же не поверил.

Потом позвонил внук. У него был озабоченный голос.

— Я толстым не стану?

— Надеюсь, что нет.

— Не хочу быть толстым!

— Не будь.

— А отчего толстеют?

— Оттого, что мало двигаются и однообразно мыслят.

— Я мыслю однообразно?

— Ты — нет.

— Выходит, я толстым не стану?

— Так выходит.

— А у моей бабушки появились странности, да?

— С чего ты взял?



- Разве нет?
 Я не знал, как ответить.
 — Дедушка...
 — Что?
 — Почему ты молчишь?
 — Я не знаю, что тебе сказать.
 — Потому что я еще маленький?
 — Я не знаю, что тебе сказать, потому что ты уже не маленький.
 — Дедушка!
 — Что?
 — Хочешь, я не стану замечать, что у бабушки появились странности?
 Я промолчал.
 — Дедушка...
 — Что?
 — Нужно притворяться и не замечать?
 — Иногда нужно.
 — Ты так думаешь?
 — Я знаю.
 — Хочешь, чтобы я тоже знал?
 — Придется. Все равно придется...
 — Притворяться — это так же, как лгать, да?
 — Примерно так же.
 — Ложь сходит с рук, пока тебя не поймали.
 — Откуда ты знаешь?
 — Я же не младенец.
 — Прости, я забыл.
 — Видишь, как хорошо, когда есть кто-то, кто бы тебе напоминал!
 — Верно. Это всегда хорошо...

В телевизоре сообщили о засухе в Пакистане, и я решил спуститься с Эстер в скверик возле нашего дома, чтобы вдоволь надышаться свежим воздухом.

На дорожках сквера хрустел гравий, а над кустами жасмина кружили птицы. С дальней скамейки доносился приглушенный смех. Возле клумбы с анютиными глазками Эстер остановилась. Откуда-то пахло вечерней влагой. Высоко над нами замерла луна; ее свет придавал цветам белую окраску, и казалось, будто на нас глядят глазки маленьких призраков.

- Дыши! — сказал я Эстер. — Пожалуйста, дыши!
 Две узкие тени отделились от дальней скамейки и слились с темнотой.
 Вдруг лицо Эстер исказилось.
 — Нет! — вскрикнула она. — Там снег!
 — Где?
 — Там, — шептала Эстер, — где горы... там снег...
 Я взял руку жены.
 — Вернемся домой?
 — Домой, — отозвалась Эстер.

Я стал вспоминать, чем можно еще задобрить судьбу, кроме как молитвами, постукиванием по дереву или опущенной в карман брюк кроличьей лапкой.

Когда мы поднимались домой, мне показалось, будто по ступенькам лестницы за нами следуют черный автомобиль и белый пес. Я оглянулся. Нет — они не следовали. Я хихикнул. От жалости к себе.

- Спокойной ночи! — сказал я жене.
 Эстер опустила на ковер.

«Будь на месте утеса железобетонная конструкция, она бы, возможно, не рухнула», — подумал я и мягко прикрыл за собой дверь.

* * *

Пианино.
 Аккорд... Пассаж... Стаккато...
 И одинокий звук — словно хлопок дождевой капли...



* * *

Это был один из тех редких вечеров, когда мы с Эстер смогли поужинать вместе. Вначале мы поговорили о дочке и внуке, а потом я сказал, что пытаюсь писать балладу о человеке, который старается не утратить в себе мужчину.

— Зачем ему это? — спросила Эстер.

Я наклонился к руке Эстер, поцеловал ее.

— Ты хороший, — сказала Эстер.

С кухонного стола я собрал посуду и принялся ее мыть.

Я услышал:

— Ты поведешь меня в кино на последний сеанс?

Ответить я не успел, потому что затрезвонил телефон. Я ушел к себе и поднял трубку. Там молчали.

— Кто это был? — спросила Эстер, когда я вернулся.

Я пожал плечами.

— Может, с почты?

— Не знаю. Там было молчание.

— Что за молчание?

— Вроде бы тяжелое.

— За твою балладу дадут много денег? — спросила Эстер.

— Возможно.

— На билеты в кино хватит?

Я привлек жену к себе. Ее щеки покрылись рыжими пятнами.

* * *

Аккорд... Пассаж...

Вроде бы — лучше... Но не то, еще не совсем то...

Тишина. Я пытался ее разгадать. Говорят, что если возникает сложный вопрос, то человек весь превращается в мозг, я же — в слух.

Тишину подавил телефонный звонок. Зив прочел свои новые стихи.

— Что скажешь?

— Прости, — сказал я, — моя голова забита балладой.

— Как это — забита? — не понял Зив.

— Туго, — объяснил я.

Немного помолчав, поэт пожаловался:

— Меня всю ночь нещадно колотило.

Я откликнулся:

— Если от холода, то накрывайся двумя одеялами.

— Точно так я и сделал, но все равно дрожал.

— А сверху ковер клал?

— Ковер? Как такое понимать?

— Как виртуальную действительность.

Телефонная трубка смолкла.

Я открыл компьютер.

7 декабря 2010 года. 21:40.

От кого: Korman@mail.com

Кому: Toldan@netvision.net.il

Хочу, чтобы вы знали: пишу балладу. Она вся во мне, я весь в ней. Надеюсь, Господь понимает, о чем я...

Через тринадцать минут просмотрел почту. На экране компьютера высветилось:

«7 декабря 2010 года. 21:53.

От кого: Toldan@netvision.net.il

Кому: Korman@mail.com

Я всегда знала, что вы отправитесь в поход за звуками, которые расскажут миру о... Надеюсь, Господь понимает, о чем я, и Он вам поможет...»

Телефон.

— Как мама сегодня? — спросила дочка.



— В ближайшие дни я поведу ее в кино.

— В кино?

— На последний сеанс.

Я вернулся к компьютеру.

«7 декабря 2010 года. 22:02.

Я тоже надеюсь, что Господь нас понимает, а если нет, то, может, достаточно и того, что мы понимаем сами...»

«7 декабря 2010 года. 22:14.

Завтра буду ждать на скамейке. Бульвар Ротшильда. В 17.00.

Надеюсь, Господь поймет...»

* * *

Подумав, что надо бы выгладить рубашку, я поставил гладильную доску. Надеюсь, я не ошибся, начав наглаживать сначала воротничок, а потом рукава.

По дороге к скамейке на бульваре Ротшильда я увидел, как солнце медленно опускалось за кроны долго поживших эвкалиптов.

— А где Цицерон? — спросил я у женщины.

— Не знаю. Вчера вечером, после того как я сказала ему, что улетаю домой, он забился в угол комнаты и долго скулил. Пришлось выпустить его на улицу. Ночью он не вернулся. И утром тоже. Не знаю, что и думать.

— Вы улетае?

— В Тель-Авиве наши с сыном дела закончились, и ночью я улетаю. Осталось попрощаться с вами, *гигант*, собрать чемоданы и сдать в аэропорту машину.

Я вздрогнул. Слово *гигант* меня просто парализовало.

— Что с вами? — спросила женщина.

— Прошу вас, — сказал я, — так не говорите. В последнее время меня пугают выражения типа «вот и все», «последний раз», «осталось лишь»...

— Вас пугают слова?

Я растерянно посмотрел вокруг.

Женщина кивнула на небо.

— Сегодня у него вид горького финала.

Подняв голову и пытаюсь заставить себя расслабиться, я выдавил улыбку.

На лице женщины замерло выражение настороженности.

— Вам не кажется, — спросила она, — что люди ужасно боятся правды?

— Может быть. Не знаю.

— Тогда как же с воображением?

— Что с ним?

Женщина выжидающе посмотрела на меня.

— Разве тем, кто не знает, не подсказывает воображение?

— Видимо, я не из их числа.

— Ну да. — Женщина поднялась со скамейки. — Как же иначе...

Я тоже поднялся.

Мы стояли, молча опустив головы.

— Вы что-нибудь понимаете? — наконец заговорила женщина.

— Что я должен понимать?

— Что это было с нами?

— Это не с нами. Так сложилось со звездами.

— Прощайте, Корман!

Я сказал:

— Господи, как холодно звучит слово «прощайте»! Вам не кажется, что, произнося это слово, людям хочется сказать совсем другое?

— Себя мы упрекнуть не можем. Для того чтобы притвориться, мы сказали друг другу достаточно...

— Это — да! Это мы сделали замечательно.

Я достал из кармана чек.

— Ваше желание помочь дому престарелых выстоять — поступок, безусловно, в высшей степени благородный, но, что касается меня, то прошу вас — мне такое не присылайте. Никогда. Даже в дни праздников.



Женщина стиснула руками лицо так, будто пыталась скрыть в нем что-то. И прошептала:
 — Тогда... Возьмите, пожалуйста, вот это.
 В мою ладонь легла синяя пластмассовая коробка.
 Я проводил женщину к черному автомобилю.
 — Скажите мне что-нибудь, — попросила женщина.
 Я сказал:
 — Не разбейтесь в самолете.
 Сухо прокашлял мотор, и «Мерседес» тронулся с места.
 Сжимая в ладони коробку, я пересохшими губами шептал:
 — Ты хранила... Ты... Ту самую запись... Ведь это она — та самая до-мажорная сонатина Клементи.

* * *

Утром 12 декабря я, как обычно, принес из кафе Нисима завтрак для Эстер и ушел к себе.

Позвонил внук.

— Как продвигается работа над балладой? — спросил он, и я ответил, что по-разному.

Затем мы перешли к разговору о школе и девочках. Дани сказал, что любит меня, и посоветовал, чтобы я со своей балладой не спешил. Почему он сказал так, я не понял, но спрашивать не стал.

В комнату вернулась тишина. Достав нотную тетрадь, я записал то, о чем проговорила тишина, а потом открыл крышку пианино и стал разглядывать клавиши. Просто разглядывать.

Когда стрелки стенных часов показывали полдевятого, я заглянул в комнату Эстер.

— Достань свой выходной наряд, — сказал я.

Жена надела белую блузку, серую юбку и бежевые туфли на высоком каблуке.

Я прихватил с собой складные стульчики, и мы спустились по лестнице.

Посередине улицы Грузенберг человек в оранжевом комбинезоне и желтой каске, величественно расставив ноги и разбросав руки по сторонам, зычным голосом предупредил, что улица на время перекрыта, и прохожие, издали оглядывая огромный строительный кран, отходили прочь.

— И вы тоже! — человек в желтой каске в изумлении посмотрел на мой черный костюм и черные лакированные туфли. — Вы бы лучше ушли...

— Мы досмотрим, — сказал я, решительно расставляя на краю тротуара складные стульчики.

Человек, недовольно сдвинув брови, пытался сказать что-то еще, но, после того как я усадил на стульчик Эстер, махнул рукой.

На асфальте развалились тяжелые гусеницы экскаватора.

— Сейчас начнется, — сказал я жене.

И началось.

Экскаватор, будто обозленная змея, вытянув стальную шею, угрожающе затрясся, зачихал и ужалил кинотеатр «Офир» в бок. Через несколько минут, издав глухой протяжный выдох, «Офир» рухнул на мостовую, превратившись в щебень и облако пыли.

Эстер ухватила за мою руку.

— Ну вот, — я заглянул в испуганные глаза, — мы успели. На последний сеанс...

Губы Эстер что-то проговорили. Я не разобрал — что.

— Мы успели, — повторил я, вдруг ощутив себя в перевернутом времени.

— Время «Офира» вышло, — проговорил человек в оранжевом комбинезоне.

Потом он грубо выругался.

У моих ног улеглась странная тень.

— Ты?

Глаза Цицерона были наполнены мольбой.



— Пришел высказаться? — определил я, и он, видимо, унюхав мое изумление, прижался ко мне всей длиной своего большого горячего тела. Он не двигался с места до тех пор, пока я не сказал: — Пошли с нами!

Пес лизнул мою руку и опустил глаза.

— Пойдешь?

Меня поразила его беспечная походка.

На моей душе было неизвестно что. Город звучал неизвестно как.

Я подумал: «Где теперь “Офир”?» «Офир» ответил: «Неизвестно где...»

* * *

Днем зазвонил телефон.

— Все утро никто не подходил, — пожаловалась дочка.

— Мы с твоей мамой ходили на последний сеанс.

— В такую рань?

— Время перевернулось.

— Папа?

— Что?

— Папа, ты о чем?

— Нам показали ужасную картину гибели.

— Гибели?

— Да.

Трубка немного помолчала. Потом я услышал:

— А вы? Как мама, как ты?

— Мы, слава богу, уцелели.

— Папа?

— Что?

— Я позвоню еще вечером.

— Конечно, обязательно позвони.

Цицерон улегся в коридоре и позволил Эстер погладить ему нос.

— Хочу в твою постель, — сказала мне Эстер.

Я отвел глаза, подумав: «Надеюсь, Эстер не спросит, хочу ли я».

Эстер не спросила.

Наши тела ничего не чувствовали, а лица глупо ухмылялись.

— Плохо! — сказала Эстер и ушла к себе в комнату.

Со мной осталось дыхание Эстер.

Невероятная сила вытолкнула меня из постели.

Аккорд... Еще один...

Первый спросил: «Зачем бывает начало?» Второй спросил: «Зачем бывает конец?»

И вдруг...

Я едва не вскрикнул от внезапно вспыхнувшего ощущения: накопившиеся во мне за последние недели чувства наконец-то были готовы вырваться наружу.

«Вот же оно! — догадался я. — Вот оно — начало моей баллады!»

Пассаж... Аккорд...

Справедливость не поругана, порядок вещей в мире не нарушен, бессилие отошло; наконец-то моя баллада заговорила как надо...

Пассаж... Аккорд...

С упорством одержимого я стал подгонять фразу к фразе, пытаюсь добыть для моей баллады все новые и новые рубежи.

Выплеск *crescendo* заполнил комнату, но потом, чуть задумавшись, притормозил, перешел в *diminuendo*. Внезапно все оборвалось несколькими тактами полной тишины.

Я все еще слышал дыхание Эстер.

Пассажи... Аккорды...

Я взглянул на фотографию отца. Сказал:

— Папа, Гейне не ошибался: «То, что отнимает у человека жизнь, возвращает музыка».



Часы показывали полночь.
 Легкий ветерок — пассаж... Капли дождя — Staccato... Потом — дождь... Внезапно — ливень...
 Crescendo беспорядочных звуков — это улицы города уходят под воду.
 Судьба — аккорд... Судьба? — аккорд.
 Crescendo — город всплывает — не раз, не два...
 Прошлое... Что с ним? Голова... Что с моей головой?
 Я — не я!.. Я — не я?
 Я поднялся со стула. Заглянув в коридор, спросил:
 — Спишь?
 Цицерон пошевелился и посмотрел на меня большим круглым глазом.
 — Послушать хочешь?
 Цицерон хотел.
 Я вернулся к пианино.
 — Тогда слушай!
 Цицерон присел неподалеку.
 Пассажи... Аккорды...
 Часы показывали 1:15.
 Моя память окрасилась в звуки из прошлого.
 3:30.
 — Ну, как?
 Цицерон поднял голову.
 — Рассказываю жизнь мою.
 Цицерон напряг уши.
 Аккорды... Glissando...
 Теперь дело оставалось за главным — отыскать верную концовку...
 Вспомнился Гарсиа Маркес и его полковник, которому никто не писал. Вот это был урок! Суть этого рассказа я понял лишь после того, как прочел последнее слово.
 4:40.
 Пассаж... Andante...
 — Терпимо?
 Цицерон пошевелил хвостом.
 — Вот и терпи. Можно жить, если терпеть... Если терпеть, жить можно.
 Цицерон посмотрел на меня другим глазом. Тоже большим и тоже круглым.
 Я подумал о женщине из Йоханнесбурга, у которой был муж и есть сын, сделанный тем мужем.
 5:20.
 Пассаж... Diminuendo...
 — Нравится?
 Цицерон ни «да» не сказал, ни «нет».
 — Эта баллада — моя тайна, и, надеюсь, ты не станешь думать, что боль забавляет, потому что ты... Ты свидетель моей истории. Последний свидетель...
 Цицерон закрыл глаза.
 — У меня жена и дочь. Жена и дочь — не игрушки из магазина «Детский мир». Их по частям не разберешь-соберешь и, обменяв на другие игрушки, обратно в магазин не возвратишь.
 Пассаж... Cantabile...
 Я подумал, что если среди животных встречаются глупые, жестокие и ненасытные, так ведь и среди людей попадают волки, шакалы и лисицы; но только подонков среди животных не бывает.
 Настойчивые звуки *allegro* вдруг сменились причудливым переходом в *andante*.
 — Ты слышишь, Цицерон, эти звуки? Я извлекаю их из моей памяти, и ты, приятель, попытайся услышать, что они рассказывают про мои старые раны и про женщин, которые позволяют мужчинам чувствовать себя мужчинами, а еще...
 Я мягко дотронулся до клавиши. Вдаль ушел одинокий звук. Осталась тишина, задумчивая и грозная.
 Цицерон открыл глаза.

— Я должен чувствовать себя мужчиной. Я готовил себя... С детства... На всю жизнь...

Моя баллада...

— Ты слышишь, Цицерон, этими звуками я излил себя в ней, дождавшись часа моего освобождения.

Я вернулся к себе, в мой мир, неизменный и неподдельный. Вот оно — ощущение желанного покоя. Свершилось! Чему не миновать, тому быть... Вот он — вкус победы!

Подхваченный звуками моей баллады, я парил в загадочном мире и даже прокричал «ура!», наконец-то четко осознав, кого победил и над чем победа.

На часах было 5:27.

— Сейчас твоя подруга в небе, — сказал я Цицерону. — Удаляется она, удаляется...

На экране компьютера высветились строки рекламы:

«Центр лечения зависимостей.

Избавляем от жадности, зависти, гордыни, тщеславия, гнева, ненависти, эгоизма и разных других вредных привычек.

Приглашаем всех!

Лечение чиновников, депутатов кнессета, банкиров, бандитов — бесплатно!

Телефон...»

Я проводил Цицерона в коридор, в ванной почистил зубы, вернулся в комнату, погасил свет, разделся, лег в кровать, задремал, увидев перед собой двери врачебного кабинета.

Доктор сказал, чтобы Эстер собрала анализы. Потом был другой кабинет. Другой доктор направил Эстер на рентген головы (анфас, профиль). Потом еще кабинет. И еще. И еще...

Я проснулся.

Вялый свет из окна трогал потолок, стены.

— Спасибо, Господи, за подаренный мне новый день, — проговорил я, и тут вошла Эстер, остановилась возле моей кровати.

Я подвинулся.

Эстер легла рядом, положила голову мне на грудь, но вдруг, громко смеясь, поднялась с кровати.

Я смотрел, как она уходит. Потом послушал тишину, идущую из ее комнаты.

«Слава богу, — подумал я, — там тихо...»

Была не совсем ночь, однако и не совсем утро, когда я вспомнил, что с вечера оставил в холодильнике сэндвич.



Василий КОВАЛЕВ

ОТОГРЕТОЕ ВРЕМЯ

* * *

Мылся в грязном душе двадцать седьмым, последним:
раскисшее мыло, чужие волосы, слезящийся свет стальной,
створку открыл и воздухом теплым летним
подышал. И, сидя под лейкой, слушал шум города за спиной.

И стояло прошлое за разорванной розовой шторкой
(хотя двадцать восьмого выписали, и никто там не ждал меня),
как человек. И была вода теплой, какой-то маслянистой и горькой,
и в отверстие под ноги сбегали остатки дня.

Вот тогда и почувствовал этот слабый толчок — как будто
сдернули с головы полиэтиленовый легкий пакет:
серый таз с красной цифрой «3» на боку и швабра — открытье, чудо,
детский крик на площадке и тихий летний проспект...

Проступали предметы, наливались тяжестью, обрастая
какой-то новой реальностью — неслыханной, ясной, простой.
Отбитый край плитки, ветви деревьев, паутина в углу сырая...
Невыносимо прекрасный мир, где вещи борются с пустотой.

* * *

В ночной больнице над синей раковиной тяжелой
задышался от рвоты, плакал, дрожал, успокаивался, курил,
потом начиналось снова... На подоконнике голый
засыпал на мгновение и опять в себя приходил.

Среди ночи заглядывал попить из-под крана заспанный постоялец,
ежился у окна, стоя в пижаме, жестом стрелял огня.
«Как самочувствие-то?» — Я большой оттопыривал палец,
он кивал, улыбнувшись криво, и оставлял меня.



Я выхаркивал прошлое в шумящую дырку, по подбородку
что-то текло, вытирался брезгливо, прикладывая рулон
туалетной бумаги, качался на унитазе, как будто в лодку
меня посадили, поднимал глаза: небосклон

шипел от ночного снега, а над кирпичным забором
деревья протяжно шумели сырой листвой...
Просыпался в палате от дребезжания тележки по коридорам —
тяжелый, измученный, теплый от сна, живой.

* * *

В летнем парке писал статью об умершем друге,
шелестели деревья, кричали дети на спортивной площадке,
пахло сырým теплом, — и никак не вязались его предсмертные муки
и стихи последние с тем, насколько здесь все в порядке.

Гуляли голуби под ногами, и нетбук стоял на теплой скамейке,
и подростки, пристроившись рядом, галдели, косились и пили пиво,
и узбек бродил по газону в оранжевой телогрейке,
протыкая бумажки, собирая пластмассовый мусор неторопливо.

И узнал я, как плоть словесная умирает за нами следом,
тленна и ненадежна ее прихотливая легкая оболочка:
просто сидишь и смотришь, как парк заливает остывающим слабым светом,
как в распахнутой книге беззащитно горит его лучшая строчка.

* * *

Колчак, когда хотел повесить Блока
и Горького — в бессмысленной, пустой,
воюющей стране (хотя жестоко
звучит), какой-то страшной правотой
по-своему был прав. И я, не веря
кошмарной логике (голодная Москва,
разгул, измена, тьма), по крайней мере
могу понять несчастные слова.

Мне часто снится страшный, сокрушенный,
ночной «Титаник», визг стальных опор,
и как водою ледяной зеленой
затапливает белый коридор,
и скрипки, скрипки в темноте — живая
ночная музыка, и хлещет свет, разлит
во тьме... и прав поэт: в наш грозный час какая
над нами музыка звучит!..

* * *

Как во сне, летишь в пустоту,
растворяешься в каждом дне
без остатка. И на лету
не усваиваешь вполне



ничего. Лишь мерцанье дней!
И с работы идешь пока —
пятна, пятна, пятна огней —
полюбуйся издалека.

По бетонным плитам сырым.
И мотивчик дрожит внутри:
раз-два-три, синеватый дым
над парковкою, раз-два-три.

Я хотел бы, наверно, чтоб
как-то выяснилось бы вдруг:
все могло быть иначе?.. Стоп!
Запрещенная тема, друг.

Дни плывут себе в пустоте,
огорчают по мелочам.
Привыкаешь. Ждешь. В темноте
просыпаешься по ночам.

* * *

Посмотри, записка все длиннее,
разрастается, уходит в ил
времени: Владимир, Пелагея,
Александра, воин Михаил.

Вспоминается сырое лето,
теплый свет сияющего дня:
тот, кто умер, курит сигарету,
улыбаясь, смотрит на меня.

А другой стоит над шашлыками,
пьет портвейн советский из горла,
и смеется, опершись о камень,
та, что тоже умерла.

Я бегу в панаме идиотской,
и плывет картинка, как во сне,
хрипотой заходится Высоцкий,
спички, рюмки, хлеб на простыне...

Ставишь свечку. То дрожит, то вспыхнет,
золотой играя синевой...
Как понять, что никого из них нет,
плечи, руки, лица их — травой

стали, холодом, корнями, светом...
Крестишься. Выходишь в городской
теплый шум, плывущий над проспектом.
Хорошо как, Боже мой...

* * *

Вчетвером подходили к нему, ласково со всех сторон обступали.
«Говорят, ты все дерешься, Сережа?» Поднимали его с постели.
И Ерошин смотрел исподлобья, затравленно подмечая детали.
«Все равно убью их!..» — «Кого?» — Он молчал, и губы его бледнели.

«Ну, ложись, Сережа». Переглядывались, кивали, повернувшись спиной:
«Никакой динамики». — «Ну, не стало хуже, по крайней мере...»
После ужина начинался снег, и жизнь тогда казалась какой-то иною,
и деревьев не было видно в замерзшем сквере.

И Ерошин, лежа в углу, матерился, корчился и дрожал всем телом,
и мы закрывали, посоветовавшись, форточку, чтобы его не продуло.
Кораблем огромным мы плыли в пространстве белом,
сигарету последнюю пускали по кругу хмуро.

И когда все ложились, я садился на стул у окна. И жуткие годы,
все эти люди и встречи тонули в сухом электрическом зное...
Только злое кипенье снега, только чувство легкости и свободы,
только это банальное на стекле украшение резное.

* * *

В дальней части парка, выходящей к железной дороге,
на секциях кривого забора написано: *маши петрова сука*,
из вонючей холодной жижи торчат бетонные блоки,
разоренный март обливается светом сухо.
Иногда забредают с колясками молодые мамы
и, скосив на меня глаза (сизу, надвинув бейсболку,
на железной скамье), по раскисшей бесснежной каше
ускоряют шаги и в глубине аллеи маячат потом подолгу.
Это борода моя их пугает и выдавшая виды куртка,
эти ямы с водой, партизанские сосны, лед в воде, бутылки, осока,
мне и самому оставаться здесь как-то тревожно и жутко,
но я привык и еще посижу немного.
Раньше (я не заслуживал) все дружно улыбались мне почему-то —
продавщицы цветов, врачи в поликлинике, полковник в военкомате,
теперь — я не знаю... но жизнь стала проще, как вот это верное чудо:
солнце садится за горы щебенки, деревья наливаются тяжестью на закате.



Валерий ТОПОРКОВ

БАБОЧКА НАД ОКЕАНОМ

П о в е с т ь *

Вместо предисловия

Однажды, просматривая старые пожелтевшие номера «Роман-газеты», которую выписывали мои родители, я остановился на необычном высказывании: «Загадка поэмы — в ее простоте, а простота труднее всего в постижении, потому как она никогда не присутствует в нашей суетной повседневности, исключая детство, а оно во всю оставшуюся жизнь кажется нам то ли сном, похожим на явь, то ли явью, похожей на сон».

Признаться, в тот момент эти строки произвели на меня сильное впечатление. Во мне будто что-то стало пробуждаться, и я невольно задумался о сути сказанного. У меня эти слова до сих пор ассоциируются с финальными кадрами «Соляриса» Андрея Тарковского, когда океан, по мере удаления от него, становится все меньше и меньше, периодически заслоняясь обрывками облаков, и в итоге на экране перед нашим взором остается и вовсе крохотный островок, будто сон из детства.

Но только сон ли это был...

*«Жизнь есть то, что не дает живущему умереть...
Что справедливее любви может быть названо жизнью?»*

Николай Кавасила

1. Большие переезды

Полагаю, самый поэтичный момент во всей моей, в общем-то, однотипной советской метрике — это место рождения: поселок Лебединый Алданского района Якутской АССР. Честно говоря, мне всегда было приятно указывать его в анкетах.

В конце шестидесятых, после окончания Рыбинского педучилища с отличием, моя мама по собственному желанию приехала в Лебединый, устроившись в детский сад. Отец же, демобилизовавшись с корабля воздушного наблюдения Тихоокеанского флота, где служил радиометристом, в это же самое время переехал в поселок с родителями, шестью сестрами и младшим братом.

Сошлись они на любви к художественной самодеятельности. Отсутствие обручальных колец в магазинах богатейшего золотоносного края, где спустя несколько лет стала популярной песня старателей «Люди золота жаждут, чтоб его тратили», помешать им, разумеется, не могло.

* Журнальный вариант.

Мне исполнилось восемь месяцев, когда мы переехали на мамину родину — в Ярославскую область. В начале семидесятых у меня родился брат. Еще через два года мама заочно окончила педагогический институт, а отца буквально задушила ностальгия по Северу, и он уехал обратно в Якутию, законтрактовавшись.

Я заканчивал второй класс начальной школы села Караш; на пороге стояло лето 1979 года, когда Алла Пугачева изо всех окон пела: «Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтоб оно за мною мчалось, за мною вслед!» Хотел этого и я, но лето запомнилось мне лишь двумя днями — упоительно-теплым началом и тревожно-хлопотливым концом...

День первый... Я — небольшого росточка, худенький, но крепкий мальчишка, сидящий на широкой скамье за столом, поставленным в палисаднике у каменного двухэтажного дома на Заводской улице прямо под окном бабушкиной квартиры, под старым, потрескавшимся фонарным столбом и пышной кроной стройной молодой липы, вкрадчиво отзывающейся на легкие прикосновения вечернего ветерка. Я наблюдаю за тем, как собравшиеся соседи вместе с моей бабушкой, оренбургской казачкой Татьяной Ивановной, разглядывают мою ведомость об окончании второго класса. В ведомости одни пятерки, и я, конечно, очень доволен и горд собой. Но кто бы смог догадаться тогда, что на самом деле было у меня на душе. Ведь думал я вовсе не об отметках и не о долгожданных каникулах — меня переполняло необыкновенное чувство легкости и радости жизни, смешанное с волнительным предчувствием грядущих перемен...

И день последний... Мы с мамой и младшим братом в сопровождении дедушки и бабушки идем на станцию «Сильницы». С набитыми донезья сумками и тюками мы собрались ехать в Москву, чтобы, переночевав у знакомых, живущих на Ленинском проспекте, вылететь назавтра утренним рейсом из Домодедова в Якутск.

«Поезд до Александра прибывает на первый путь!» — громко и отчетливо звучит объявление дежурного по станции.

Это почтовый поезд. Мы называем его «хлебником», потому что на нем доставляются продукты для небольшого привокзального магазина. Вагоны в нем плацкартные, и со второй полки с прощально задумчивым удовольствием можно наблюдать за быстро пробегающими пейзажами.

Проводница открыла дверь, откинула ступеньку верхней подножки — и мы начали хлопотливый подъем нашего громоздкого багажа. Наконец, я занял место в одном из свободных купе, уселся возле окна и стал смотреть на провожающего нас деда — среднего роста, совсем седого, в дождевом плаще и кепке, вудом выжившего после осколочного ранения в висок под Ельней ветерана войны, кинемеханика с довоенным стажем; степенного, домовитого, в последний раз машущего нам рукой и как-то печально улыбающегося человека...

На Ленинском мы загостились: милый городской дворик, арочка у подъезда, скромные витрины магазина «Свет» и чудный вид на оживленный перекресток. Наш рейс откладывался ввиду нелетной погоды, так что первое сентября мне пришлось встретить за пределами школы. По правде сказать, я мало думал об этом, потому что был очарован гулким, пьянящим какой-то особенной эстетической романтикой аэродромом, темно-синими шторками на иллюминаторах самолета и неподражаемым голосом Джо Дассена, спокойно разливающимся по возбужденному салону: «Et si tu n'existais pas...»

Еще с высоты заходящего на посадку самолета Якутск удивил меня старыми двухэтажными деревянными домами и совсем не городскими улицами — с огромными лужами и грязью.

Из-за наглухо перекрытого облачностью далекого перевала мы провели около недели у деда Зосима, отца моего папы. Бабушка болела и практически не вставала с постели. Ни ее, вечную домохозяйку, ни дедушку, партработника, переехавшего в республиканскую столицу, я прежде не видел. Их младшая дочь была еще школьницей, называть ее тетей Мариной было просто невозможно. Двухкомнатная квартира на втором этаже больше всего запомнилась мне своим кисло-ватодревесным запахом незнакомой, но все-таки родной и любопытной жизни.



Досконально изученный за эти дни аэропорт постепенно стал казаться секретным полигоном, на котором подслащенная желтоватым сиропом трехкопеечная газировка боролась со все возрастающей жаждой пассажировских надежд. Но вот погода улыбнулась и нашему рейсу, и всего за каких-нибудь полтора часа легкий и изящный «Як-40» перенес нас туда, где должна была начаться моя новая и полная неожиданностей жизнь.

2. Рудник «Сарылах»

Граница обозреваемой сверху горной страны была пересечена еще в самом начале воздушного пути, время в полете пролетело на удивление быстро. Мы совершили посадку на грунтовую полосу, вышли — и я сделал свое первое открытие: насколько же тут все другое, в этом головокругжительном краю — и воздух, и земля, и солнце, и вода.

Вокруг, по всему вздыбленному горизонту, был сплошной волнистый контур громадных и грозно темнеющих оймяконских гор — с высокими вершинами и длинными гребнями, заснеженными, обледенелыми, причудливо увенчанными гранитными зубцами останцев, с каменными россыпями и приземистой небогатой растительностью.

Здание усть-нерского аэровокзала напоминало провинциальную автостанцию, тут мы и ожидали рейсового автобуса, следующего до поселка Сарылах — конечно-го пункта нашего определенно затянувшегося переезда. Дорога туда начиналась новым бетонным мостом через Индигирку, хотя и старый добрый паром был готов переправить нас на тот берег. Чуть ли не на всем своем извилистом протяжении дорога проходила по склонам, изредка прерываемым с обеих сторон узкими распадками, заманивая величественной красотой чередующихся долин. Один из наших спутников сказал, что самые опасные участки дороги, тянущейся над крутыми и легко осыпающимися обрывами, называются *прижимами*, и что водителям в таких местах еще не доводилось повторять своих ошибок.

Часа через два в продолговатой впадине показался наш поселок. Тут дорожным строителям уже не пришлось штурмовать никакую крутизну, поскольку сурьмяное месторождение было открыто именно здесь, в недрах этого своеобразного ландшафтного тупика. С легким изумлением вступая на его территорию, я отметил для себя главные особенности оторванного от большой цивилизации горняцкого уголка: пылящие к шахте и обратно чешские грузовики «Татра», никогда ранее не виданные дома на сваях, тянущиеся повсюду над землей линии теплотрассы с деревянными лестничными переходами и солидную глыбу неведомого минерала при входе в рудниковую контору.

В первые после приезда дни мы ютились в небольшом, чем-то напоминающем довоенного образца вагон без колес, домике одной из двух давно обосновавшихся в Сарылахе отцовских сестер — тети Нади.

До сих пор помню запах свежеподстреленной белой куропатки, умело подвешенной под низким сенечным потолком и смущавшей ненасытную дымчатую кошку. Рядом с домом стояла плотно покрытая матовой полимерной пленкой теплица, в которой к тому времени уже ничего не росло, а позади, в тени, шумел ледяной ручей — прямо под боком у циклопически вздымающейся сопки, радующей жизнерадостным скромной и неприхотливой растительности: тут были и лиственница, и ерник, и ольховник, и кедровый стланик, брусничник, мох и даже ягельный лишайник.

Невзирая на календарь, осень стремительно захватывала пространство, обращившаяся не классической «унылой порой», скорее, «очей очарованием», со всеми приметами небывало короткого торжества — тихо звенящим хрусталем девственно-холодного воздуха, мягкой, быстро желтеющей лиственничной хвоей и уже подмерзающей за ночь водицей.

Именно таким было ясное утро, когда мне предстояло впервые пойти в поселковую школу, располагавшуюся в одном здании с профилакторием. В ту минуту, когда мы с мамой и двоюродной сестрой Катей выходили из дома, из-под карниза обору-

дованной берлоги валяжного радиста-усача дяди Саши, приятеля отца, раздавалось: «Ох, какая же ты неблизкая, неласковая, альпинистка моя, скалолазка моя!..»

Несмотря на все мои волнения и тревожные ожидания, если и было в школе что-то необычное, кроме имени новой учительницы, Алевтины Тимофеевны Лыткиной, очень узкого темного коридора и дразнящей стопки матов в фойе, то к концу первого учебного дня я этого уже не замечал, вовсю гоняя на площадке, оборудованной рядом со школой, в популярный среди местных пацанов хоккей с мячом. И уже вскоре один из одноклассников, самоуверенный заводила, казавшийся поначалу ершистым и придиричивым, стал моим лучшим другом. Он не выделялся ростом, но был от природы сильным, коренастым пареньком — с круглым и будто светящимся лицом и покоряющей улыбкой. Жаль, что уже в следующем году он уехал в родной Белгород, а нашей переписке суждено было длиться недолго.

Тем временем отец воссоединился с семьей, продолжая работать в СМУ, мама начала преподавать в школе, меня приняли в пионеры, а братишка освоил детский сад — все шло своим чередом, без происшествий и потрясений. Зато таких хватало вокруг: в шахте задохнулся и полгода не проработавший в ней сосед, отец боевой первоклашки Светки Бурцевой; на пороге охотничьего зимовья медведь заломал отца Сереги Медведева, далеко оттащив и тщательно упрятав тело под сушильню, где по кровавому следу его и обнаружили спешно прилетевшие геологи, извещенные о случившемся пробежавшим не один десяток километров насмерть перепуганным напарником; на руднике, не без легкой, поговаривали, товарищеской помощи, трагически погиб доискивавшийся какой-то правды о нелегальных поставках на «материк» ценных северных товаров секретарь парторганизации Жильцов; с крутого склона у водокачки на незамерзающей речке Сарылах, в просторечии — Сарылашке, сорвалась тяжелая водовозка, унеся разом три жизни; а где-то в горах после очередной ночевки не проснулась изрядно разогревшаяся спиртным группа бывалых геологов...

3. В северном доме

Прожив неделю-другую у Лазеевых, мы вселились в скромно, но добротно отремонтированную половину предоставленного нам администрацией бревенчатого дома. Его основательно оштукатуренные стены с внешней стороны не белились, а уровень пола, мягко говоря, не был идеальным, повторяя уклон местности. В жесткие морозы в щелях и в углах проступала изморозь. В сочетании с заиндевевшими узкими окнами с толстыми ледяными подтеками она производила глубокое впечатление не только в те редкие часы, когда вынужденно бездействовала наша «госпожа печка». Растапливаемая обычно не крупно нарубленными дровами, в полчаса полностью прогоравшими, она без промедления заправлялась увесистыми кусками спасительного долгоиграющего угля — и ночью было даже жарковато, как в бане.

В доме было всего две комнаты — и два окна. В той, что побольше, стоял стол, топчаны, тумбочка с телевизором и платяной шкаф. Практически вся мебель была самодельной. А в кухне — и прихожей одновременно — стоял обеденный стол с табуретами и накрытая фанерной крышкой крашеная железная бочка с речной водой в дальнем от входа углу.

Со временем из двух комнат сделали три, поставив внутреннюю перегородку. Но на этом реконструкция не закончилась. Позже из бруса был сооружен пристрой, сначала ставший кухней с отдельным входом, а впоследствии окончательно отведенный нам с братом под детскую. От строительства того к нынешним временам, пожалуй, не осталось и следа, если не считать памятного шрама на моей груди, полученного от прошившего балку гвоздя, на которую я, ничего не заметив, стремительно взлетел ловким гимнастическим движением.

Еду варили на электрической плитке, реже — на печке. Питались в основном крупями, макаронами и новозеландской бараниной. Отец приносил ее на плече целыми тушами, на жилистых бедрах которых были видны эллиптической формы фиолетовые клейма. На мясо и масло родителям выдавали талоны, рыба же продавалась свободно — не в роскошном, конечно, но все же впечатляющем ассортименте: скумбрия, кета, камбала, чир, омуль, горбуша...



И мама, и папа отлично готовили. Пельмени делались сотнями и вместе с беляшами, пирогами и сладкими плюшками замораживались. Ни одно застолье не обходилось без чудесного брусничного морса, а грузинский или индийский чай пили с вареньем из голубики. Помимо всего прочего мама кормила нас отменной шурпой, бешбармаком, паровыми котлетами, особым салатом из лука и томатов и всевозможной выпечкой, а отец — превосходным пловом, домашней лапшой, рагу, фирменными макаронами по-флотски и печеными завитушками с повидлом.

В поселке был единственный магазин — с высоченной вышарканной лестницей и укрепленным на боковой стене плакатом с Марксом, Энгельсом и Лениным. В магазине было два отдела: налево — хозяйственный, направо — продовольственный. На бакалейных прилавках стояли жестяные и стеклянные банки разной высоты и калибра — со сгущенкой, кофе, какао, повидлом, яблочным пюре, джемами, салатами, маринадами, консервированным яблоком, грушей, сливой, вишней, абрикосом и рыбными консервами. Яиц и молока практически не было, их заменяли пакеты с яичным и молочным порошком. Продавался и сухой картофель, но мы его не признавали. Хлеб был одного сорта — «пшеничный формовой». В промежутках между привозами дефицитных продуктов, от овощей и фруктов до напитков, вроде с ума сводившей «Крем-сода», «Буратино» или «Саян», очередей в магазине не было. Но когда случались — и огрызку яблока негде было упасть! Я и сам неоднократно простаивал эти бесконечные очереди. Доходило до смешного — однажды стоявший впереди мужчина уговорил меня сбегать к нему домой и сказать жене, что он-де забыл свое портмоне и просит срочно передать его со мной. Просьбу, понятное дело, я выполнил, но так и не понял, что же это за интригующий «порт монет» он просил меня принести — ведь вернулся я всего-навсего с кошельком. . .

Однако и очереди, какими бы огромными они ни были, когда-нибудь заканчиваются. И вот, отоварившись вожделенным, я бегу обратно. . . Морозно. Безветренно. Тихо. Небо подернуто серой ледяной дымкой, из которой медленно струится едва ощутимый, нежный, легчайший снег. Бегу не шибко. Лицо до глаз скрывает толстый оледеневший шарф, ресницы тоже обледенели и с трудом разлипаются, воздуха не хватает. Остановишься — и можно услышать «шепот звезд»: легкий шорох мгновенно замерзающих и опадающих крошечных ледяных кристалликов, образующихся из выдыхаемого тобой воздушного пара.

Чтобы понять, как тут холодно, надо знать, что оймьяконские реки промерзают на глубину до двух метров, а то и до дна, изобилуя при этом характерными наледями — тарынами; а на одну печь в сезон уходит до тридцати кубометров дров! Прелюбопытный факт: привычно-европейское «твердый как металл» теряет здесь всякий смысл, поскольку даже металл на таком морозе делается хрупким, зато царь-лед приобретает твердость горной породы.

Возвращаюсь домой — а там уже ждет настоящий сюрприз: невесть откуда отец принес крохотный, живой, пушистый, шевелящийся черный комочек — слепого щенка лайки. Имя придумали незамедлительно — Верный. Волею нелепого случая за Верного нам пришлось попереживать — однажды его нечаянно придавил мой шестилетний братишка, серьезно повредив кобельку заднюю лапу. Страдал тот долго, поначалу совсем не вставая, а потом — едва передвигаясь и хромая. Переживаний, понятно, было море. Но, слава богу, постепенно все улеглось — щенок вырос и превратился в умного и красивого, смоляного, с белесыми кончиками лап и хвоста и белой грудью, сильного, здорового пса, в настоящую восточно-сибирскую охотничью лайку. И работу свою он исполнял прекрасно — сторожил так, что для чужого любое приближение к дому было уже подвигом.

Что только мы с ним не вытворяли, какие только маскарады не устраивали, посмеиваясь над его присмирленно-безвинной, комично-серьезной и ничего не подозревающей мордой со съехавшей на нее кадрильной кепкой с пластмассовой розочкой. Зато на прогулках за окраиной поселка он всегда держался неподалеку, перебегая то на одну, то на другую сторону, со знанием дела проводя разведку, периодически останавливаясь и будто справляясь: «Ну что?.. Как ты тут?..» И кто его всему этому научил. . . Видно, гены — дело далеко не последнее: мать Верного, Берту, постоянно брали на медвежью охоту, где она выполняла ответственную задачу — обегая выслеженного медведя, своими укусами вынуждала его сесть на задницу; только

в этом положении прицельными выстрелами косолапого и можно было свалить наверняка.

Ни на рыбалке, ни на настоящей охоте, впрочем, побывать с Верным в те годы мне так и не довелось — отец не был ни рыбаком, ни заядлым охотником. А через три с половиной года, когда мы насовсем прощались с Сарылахом и не смогли, очень того желая, взять пса с собой, у нас его выпросили геологи — и с четвероногим другом пришлось расстаться...

Между тем приближался Новый год — и нам с отцом предстояло не только закончить порученную мне классным руководителем стенгазету с рисунком на сюжет из «Снежной королевы», но и подняться на ближайшую сопку, чтобы нарубить пушистых стланиковых ветвей — для создания хоть какого-то подобия новогодней елки. В условленный день, когда отец вернулся с работы, мы побрели наверх, совсем скоро оказавшись в белесоватом облаке, настолько густом, что я так и не смог разглядеть поселок с покоренной вершины.

Вернувшись затемно, решили не откладывать и немедленно взяться за дело: под музыку, льющуюся из подаренного мне магнитофона «Снежеть-202», ветви вставляли в тонкий листовичный ствол с часто просверленными в нем отверстиями. На глазах рождалось волшебное дерево; мама в это время шила мне изящный, с бумажными нагрудными газырями, грузинский костюм для школьного новогоднего концерта, на котором я потом танцевал зажигательную лезгинку...

4. На плоскогорье Оймякона

В школе моя мама преподавала географию. Из ее рассказов, из книг, которые заполняли полки, можно было почерпнуть немало любопытных сведений о крае, в котором мы поселились.

Еще до второй половины двадцатых годов прошлого столетия о бассейне Индигирки географы располагали крайне скудными знаниями. Никто из них и не предполагал о существовании заснеженных гор вдоль ее правого берега, изображавшегося на старых картах низменным и заболоченным. Географическим событием стало открытие здесь Иваном Дементьевичем Черским громадных горных хребтов. Небезынтересно, что эти возрожденные, *сбросовые* горы образовались в Восточносибирском геотектоническом поясе поверх уже успешших превратиться в платформы некогда возвышавшихся здесь мезозойских, *кimmerийских* гор. Всего в каких-нибудь двухстах километрах от того места, где пошел первый год моего пребывания на Оймяконском плоскогорье, находилась высшая точка северо-востока страны — гора Победа, венчающая массив Буордах мощного Улахан-Чистайского хребта. Сохраняя строгую историко-геологическую преемственность, эти горы изумляют своими красотами, загадками, сюрпризами и, увы, болезненным непостоянством и мрачным коварством без снисхождений.

Об этом коварстве напоминала страшная история, когда посреди лета группа усть-нерских школьников под руководством физрука пошла в поход в Нельканские горы... Никто из них не вернулся. Резкая смена погоды сделала свое дело. Ребят тогда нашли в самых разных местах. Один из них сидел у ручья, и отец сначала кричал ему что-то... будто живому.

На уроках мы также узнали, что для Оймяконья характерен резко-континентальный климат, что отгороженность от ветров и влаги высокими хребтами обуславливает скопление здесь холодного воздуха в зимний период; что в условиях вечной мерзлоты, вопреки ничтожному оттаиванию почвы летом, почти повсюду склоны и долины покрыты неброской таежной растительностью, чуть выше переходящей в пояс безлесной тундры.

Самые сильные же от местных красот впечатления остались у меня от первого в жизни двухдневного похода, состоявшегося в начале июня. Собралось нас человек пятнадцать — учащиеся разных классов и два учителя: наш физрук Геннадий Иванович и моя мама, прирожденная путешественница.

По длинному и довольно тесному распадку к югу от рудника начали мы наше восхождение на перевал. Шли по четко намеченной каменистой влажной тропе —



линии, образуемой смыканием двух массивных соседствующих склонов. Изрядно утомленные — не столько от физического напряжения, сколько от обманчивого чувства предвкушения скорого преодоления этой, казавшейся не такой уж и трудной, преграды — мы одолели ее! И вознаграждением за наш изнурительный труд стала открывшаяся перед нами величественная панорама долины Индигирки — с мощными, накрытыми кое-где роскошными снеговыми покрывалами, живописными горами на противоположной стороне. Именно здесь, оказывается, в августе 1926 года от устья Эльги проходил на ладье известный исследователь Сергей Владимирович Обручев. Вот что он записал в своем дневнике сразу же после выхода экспедиции к золотым индигирским берегам: «С волнением смотрю я с перевала. Река, по которой никто не проплывал! Совершенно неизвестная область, куда, действительно, не ступала нога исследователя».

В те минуты мы так же, как и знаменитый первооткрыватель когда-то, видели перед собой Индигирку — полноводную, внушающую неподдельное уважение, угрюмую и непокорную; вглядывались в ее правобережье, где простирались окраинные отроги еще одной части обширной Верхояно-Чукотской складчатой системы — хребта Сарычева...

На ночевку спустились в долину, обнаружив там пасущихся на лугах якутских лошадей и две небольшие юрты, в которых летовали пастухи-якуты. Проехавшись верхом на славящихся неприхотливой тебеневкой гнедках, поужинав на свежем воздухе и выпавшись — кто в спальниках в раскинутых палатках, а кто и на жестких нарах прохладных якутских жилищ, — довольные, утром мы продолжили свой путь: по ближайшему каменистому склону с пахучими кустами шиповника и черной смородины, мимо свитого на дереве большого орлиного гнезда, на основательно сглаженную и затянутую серым лишайниковым ковром горную грядку с неглубокими седловинами. Через несколько часов мы снова спустились в речную долину, на этом отрезке довольно мрачноватую — в ее тенистый лес, к чередке темных холодных озер и мшистых болот, к дурманящему аромату густо растущего багульника. Когда мы продвигались по ней, носом у меня отчего-то пошла кровь, и ноги стали подламываться...

Лишь к вечеру мы вышли на дорогу, еле поспев на автобус. Шедшие в авангарде старшекласники задержали его на несколько минут, героически споря с не желавшим отступать от графика водителем.

А дома нас ждала телеграмма от бабушки: «5 июня умер папа, дедушка». И уже через два дня, еще не успев отойти от всего пережитого в походе, я оказался на похоронах. Но однажды пережитое мною там, на далеком и таинственном перевале, уже никогда не забудется.

5. Мы

Вот уже год мы живем в Сарылахе. Ровно и беззаботно началась моя учеба в четвертом классе, но не прошло и половины четверти, как настала пора переезжать в только что выстроенную, светлую и просторную школу-восемилетку.

Переезд — дело хорошее, но не обошлось и без ностальгии по прежней школе и тамошним приключениям. Например, о кем-то подобранном раненом орле, живущем в напольной деревянной клетке; всей дружной учащейся братией мы кормили его на переменах сырым мясом, чувствуя пронзительно-острый птичий запах. Его выздоровление совпало с нашим переездом, и все мы вышли провожать его, машущего крыльями и делающего первые прыжки уже за новой, уютной и красивой двухэтажной школой. Кажется, именно после этого нами овладело неистребимое и безумное желание летать...

И ведь чего нам, казалось бы, не хватало — поселковым малолеткам, в чьем распоряжении всегда было короткое якутское лето, без дождей и с белыми ночами в придачу... Мы до упаду гоняли юрких бурундуков и *евразжек*, американских сусликов, на обширных мертвых курумах в окрестностях рудника и усердно выискивали обрывки бикфордова шнура в свежих рудных отвалах; мы запускали в небо большие жестяные банки с помощью нехитрой ацетиленовой технологии и дотемна катались на блоках по длиннющей стальной проволоке, протянутой между деревом на крутом горном склоне и другим, у подножия; мы понастроили себе шалашей и сторо-

жек и использовали любой удобный случай забраться дружной компанией подальше в горы — пожечь костры, подурачиться... Но однажды все это приелось, наскучило, отошло на второй план, нам захотелось чего-то нового и неизведанного. И покой был потерян: письменные столы оказались завалены нелепыми чертежами дельтаплана, все силы брошены на поиски необходимых и до отчаяния редких материалов, вроде легких алюминиевых трубок; всюду, где хоть чем-то можно было разжиться, мы настойчиво совали наши пронирыливые носы...

Впрочем, все это произошло позже, в будущем году. А тогда, спустя почти целое лето после похорон, мы с мамой вернулись в Сарылах. Ни отца, ни брата дома не было. Рабочий день еще не закончился, потому надо было бежать к новостройкам, чтобы сообщить о своем приезде и взять у отца ключ.

У пахнущего свежей древесиной каркаса будущего склада я лицом к лицу столкнулся с каким-то маленьким, загорелым, в пыли и опилках, совершенно заросшим и пристально глядящим мне прямо в глаза мальчишкой — «чистым Маугли», пользуясь маминой терминологией. В первую минуту я даже не понял, что это мой брат Ванька. Заметно подросший за лето, он молча и сосредоточенно смотрел на меня, тоже не сразу сообразив, кто я такой.

Пока нас не было, Ванька, даром что младшенький, стал тем еще бодовым парнем, как и многие из нас. Уже позже, предстоящим летом, мы приговорили одного такого к «испытательным полетам» на нашем дельтаплане — и он, нисколько не рассуждая, геройски выполнил приказ при полной, конечно же, предсказуемости и неминуемости итога. Но все это тоже было лишь впереди...

6. Весна!

Если зима не заканчивается слишком долго — стоит привыкнуть к зиме. Не к приятным или неприятным ее щедротам, а к завидному и неминуемому ее постоянству. Когда точно знаешь, что существенных перепадов температуры ждать неоткуда, что никакие оттепели-капли на дворе тебя не обрадуют, только тогда и начинаешь всеми фибрами своего теплолюбивого организма ощущать становую, бескомпромиссную специфику Крайнего Севера. Где-нибудь далеко на западе люди вольны высказывать самые разноречивые суждения о сроках наступления весны, но здесь, в Якутии, однажды наступал такой особенный апрельский день, прожив который, каждый старожил, ничуть не ошибающийся на тот счет, что еще вчера стояла лютая зима, вдруг проникался полной уверенностью в том, что именно сегодня окончательно и бесповоротно наступила весна.

Откуда такая точность? От солнца, разумеется! В этот день оно не просто делается ослепительным (что случается и зимой), не просто ярче и теплее светит, отныне, именно с этого дня, оно излучает еще и такую энергию, которую способно ощутить только человеческое сердце.

Когда смотришь на усыпавшие бесснежные пригревы горных подножий лиловые головки пострела, единственного в сарылахской округе символа весны, испытываешь примерно такое же чувство, какое, должно быть, владело мудрейшим из царей израильских, написавшим: «Вот, зима уже прошла; дождь миновал, перестал; цветы показались на земле; время пения настало...»

А ведь оно и вправду настало...

7. Новенькая

Однажды в полночь отец подошел к нашим с братом кроватям и негромко сказал:

— Ребята, вставайте. Идите смотреть на северное сияние.

Мы быстро оделись и выбежали на мороз, задрвав головы.

Зияющая тьмою полусфера, точно исколотая тончайшей иглой и мерцающая просачивающимся сквозь мириады звездных отверстий нежным голубоватым светом, была завораживающе великолепна. Северная сторона ночного неба была покрыта калейдоскопическими узорами зыбкого, будто дышащего, радужного свечения от чернеющего гигантской ширмой горного горизонта, с резко и одиноко нарушающей

его плавную линию вздымающейся сопкой, одаривая нас замысловатыми лучистыми сполохами, с непрерывными переливами, извивами, перекатываниями, то удлиняющимися, то укорачивающимися, то исчезающими, то вновь возникающими. . .

А на следующий день я впервые услышал о том, что завтра в наш класс должна придти какая-то новенькая.

— Ты уже знаешь?! Ты знаешь?!.. — наперебой кричали одноклассники, даже не подозревая, что внутри меня что-то вдруг вздрогнуло и снова замерло в томительном ожидании.

Оставшиеся уроки прошли в полном забытьи. «И в сентябрьский день погожий, и когда метет январь, школа, школа, ты похожа на корабль, плывущий вдаль. . .» — выводил я на затянувшейся репетиции школьного хора припев навсегда запомнившейся песни с дурацкой мелодией. Но сравнение с кораблем, на мой взгляд, было удачным, отражая не строгую, но показательную закономерность: чем меньше учеников в школе, тем больше признаков дружного и крепкого коллектива можно в ней обнаружить. В то время в нашей школе было около сотни учеников, а в моем классе — одиннадцать; переехавшие с родителями друг Сашка и светловолосая «кнопка» Лена, то ли однофамилица, то ли и вправду дальняя родственница той самой сказочной «Золушки» 1947 года, Янины Жеймо, были уже не в счет. При этом мне нередко приходилось играть роль лидера на смотре строя и песни 23 февраля или быть капитаном спортивных и кавээновских команд. . .

Вернувшись в тот день домой, я установил индивидуальный рекорд скорости выполнения домашних заданий для свободных от родителей помещений, весь оставшийся вечер посвятив улице и друзьям, не забывая о том, что за событие ждет меня завтра.

На следующее утро я даже пришел в школу намного раньше обычного, но мое рвение оказалось ненужным — новенькая не появилась. Ожидание становилось мучительным, день и ночь перестали уместаться в обычные рамки, но лишние сутки все же были почти прожиты, как вдруг. . . Незадолго до звонка, войдя в класс, я бросил взгляд на последнюю парту крайнего ряда — там сидела она: не худенькая и не полная, с раскрытым серым портфелем на коленях; белый фартук, стрижка «каре», волосы слегка волнистые, глаза глубокие, спокойные.

Нет, я не сравнивал образ своего наваждения с увиденным теперь — я просто знал, что это будет она, вот и все. . .

На первой же перемене кто-то спросил:

— А как тебя зовут?

И она негромко ответила:

— Маша.

8. Бабочка над океаном

На следующий же день новенькую вызвали к доске, а когда Маша рассказала отлично выученный урок — похвалили и даже поставили нам в пример. Стало ясно, что для меня настала пора всерьез задуматься и над собственной запущенной репутацией.

Наступило мое второе сарылахское лето. Родители собирались в отпуск на «материки», и к середине июня мы благополучно уехали. От тех каникул в памяти остались лишь зеленеющие бабушкины яблони, частые хлопки преодолевающих звуковой барьер военных самолетов, дворовый футбольно-теннисный бум да вызолоченные ржаные колосья, которые я собирал в последние летние деньки на вечернем поле за деревней перед самым нашим возвращением в якутскую осень.

Провожая лето, мы прощались не только с плещущимися морями теплолюбивой зелени, но и со всеми нашими летними безумствами. Впрочем, были еще и не подверженные сезонным изменениям, так сказать, универсальные развлечения, важнейшим из которых стало кино. Все великолепие новейшего синтетического искусства эпохи «Пиратов XX века», «Москва слезам не верит» и «Экипажа» исправно демонстрировал нам экран местного Дома культуры, где я, сопереживая герою, впервые посмотрел на редкость созвучный тогдашнему моему состоянию фильм «В моей смерти прошу винить Клаву К.». . .



В остальном же быстрое наступление холодов влекло за собой целый ворох грустных расставаний с летней вольницей. Но наша школьная жизнь была далека от заурядности. Монотонность учебного процесса прерывали многочисленные игры и конкурсы, праздники и турпоходы. А еще у нас была художественная самодеятельность. Маша, например, ходила в танцевальный кружок, которым руководила моя мама. Якутский танец в исполнении четырех девушек в золотисто-желтых костюмах со слегка расклешенным силуэтом, стилизованных под национальные, белой меховой опушкой, декоративной отделкой из тесьмы и разноцветных блесток, с характерными, украшенными бисером и позументом, повязками на головах был великолепен. Даже я был задействован в кружке — в шуточной кадрили, которую мы танцевали на пару с одноклассницей Оксаной. А еще были мини-футбол и баскетбольная секция, даже авиамодельный кружок... А в школьном дворе, прямо под окнами класса труда, стояли самодельные аэросани.

Но вот однажды по школе пронеслась весть, что из Красноярска приехал тренер по самбо; так что через несколько дней я в сшитом мамой белом кимоно оказался на первой тренировке в новом, еще источающем терпкий лаковый запах, спортзале: общее построение, слово тренера, бег, упражнения в движении, кувырки, разминка, показ и отработка страховки на матах, силовые упражнения... И так почти два года кряду, по две тренировки в неделю — вплоть до того времени, когда среди оставшихся двенадцати человек были проведены первые и последние соревнования по самбо на первенство школы, по итогам которых мне вручили диплом второй степени, дополнив его шикарным фотоальбомом «Киев». В финальной схватке я проиграл по очкам Илье Рысачеву: две передние подсечки против одной решили дело, хотя, не скрою, мне очень хотелось победить!

Вскоре после этих поединков тренер Журавлев уехал обратно в Красноярск. Дело свое он сделал — и навсегда остался в нашей благодарной памяти: небольшого роста, кареглазый, с прямыми черными волосами, узким, волевым лицом и атлетической фигурой — в общем, настоящий мужчина, умный, строгий и справедливый. Прощаться с ним было трудно...

В новом учебном году классным руководителем и учителем математики стала у нас Лидия Сергеевна — мама Маши, а мою маму назначили на должность завуча школы.

В ту пору под натиском любовного восхищения я уже не мог ничего более скрывать от предмета своей любви и написал Маше письмо, спрятав его в завалинке какого-то бесхозного помещения, после чего с подобающей многозначительностью уговорил брата передать ей записку с указанием точных координат послания. Горько, но в этот раз я потерпел сокрушительное фиаско — ни на какую дружбу Маша не соглашалась. Оказалось, я был далеко не единственным ее поклонником, но сдаваться не собирался...

Как-то воскресным зимним утром я вышел на искрящуюся безлюдную улицу. Слева от поставленного отцом турника россыпью лежали колотые дрова. Я стоял, глядя на них, и размышлял, что бы хорошего сделать для Маши прямо сейчас. И тут меня осенила гениальная идея... Я взял большой холщовый мешок, наполнил его дровами, погрузил на сани и, никем не замеченный, поволок их на юго-западную окраину поселка, к ее крохотному домику, где высыпал дрова неподалеку от крыльца, пополнив имевшийся небогатый запас, и побежал обратно.

На душе стало легче: теперь возлюбленной будет хоть чуточку теплее...

Так изо дня в день я убеждал себя не сдаваться, уже тогда осознавая, что любовь, родившуюся в детстве, можно сравнить с редкостной красоты бабочкой, летящей над океаном, чей век, увы, недолог...

9. Незабываемое

Трудно вообразить, чем была бы для нас школа, не проводись в ней всеми любимых вечеров отдыха, с их жадной вниманием, взаимности, любви и сдержанностью сомнений, неуверенности и стыда. Вечера предполагали несколько лишних глотков свободы, раскрепощения — и одного этого было достаточно, чтобы забыть о своих переживаниях и метаниях.

Особенно любимы были новогодние балы-маскарады, где меня можно было увидеть в костюме багдадского калифа, с чалмой на голове, в мягких, с немисливо закрученными носками, туфлях на ногах или в собственноручно сделанных доспехах картонного робота с покачивающейся антенной и разноцветно мигающими лампочками.

В один из таких вечеров, играя с малышкой в прятки, мы с Машей оказались в одной из аудиторий в самом конце слабо освещенного коридора, в котором искать нас, удачно схоронившихся за партами, уже никто не отважился, и через несколько минут за дверью все стихло.

Стоя у окна, освещенного светом, льющимся из высоких окон спортивного зала, мы смотрели друг на друга, тихо произнося слова, которые имели смысл только для нас двоих...

Минуты настоящего счастья не забываются. Помню, как я бежал сломя голову под гору по наезженной ледяной колее за новенькими санками, еще быстрее разгоняя их, бережно придерживая ее за плечи и испытывая примерно то же, что испытывает пассажир авиалайнера, попавшего в глубокую воздушную яму. Она смеялась и — о чудо! — благосклонно позволяла быть рядом, а я догонял ее, подхватывал сани и, не чувствуя усталости, лез наверх, чтобы снова повторить только что пережитое... А когда дурачества на перемене доходили до того, что она, спасаясь от лихорадочного преследования, быстро садилась на стул, закрывая лицо руками, то я — неизвестно по какому праву! — брал ее руки в свои, чуть разводил их и на несколько секунд прикасался ладонями к ее горячим щекам, вдруг ощущая, что познал ее всю, без остатка...

10. Чистые быстрины

До моего отъезда из поселка в наш класс пришло еще несколько новеньких — в большинстве своем это были дети украинских шахтеров. Один из них, Гера Лушко, прозванный Зайчиком, стал моим близким другом. В его характере подкупала искренность, мягкая непосредственность, веселящий симбиоз природного простодушия и ребячливой обидчивости. Эти его качества трогательно проявились после бесед классного руководителя о половом воспитании — даже после развенчания идеалов и объяснения того, как взаимодействуют в любви мужчина и женщина, Гера наотрез отказывался верить в такое приземленное объяснение любви, для него это было ужасным святотатством, тяжким оскорблением мужской и женской святости. Я пытался его разуверить, но ловил себя на мысли, что такой благородный идеализм импонирует мне, ведь в ту пору я был убежден в том, что если смогу поцеловать предмет своей страсти — цель и смысл всей моей жизни будут достигнуты, ничего более нам и не нужно...

Наступившее лето обещало быть незабываемым — нашей школе предложили турпутевки на одну из крупнейших и прекраснейших рек Азии, о которой в ломоносовском «Избранном» в ядовито-зеленой обложке, снабженном дарственной надписью «Юному пионеру от комсомольцев рудника. 29. X. 81», говорилось так: «Там Лена чистой быстринной, как Нил, народы напоят и бреги наконец теряет, сравнившись морю шириной», — и мою маму уговорили возглавить группу школьников-туристов.

Путешествие наше удалось на славу. Теплоход прошел в верховья Лены до Киренска, а в верховья Витима — до Бодайбо. Мы успели повидать не только знаменитые красоты великой реки, с ее лесистыми горными берегами, диковинными каменными «пальцами» и отвесами «щек», но и выдающиеся творения рук человеческих — от впечатляющей своей мощью Виллюйской ГЭС до кимберлитовой трубки «Мир», полной сияющих алмазов.

В плавании я прочел «Всадника без головы», но книжный романтизм, увы, никак не пересекался с жизненными реалиями — ни единого проявления чувств с ее стороны по-прежнему не наблюдалось. Я и не подозревал тогда, что мог ошибиться в простейшей и многократно проверенной формуле: «Я так любил тебя, что ты не замечала этого...»



11. О дружбе, бесконечной преданности и надеждах

Мы учились уже в шестом классе, когда на вновь написанное мной признание в мучительном и прекрасном чувстве Маша ответила снисходительным согласием разделить искренне предлагаемую дружбу. Теперь при каждой встрече мы могли довериться друг другу, могли даже просто молчать, глядя друг на друга... и все же во всех этих отношениях мне, который раньше и мечтать о таком не мог, чего-то определенно недоставало. А не хватало мне того, что Маша не могла обещать мне всего лишь одного, но единственно важного для меня тогда — бесконечной преданности.

Скоро мы с родителями должны были навсегда уехать из поселка. Незадолго до этого вместе с одноклассниками мы с Машей поднялись на вершину горы, чтобы в последний раз полюбоваться местными красотами. Каждому в компании вдруг захотелось поделиться чем-то сокровенным — и мы слушали друг друга, стыдясь и желая слушать дальше. Дошла очередь и до меня, — конечно, всем и без того было известно о моих чувствах и метаниях. А она... она с легкой беспечной улыбкой рассказала о том, что в разное время ей нравился то Вадик, то Денис, то я, то снова Вадик...

Скоро старенький автобус увез меня из поселка моего детства, а через несколько месяцев я получил первое и последнее письмо от Геры. Он поздравлял меня с Новым годом и рассказывал, как вместе с другими одноклассниками ездил на елку в Усть-Неру; упоминал, что Маша тоже должна была ехать, но не поехала, так как заболела, и Лидия Ивановна не отпустила ее; а потом они с Ильей Рысачевым и Женей Долгопрудной праздновали новогоднюю ночь у Маши, совсем одни. Еще он участливо спрашивал, почему я не пишу Маше, и доверительно исповедовался во внезапно вспыхнувшем чувстве к Евгению.

Я и не думал, что она ждет моего письма, но Гера разбередил мои надежды. Так я стал обладателем эпистолярия в добрый десяток бережно сохраненных конвертов, отправлявшихся мне уже не из Сарылаха, а из Магадана, куда спустя год моя возлюбленная переехала вместе с семьей.

12. Магаданские письма

«24 октября 1984 г.

Здравствуй, Юра!

Ты, наверное, удивился, когда получил конверт с обратным магаданским адресом. Да, мы теперь живем в Магадане. Немного опишу город.

Магадан — красивый, чистый, портовый город с крутыми улицами, очень своеобразными старыми и более привычными новыми домами. Областной центр. Здесь много разных кинотеатров и клубов. Есть плавательный бассейн. Обеспечение самое что ни на есть отличное. У меня здесь живут мои двоюродные братья. Они тоже учатся в восьмом классе, только в другой школе. Сергей и Андрей такие хорошие мальчишки! Они спортсмены, учатся без троек и у них сильно развито чувство юмора.

Женька со мной приехала в Магадан, а к началу учебного года уехала обратно. Мы с ней до сих пор дружим. Ее родители тоже собираются переехать сюда.

Я сейчас по письмам из Сарылаха знаю все их новости. Представляешь, в этом году они все словно взбесились. Отношения между мальчишками и девчонками самые плохие. Не знаю, чем это объясняется. Ведь еще недавно все вроде было нормально. К нам приехал новый мальчишка в седьмой класс. Сейчас он, конечно, уже не новенький. Цветкова и Петручак уехали, осталось пять девчонок и восемь мальчишек. Ольга Аркадьевна перешла работать в детдом. У наших новая классная руководительница — Людмила Степановна.

Когда я еще там жила, что только мы ни делали! Научились играть в теннис и резались на каждой перемене. Потом Геннадий Иванович устроил соревнования. Я заняла первое место среди девчонок, а Женька — второе. Из мальчишек — не помню...

Историю у нас преподавал новый учитель, Сергей Витальевич его зовут. С ним у меня часто были конфликты, вернее, это не назовешь конфликтами, не знаю, какое



слово подобрать. Например, на уроке я что-нибудь скажу смешное, все смеются, ну и он тоже, а потом:

— Сафьяникова, положи свой дневник ко мне на стол!

Вот так. Я своей вины, конечно, не отрицаю, но и он часто был несправедлив ко мне, это ему даже мальчишки сказали. Он напишет замечание в дневнике, а папа меня не отпускает гулять целую неделю. А вообще он неплохо вел уроки.

Ну а сейчас я учусь в *бандитской* (так говорят) школе, в самом ужасном классе — 8 “Б”. Учусь хуже, чем в Сарылахе. Буду заниматься волейболом, когда отремонтируют школьный спортзал. Мама ушла из школы и теперь работает по своей специальности — инженером-метрологом. К нам в гости здесь приходили девчонки, которые учатся в Магадане: Наташа Мамренко и Лена Воробьева. Фомин тоже хотел здесь учиться, но не получилось. Видела Королева Сашку, разговаривали с ним, его уже чуть не выгнали из места, где он учится.

Ну все. Передавай огромный привет Наталье Николаевне. До свидания. Пиши. Маша».

«9 ноября 1984 г.

Здравствуй, Юра!

У тебя почерк совсем не изменился. Знаешь, почему я долго не писала? Дело в том, что я отдала твой адрес Кате, не переписав заранее, а потом то не спрашивала, потому что забывала, то мы с ней были не в ладах. А в Магадане я перечитывала старые письма и нашла адрес.

Ты молодец, что ходишь на бальные танцы. Я всегда танцы любила. Я, как ты помнишь, тоже в Сарылахе ходила на танцевальный.

Лето я провела в Сарылахе. Мы научились с Женькой ездить на мопеде, а еще я ездила на мотоцикле. Почти всем мальчишкам понакупили мотороллеров и другой техники, мы и гоняли!

Что еще... Купались в Сарылашке, ездили за грибами, сделали себе брызгалки и с пацанами из младших классов бегали по всему поселку и брызгались, а потом и старшие мальчишки присоединялись. Приезжал Эдик, он совсем не изменился. А практику отработывали на строительстве каменного дома. Там тоже было столько развлечений!

Ты с Геркой переписываешься? Он этим летом в отпуске был и меня уже не застал. Вадька тоже был в отпуске, но меня еще увидел. Из девчонок не было Илонки и Маринки, а все остальные никуда не уезжали.

Юрка, ты знаешь, я поеду в Сарылах на выпускной. Очень хочется увидеть всех своих одноклассников и учителей. Пишут, что сейчас директором работает Алевтина Тимофеевна. Вот уже целую четверть я в Магадане, а в Сарылах все равно тянет.

Юра, напиши, хороший у вас класс или нет? С кем ты дружишь? Может, с девчонкой какой-нибудь. Я в Сарылахе ни с кем не дружила, хотя многие предлагали. Только вот с Вадиком немного, потом он уехал в отпуск, но писал письма. А здесь пока ни с кем. Я сама еще не решила.

Илья Рысачев тоже хотел в Суворовское училище поступить, но не прошел медкомиссию (у него зрение неважное). Так жалко... Тебе желаю обязательно поступить.

Как нравится там Наталье Николаевне? До свидания, Юра. Больше писать нечего. Маша.

P. S. Ты, Юра, пришли фотографию свою. Интересно, изменился за полтора года или нет. Хорошо? Я уже несколько раз собиралась сходить в фотоателье. В ближайшие дни схожу, наверное. Если хочешь, вышлю свое фото тоже.

(Что-то у меня структура предложений какая-то странная, правда?)

Да, еще забыла. Мы ходили на концерты Людмилы Сенчиной и ансамбля “Эргерон”. Может, знаешь такой ансамбль? Мне больше всего понравилось выступление “Эргерона”. Очень здорово! Ансамбль танцевал чукотские танцы и пел песни. А во втором отделении показали оперу-балет по М. Горькому “Девушка и смерть”.

До свидания еще раз.

Мария».

«27 ноября 1984 г.

Юра, здравствуй!

Жаль, что вы с Геркой больше не переписываетесь. А то я даже не знаю, что тебе писать о Сарылахе. Переписываюсь с троими, а новости все пишут одни и те же.

Вот у вас самый хороший класс по учебе и поведению, а у нас — самый плохой, *бандитский*. Но если присмотреться, то ребята ничего. Просто привыкли, что все ругают. Я теперь тоже хожу на танцы, вернее, в ансамбль народного танца, но мы, как и вы, танцуем самые разные, а не только народные танцы. Еще хожу на баскетбол. Недавно купили коньки, буду *фигурировать* на катке, мы же в Сарылахе гоняли на коньках только так, да с ледяных гор! Синяков было!.. Зато научились хорошо кататься.

Вот ты пишешь, что фотографию высылаешь, но я ее не вижу.

А моей фотографии даже у Женьки нет. Папа сказал:

— Пока не подстрижешься, не пушу фотографироваться!

Ему почему-то не нравится моя прическа.

Я ходила в театр на спектакли “Севастопольский вальс” и “На всякого мудреца довольно простоты”. Первый, оперетта, больше понравился.

Ну а зимой буду ходить на рыбалку с братьями. Они у меня теперь еще и волейболисты, не только пловцы.

Ну ладно. До свидания. Жду письма.

Маша».

«24 июля 1985 г.

Здравствуй, Юра.

Я очень рада, что ты мне написал. А еще больше рада, что у тебя дела идут хорошо: успешно окончил восьмой класс, хочешь поступить в Суворовское училище. Знаешь, я так жалею, что не родилась парнем. А экзамены я сдала так себе. В свидетельстве у меня по алгебре пятерка, по геометрии — пятерка, по русскому языку — четверка (у нас в роду с этим русским языком неладно, и у братьев по русскому тоже четверка). И еще у меня куча четверок. Съехала.

Напишу, чем я занимаюсь сейчас. В основном хожу на рыбалку и в походы с моими магаданскими родственниками. Где я только с ними не лазила!.. Недавно наловила в море штук двадцать окуней и одного ерша. Сначала боялась снимать рыбу с крючка, знаешь, она извивается, а если под жабры возьмешь — кровь брызжет; но потом понемногу привыкла.

Здесь очень красивая природа. Я собрала... гербарий не гербарий, а некоторые виды здешних цветов; только названий не знаю. Брат Саша скоро придет, он в институте учится — возможно, определит. Море не хуже южного, купались уже, но вода не очень теплая. В море живут такие морские животные — нерпы. Очень любопытные. Вытаращат глаза и смотрят на людей, хотя близко не подплывают.

В начале лета написали мы с братом вступительные работы во Владивостокскую заочную физико-техническую школу. По физике я совсем перестала соображать, и Сергей почти все сам решил. А по математике еще ничего. В течение учебного года ходила на танцевальный. Наш ансамбль много выступал. Получила второй разряд по пулевой стрельбе. Читаю книги Куприна, Тургенева, а в настоящее время — В. Пальмана, “Кратер Эршота”, про геологов, изучавших Север.

Я тоже по Сарылаху скучала, когда уехала. Сейчас уже не так. Переписываюсь с некоторыми. Приезжали в гости весной Женька, Павлик... Он привез фотографии ребят из класса — все такие взрослые, только Муртазик среди них шпингалет какой-то. В Сарылахе будет девятый класс. Из нашего насовсем уехала пока только Настя Глоденко. Еще приезжал Илья. В Нере ему нравится учиться: он занял четвертое место на республиканской олимпиаде. Его приглашали учиться в Новосибирскую физико-математическую школу (где Эдик Кургинин учится), но он что-то не хочет. Ты спрашивал про Гогу. Учится в Москве, а Ольга Аркадьевна, как ты уже знаешь, живет в Нере. Когда я еще жила в Сарылахе, он на лето приезжал. В этом году не ездила в Сарылах, надо в девятом классе съездить.

Конечно, в одном письме не охватишь все новости, да и забываются.



Я недавно сфотографировалась, но фотографий уже не осталось. Если бы переписка не прервалась, ты бы увидел, как я изменилась.

Юра, спасибо тебе за стихи. Я, правда, стихами не увлекаюсь, но вот:

Увы, постоянство теперь не в цене,
Увы, не в цене обещанья.
Нас ветром разносит по этой земле —
Какие уж тут прощанья...
Не прощаясь, уходят из жизни сей,
Не прощаясь, выходят в люди...
Только в детстве мы встретили старых друзей,
И новых старых не будет.
Пусть нас оправдают хоть тысячу раз,
А мы уж себя непременно,
Но старых друзей все меньше у нас
И новые им не замена...

Это строки из песни. И еще, я давно уже прочитала стихотворение одно, и запомнились строки:

Если верный конь, поранив ногу,
Вдруг споткнулся, а потом опять,
Не вини его, вини дорогу
И коня не торопись менять.

Это Расул Гамзатов, «Берегите друзей».
Все. До свидания.
Маша».

«15 октября 1985 г.
Здравствуй, Юра.

Я не сразу пишу ответ, потому что не могу разобрать в твоём письме некоторые слова, непонятно написано. Ты знаешь, я рада, что ты не унываешь по поводу непоступления. Это, конечно, не самое главное. Главное — упорство. К примеру, Илья Рысачев... Как я удивляюсь его упорству! У него же способности небольшие, а берет он трудом — недавно все-таки поступил в Новосибирскую физико-математическую школу. Вадька тоже ездил, но не поступил, хотя голова у него универсальная. Но ты же знаешь, какой он баламут.

В нашем сарылахском классе осталось восемь человек. Уехали Настя Глоденко, Пашка Донец, Денис Белоусенко. Муртаз Габашвили ушел из школы. Андрей Гарусин учится в Магаданском политехникуме на маркшейдера. Часто приходит к нам. Он увидел тебя на фотографии и говорит:

— Ничего себе, как вымахал!

Кстати, спасибо тебе за фото. Ты, Юрка, не изменился, только повзрослел.

Я тебе вроде писала, что летом работала. Июнь-июль отдыхала (ходила в разные походы и на рыбалку), а в августе пошла работать в областную библиотеку, в секцию обработки, но мы больше ездили на сенокос и уборку турнепса. Мне та-ак понравилось! Косили серпами, а потом, когда наставало время погрузки сена, мы залезали на машину и прыгали. Какая же красивая северная природа! Здесь, в Магаданской области, она разнообразнее, чем в Оймяконье.

Еще работала в школьном тире, мы там красили и белили. Заработала 120 руб. Такая довольная!

Сейчас на улице холодно, хотя светит солнце. Осень что-то в этом году длинная. Недавно падал поздно вечером первый снег, но сразу растаял.

Наш класс тоже ездил на картошку, но не так долго, как вы.

Ты хочешь поговорить на тему класса. Вот я тебе про наш класс расскажу. Когда я приехала, у меня чуть волосы дыбом не встали. Я привыкла видеть в классном коллективе единое целое, а тут, прости за выражение, оказалось такое дерьмо... Я, конечно, не хочу сказать, что все люди были такие, но гадость, она прямо процве-



тала и заслоняла все хорошее, особенно у девчонок. А парни — они ничего, хорошие. Но девчонки своим поведением испортили парней. Сейчас вроде бы все налаживается, становится лучше. Даже намного лучше. Класс сдружился, устраняется равнодушие. Вот так. Я думаю, что наш магаданский класс будет со временем настоящим.

Что у нас интересного проходило... Был осенний бал. Там каждый класс представлял сказку на новый лад. Мы отличились на этом конкурсе (в хорошую сторону). Потом был День учителя, который превратился в день самоуправления, был концерт для учителей, наш класс танцевал кадрили — самый лучший номер (кстати, ты не забыл нашу кадрили сарылахскую?). Проходят дискотеки...

Хожу на многие факультативы, на баскетбольную секцию (но не серьезно), скоро опять будет танцевальный и моя любимая стрельба. В этом году постараюсь все-таки выполнить на первый разряд.

А Юлианочка моя уже догоняет меня. Ей бы парнем родиться с ее характером.

Ты спрашиваешь, можешь ли ты рассчитывать на откровенность — конечно! Пиши, что тебя волнует, что ты хочешь спросить.

А в конце я напишу отрывок из Твардовского, он не лирический, но очень мне нравится:

А всего иного пуще
Не прожить наверняка —
Без чего? Без правды сущей,
Правды, прямо в душу бьющей,
Да была б она погуще,
Как бы ни была горька.

До свидания.
Маша».

«24 декабря 1985 г.

Здравствуй, Юра!

Поздравляю тебя с Новым, 1986 годом. Желаю, чтобы все твои мечты и желанья сбылись. Пусть этот год будет для тебя интересным и веселым. И еще желаю, конечно, здоровья, успехов в учебе и спортивной жизни.

Маша».

«12 февраля 1986 г.

Здравствуй, Юра.

Я очень рада за тебя и твои успехи. Моя мама тоже. Я в этом году отказалась участвовать в олимпиадах, потому что чувствую, что не смогу. Полугодие окончила так себе. Кстати, у меня с химией тоже неладно. Но ты поднажми, ведь только один предмет!

Ты прав, Юра, я твою писанину не очень разбираю, хотя стараюсь изо всех сил.

Я не помню, писала ли тебе о городском КВН между командами, составленными из учащихся школ и ПТУ. Наша команда победила, очень было интересно. Мы подружались с парнями из ПТУ; очень хорошие мальчишки, мы с ними встречали Новый год. Мне очень понравилось. До девяти часов утра праздновали, а потом заснули мертвым сном. Парни хотят создать ВИА, но существуют, естественно, некоторые трудности. Юра, а ты помнишь Равиля? Он учится в Магадане в том же училище, что и мои друзья. Говорили, что он видел меня на сцене, узнал, но я его не видела.

Продолжаю ходить на танцевальный. Выступаем, готовим новые танцы. Особенно мне нравится украинский. Там мальчишки такие трюки выполняют, которые я только по телевизору видела.

Ты знаешь, я всегда и всем в письмах обещаю фотографию, но почти никогда не шлю.

Предлагаю такой шуточный рассказ собственного сочинения. Обрати внимание, все слова с одной буквы:



“Поохотились.

Предисловие.

Петр Петрович Петров — похититель птицы.

Пунцовый пудель — помощник похитителя.

Перепелица — похищенная птица.

Параграф первый.

Пошел П. П. П. поохотиться. По пути П. П. побегал пес. Пес, похоже, принадлежал породе пунцовых пуделей. Поймал П. П. при помощи пунцового пуделя птицу. Прозвали птицу перепелицей. Потом, посоветавшись, порешили после похода пообедать. Поначалу птицу-перепелицу подпалили. Потом положили под подушку.

Птица протухла.

Параграф последний.

Пудель протяжно плакал”.

Спасибо тебе за стихи. Они мне очень нравятся!

До свидания.

Маша.

Р. S. Ты знаешь, Юра, у меня не выходит из головы: мой партнер, ему только 17 лет, он раньше был скалолазом, у него было пятнадцать лучших друзей из группы, а сейчас осталось только восемь. Четверо погибли в Афганистане, а трое прямо на его глазах разбились, когда по горам лазили. У самого что-то с позвоночником и полголовы седые... Такой молодой, но столько увидел... Так мне его жалко. Знаешь, он такой добрый...

Еще раз до свидания».

«3 ноября 1986 г.

Здравствуй, Юра!

Поздравляю тебя и всех твоих родных с праздником Великого Октября!

Желаю счастья, отличной учебы и работы, а главное — крепкого здоровья. Приезжайте в гости. Наверное, уже забыли настоящую северную зиму?

К моим пожеланиям присоединяются родители.

Маша.

Р. S. Юра, извини, очень задержалась с ответом, скоро напишу».

«4 декабря 1986 г.

Здравствуй, Юра!

Давно уже получила твое письмо, давно хотела написать ответ на это необыкновенное послание, но боюсь, что в таком же стиле, как у тебя, не получится. Так что не обессудь, читай самое обыкновенное письмо.

Во-первых, я очень рада за твои отличные успехи в школе, желаю и десятый класс окончить не хуже. Благодарю за стихотворение. Извини, а ты сам не сочиняешь стихи? Я вижу, что ты очень изменился, только не пойму, как именно — повзрослел, наверное? Я тоже уже не та, кого ты помнишь — этот год многое изменил во мне. Появились новые друзья, очень хорошие. Наш ансамбль часто выступал, ездил на гастроли до Сусумана, давал концерты на приисках вдоль трассы. Ребята, наши партнеры, учились в училище. Почему учились? Сейчас почти все служат в армии. Хорошие парни, со всеми теперь поддерживаем связь. Но самым близким и дорогим для меня стал один. Леня сейчас тоже служит, он уже полгода во Владивостоке учится на радиотелеграфиста. Совсем скоро его группу уже отправят на корабли.

Учебный год я начала неплохо.

Сначала ездили в колхоз на уборку турнепса. Дождь льет, а мы — мокрые насквозь, жалкие, все собираем и собираем... В школе соревнования различные проводятся, конкурсы, День учителя прошел — везде надо принимать участие, готовиться. Словом, как хочешь, так и выкручивайся.

Хожу на подготовительные курсы в филиал Хабаровского политехнического института. Устаю очень с этой учебной.



Сегодня от Вадика Билокова письмо пришло. Учится в Новосибирске, в ФМШ. Он серьезнее стал, точно знает, что будет делать дальше. И тоже вспоминает Сарылах как что-то хорошее, светлое.

Женька на Украине в железнодорожном техникуме учится. Приезжали к ней Денис и Шурик (не помню, знаешь ты его или нет), они тоже в Донецкой области. Муртазик в Вооруженных Силах СССР продолжает жизнь. Представляю его в солдатской форме — и смешно, и грустно. Смешно, потому что он мне запомнился таким неуклюжим человеком, который любил подучащаться. А грустно, потому что жалко, что детство проходит.

Знаешь что, Юра, я вот уже Женьке, Маринке (надо еще Вадьке) написала такую идею: давайте в девяносто втором году встретимся всем классом, как раз уже институты окончим, будем вполне самостоятельными людьми. Но для этого нужно сейчас не терять связи друг с другом. Ты представляешь, как здорово, Юрка! Даже чуть-чуть помечтать — радостно становится, а если и осуществить!.. Ты подумай, напиши.

Жизнь у меня сейчас какая-то не очень стала, если сравнивать с девятым классом. Зато нужная — очень много времени учебе уделяю, да еще театр, книги, танцевальный, дискотеки. Юра, ты слышал “Звезду и смерть Хоакина Мурьеты”, музыкальное произведение по роману Пабло Неруды? Ты знаешь, если не слушал — обязательно познакомясь.

Томительный, палящий день
 Сгорел; полупрозрачна тень
 Немного сумрака приосеняла дали.
 Зарницы бегали за синею горой
 И, окропленные росой,
 Луга и лес благоухали.
 Луна во всей красе плыла на высоту,
 Таинственным лучом мечтания питая,
 И, преклонясь к лавровому кусту,
 Дышала роза молодая.

Это Д. Давыдов, “Вечер в июне”.

И в самом конце уже не от Давыдова, а от меня (стихи не мои, но мысли чем-то близки):

Никого не люблю — только ветер один,
 Да ночлег под телегою в поле,
 Только ветер один с черноморских равнин,
 Да веселую вольную волю.
 Да в широкой степи одинокий костер,
 Да высокие звездные очи,
 Да на шали твоей молдаванский узор,
 Да любовь — летней ночи короче!

До свидания. Пиши.
 Маша».

«21 декабря 1986 г.
 Здравствуй, Юра!

Поздравляю тебя с самым замечательным праздником Новым годом! Желаю тебе всего самого наилучшего: счастья, здоровья, успешно окончить школу и поступить в вуз. Этот год будет очень важным в твоей жизни, так пусть он принесет много радости и много новых друзей.

Поздравляю с праздником твоих родителей.
 Мария».

Больше мы с ней уже не переписывались. Не было сил даже мысленно задаваться безнадежным вопросом, полюбит ли она когда-нибудь меня.



13. Мария Сафьяникова, или Как я прошёл мимо розы

Но надежды мои не умерли мучительно, они всего лишь заснули летаргическим сном, и через пять быстротечных лет моей юности, перед Рождеством 1992 года, я, молодой лейтенант топографической службы, начальник расчета 176-го топогеодезического отряда, дислоцированного в городе Иваново, неожиданно получил письмо с незнакомым обратным адресом и незнакомой же фамилией отправителя:

«Здравствуй, Юра!

Поздравляю тебя с Новым годом! Мы не виделись, наверное, лет десять, и мне интересно, какой ты стал, чего добился за это время... Мне почему-то кажется, что очень многого. Я была на каникулах в Магадане. Как-то вечером вспомнила Сарылах и перечитала все письма. Конечно, особенно заинтересовало твое поэтичное последнее письмо. Может, ты помнишь?.. И вот я набралась смелости ответить небольшим посланием.

Немного о себе. Я учусь в Санкт-Петербургском техническом университете (бывшем Ленинградском политехническом институте) на физико-металлургическом факультете. Специальность мне не по душе, думаю перевестись на другой факультет, хотя это и не просто.

Город, в котором я живу, прекрасен, я не устаю им восхищаться.

У меня есть сын. Он еще маленький, полтора года, но очень смысленный. Любит порядок и любит командовать. Меня нередко называет просто Машей, как подругу. Алеша похож на меня, и я его очень люблю.

Здесь я встретила много интересных людей, но, наверное, самое светлое воспоминание останется о детстве, проведенном в Якутии. Я все очень хорошо помню. Думаю, что все наши одноклассники мало изменились, но очень интересно, чем они сейчас живут? Знаю, что Женя Долгопрудная на Украине, у нее есть муж и дочка. Марина Истратова никак не могла поступить, живет в Сарылахе, Илона Баркан тоже там. Вадик Билоков не доучился и тоже в Сарылахе работает.

Может, ты, Юра, больше знаешь о них, наших одноклассниках?

Когда моя мама узнала, что я тебе собираюсь написать, передала большой привет тебе и твоим родителям — для нее Сарылах одно из светлых пятнышек жизни. От меня привет и поздравления твоей семье, особенно Наталье Николаевне.

Надеюсь, что ты мне ответишь.

До свидания.

Мария Куландина (Сафьяникова)».

Я был не просто взволнован — ошарашен! И не столько воспоминаниями о былых надеждах, сколько досадой от глупой насмешки судьбы — ведь я тоже все эти годы учился в Ленинграде.

Мог ли я не ответить ей после того, как сущей правдой оказались лермонтовские строки о том, что «женщина забыть не может того, кто так любил, как я»...

Письмо стало для меня толчком, которого было достаточно, чтобы внезапно и враз изменить всю свою жизнь: я уволился из армии, развелся с женой, поступил на философский факультет МГУ, поселился в общежитии на Литовском бульваре в Ясенево и вступил в новую переписку с Машей, которая продолжалась до тех пор, пока однажды я не получил телеграмму с приглашением на завтрашний телефонный разговор с Санкт-Петербургом.

... Маша говорила о том, что не узнает моего голоса. Что гостит сейчас у каких-то друзей за городом, что у нее есть возможность приехать завтра в Москву. Спрашивала, не мог ли бы я встретить прилетающую утром в Домодедово маму, Лидию Сергеевну... Но, увы, я уже собрался в гости к своему дяде в Белоруссию, у меня на руках был билет на вечерний поезд до Минска, так что... вместо того чтобы, забывшись от счастья, предложить всего себя в распоряжение любимой женщины, совершенно не к месту я стал говорить о сложившихся обстоятельствах. И слова о том, что мы обязательно должны встретиться в ближайшем будущем, что я еще собираюсь о чем-то ей написать, стали уже никому не нужны. При этом я будто боялся признать себе в том, что история наших отношений закончилась не сейчас, а гораздо рань-

ше, что она не требует никаких дополнений или поздних поправок, что дважды в одну и ту же реку не войдешь... Я вдруг понял, что той Маше больше нет, что в этой жизни ее место больше никем не будет занято. Я понял, что у этой истории останется навсегда открытый финал: «У любви есть слова, те слова не умрут. Нас с тобой ожидает особенный суд...»

Думаю, что и Маша догадывалась об этом, процитировав мне однажды:

«Когда б в покорности незнанья
Нас жить Создатель осудил,
Неисполнимые желанья
Он в нашу душу б не вложил,
Он не позволил бы стремиться
К тому, что не должно свершиться,
Он не позволил бы искать
В себе и в мире совершенства,
Когда б нам полного блаженства
Не должно вечно было знать».

Эти трогательные строки она прислала в своем последнем письме. Еще там было вот что:

«Твоя откровенность дает мне право опять написать тебе, Юра. И если бы я этого не сделала, то потеряла бы что-то очень важное...

Я хочу поблагодарить тебя за твои чувства ко мне, которые меня спасают. Но как глупо я это написала! И чем я могу ответить?.. Отсутствие решительности — моя главная отрицательная черта. Не сердись, не злись на меня, но я всем сердцем привязана к тебе!»

14. Прикосновения

Как и было обещано, позже я писал ей и в Петербург, и в Магадан, но тщетно — ответа не было. Да и не должно было быть...

Но однажды на мою телеграмму пришла ответная, в которой был указан номер телефона с припиской: «Звони. Мария».

Мы встретились спустя двадцать четыре года в зимнем Санкт-Петербурге. Гуляли... Вспоминали...

В какой-то момент я со вдохновением заговорил о том, что хотел бы снова побывать в Сарылахе. Маша внимательно слушала меня, но почему-то молчала. А перед нашим расставанием, подарив мне свою любимую детскую куклу, тихо сказала:

— Не надо возвращаться туда, где ты был так счастлив.

Через несколько лет она организовала встречу одноклассников по Сарылаху, к тому времени уже ликвидированному и закрытому, в доме своих родителей, живших в южном Подмоскowie. Приехало десять человек, включая Машу с сестрой и двух наших бывших педагогов.

Потом она переехала жить из Петербурга в Москву. В следующем году скончался ее отец. А еще через некоторое время я узнал от родной тетки, что Маша снова вышла замуж — за Вадима Билукова, того самого сарылахского *баламута*.

Вот, наверное, и все.

На моем столе лежат ее письма, увеличительное стекло и старые коробки с частично вывезенной из Якутии палеонтологической коллекцией. В большинстве своем это плоские серые камни с четкими отпечатками ракушек, моллюсковых раковин, причудливыми элементами растений — но на них нет и следа насекомого: ни четверти крылышка, ни тоненькой угловатой ножки. И чем сильнее я всматриваюсь в них, тем отчетливее ощущаю цепкие, щекочущие прикосновения на моем плече...

Но боюсь обернуться.

Андрей РАСТОРГУЕВ

«БЕЛЫЙ КИТ» И ДРУГИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

БЕЛЫЙ КИТ

*В Тихом океане живёт одинокий кит.
Зовя собратьев на неслышной для них частоте,
он никак не может встретиться с ними...*

Интернет-легенда

Почта электронная твердит:
бродит в океане белый кит —
вдалеке от суеты портовой
фыркает и в дыхало гудит.
Песня есть у этого кита,
да не та у песни частота —
без ответа родовой китовой
даль пуста и глубина пуста. . .

Вот когда промолвишь: никогда.
Стынет океанская вода.
Выбросится на берег в пустыне,
канет ли в пучине без следа?..

Так и мы не угадали код
в чередке космических частот,
но, равно казанской сиротине,
стоит ли тревожить небосвод,
если человека от кита
отличает даже немота,
а иным даровано доньине
чуть слово уголками рта?

* * *

Хладнокровно по неровному
ходу времени прими:
очень скоро поголовно мы
станем белыми людьми.



Матерелого по волосу
опознать нетяжело,
если даже стрижен налысо
или выбрит наголо...

Но пускай метелью ветреной
завивается февраль —
под макушкой серебряной
сердцевина золота ль?
Порываясь в люди вылезти
и душой не заболеть,
все ль нашли довольно извести,
чтобы совесть отбелить?

Может, на отцовском опыте,
точно смытую печать,
и потомку гниль от копоти
пригодится отличать...

БАЛЛАДА О ВЫСШЕЙ РАСЕ

Слову поверь или телом пойдя проверь:
серая крыса — очень серьёзный зверь
и по уму-приплоду, и потому,
что человеку сроду несла чуму.
В гущу былых историй и глубину
нынче добавить стоит ещё одну...

Был старичок воистину молоток,
чей мозжечок придумал электроток.
Лампу зажечь — не штука, но в свой черёд
жизненная наука пошла вперёд.
Знание лакомо, и червячок догрыз —
вслед за собаками дело дошло до крыс.

В панцирной сетке — лапою не достать —
рядом две клетки, под коготками сталь.
По алгоритму, с толком, не для утех
этих шибали током, кормили тех —
до одуренья, власть... От чужой беды
каждая пятая в пасть не брала еды...

Автор эксперимента реально крут —
был до сего момента лишь первый круг.
Хоть и кормил обедами от щедрот,
а сердобольным не дал продолжить род.
Месяцы пробежали, что дни прошли —
прежних изъяли, новые выросли.

Заново, не при детях и без помех
током пытали этих, питали — тех,
пристально и проворно вели подсчёт,
скольким сегодня горло кусок печёт.
Но без итога всяк понимал на глаз:
меньше намного, чем в предыдущий раз...



Пять поколений переменились — вжик!
 Пять преступлений на душу взял мужик,
 и на шестом обеде по простоте
 корчились эти — истово жрали те
 красное мясо и золотую рожь:
 высшая раса — жалости ни на грош.

Можно ударно, коль поперёк и вдоль.
 Здравствуйте, Дарвин! Сдохни опять, Адольф!
 Тени забились тьмою в глуби земли,
 прежние скрылись — новые выросли.
 А от эксперимента и палача —
 только легенда, байка военврача...

Эти, терпите — и отъедайтесь, те!
 Я не любитель разных моралите,
 да напоследок стоит хоть парой фраз,
 вышел ли прок и с тою из высших рас...
 Вроде ясна дорога, судьба пряма.
 Сгрызли друг друга, выжили из ума...

БАЛЛАДА О СТАРОМ КАВАЛЕРИСТЕ

*С благодарностью солдатам 1941-го
 и поэту Екатерине Полянской,
 рассказавшей эту историю*

I.

Повадкою он был исконный конник:
 для дам — гусар, в седле — кавалергард,
 ученикам воинственный законник
 и кавалер заслуженных наград.
 Одно лишь седовласому вояке
 мешало походить на идеал:
 зрачок — и на свету, и в полумраке —
 вблизи дверной глазок напоминал.

Но то вблизи, в беседе откровенной,
 а откровенность он не привечал,
 малинною порой послевоенной
 из женщин никого не отмечал.
 И в мае, лишь разноголосый птичник
 пробудится опять от вешних брызг,
 девятого садился в амуничник —
 и напивался вдрызг...

II.

Ещё победный день благоговейно
 не отделяли мы от суеты.
 Он жёг его бутылками портвейна
 и пристально глядел на хомуты,
 но о войне — ни слова, ни полслова,
 трезвея к наступающему дню...



Он начинал в кавкорпусе Белова —
с клинками наголо да на броню.
Взаправду ли на танки конным строем,
легенды врут, а книги подвели:
молчал Белов, прославленный героем,
молчат его бойцы из-под земли.
И выживший молчал. А что хотели?
Не из ума — из боя в медсанбат...

Он продолжал войну в особотделе.
— Желаете ли?.. — там не говорят.
А вот приговорят по высшей мере,
верховному из признанных долгов.
Там воздаётся каждому по вере,
глазасты металлические двери...
Он верил, что стреляет во врагов.

Как сам он докатился до расстрела,
не спрашивай — ни ветки без сучка...
Он в камере до самого рассвета
глаз не отвёл от жёлтого зрачка
и в собственном зрачке до чёрной точки
запечатлел, белея головой,
не загремел пока у одиночки
подковками проспавшийся конвой...

III.

Мы пятна и на Солнце смоем — нате:
за этим нас и мама родила...
Помилован, он воевал в штрафбате —
на пулю шёл, да пуля не брала.
Но в свой черёд исправно окровавлен —
прошла на волосок от главных жил,
из госпиталя в конницу отправлен
и там довоевал, и дослужил.

И, в правоте воистину неистов:
— Всё починить и вычистить к утру! —
в манеже распекал кавалеристов,
как ранее на воинском смотре.
Рассказывал в застольях анекдоты,
а точкою зрачковой — начеку...

Однажды лишь расслабился когда-то —
открылся одному ученику.
А более ни слова, ни полслова —
ни к школьникам, ни к Вечному огню...

Как рассказать о конниках Белова,
клинками атакующих броню?
Поведать занимательную повесть —
узнайте, мол, ребята, что почём —
как на войне он вкалывал на совесть
без жалости судьёй и палачом?
Прихлёбывая чая-кипяточка,
порассуждать над братскою плитой,

чьей волею осталась запятой
земным огнём обугленная точка?

О ржавые края военной жести
плоть изодрав и душу занозя,
он знал такое смертное о жизни,
что никому рассказывать нельзя.

* * *

Прервав за лёгкой сукою побег,
тяжёлый пёс хватает свежий снег —
и вьётся снег над восхищённым зверем.
И зверь смеётся, точно человек,
хотя его немилосердный век
лишь детству человечьему сомерен.
И заново мгновенье погода,
неугомонный дух переведа,
пускается в любовные погони...

Ты, словно неразумное дитя,
его избаловала не шутя,
прикармливая с ласковой ладони.
Но я и сам, хотя не потакал,
порой готов подняться к облакам
в земной недолговечной оболочке.
Покуда не укрылся ковылём,
то лебедем лечу, то кобелём
скачу на поводке или цепочке.

* * *

Не по разуму и возрасту,
с белой завистью подчас,
я тебя ревную к воздуху,
обнимающему нас,
потому что в обещание
повторить к исходу дня
лобызаешь на прощание
ты его, а не меня —
поутру, мол, не подначивай,
губы алые не трожь....

Может, как-нибудь иначе, а,
макияж побережёшь?

* * *

Сотни вёрст — не поле перейти
и не сбегать за угол в аптеку.
Надобен для дальнего пути
повод и коню, и человеку.
Дедовский состарился обряд —
новым ладом не перетолкую.
Молодые свадьбы не творят —
сходятся-расходятся втихую.



Без меня случаются пока
новые крестины-годовщины —
буднями в родные палестины
не наездишься издалека...

Да не только в праздничные дни
я земли своей не забываю —
по обыкновенью у родни
на последних проводах бываю.
Воссоединение семьи —
естество земное, а не прихоть...
Здравствуйте, родимые мои!
Не давайте повода приехать.

* * *

Когда все краски мира в бездну канут
и я верну использованный дар,
не удаляйте сетевой аккаунт
и сохраните прежний аватар.

Не заносите в траурные нети,
не рассылайте жалостную весть —
пока мы есть в безмерном интернете,
мы вроде и на белом свете есть.

Пускай земной лицензии Касперский
ведёт неутешительный отсчёт,
пускай вода упавшее толчёт —
не все безмолвны надписи и фрески...

На что нам уповать на вечном фоне
людей и стран, народов и миров?
А я и в обновлённом телефоне
былых не убиваю номеров.

* * *

Нынче такая жара —
голуби падают с неба.
Даже когда вечера,
хочется свежего снега,
да не с январских полей —
на щеку тыщами острий,
и не с больших тополей,
нащекотавшего ноздри...

Путает головы зной —
и не пьяны, а поёны,
а через порох земной
лезут на свет шампиньоны,
напоминая: привет,
полной погибели плоти
в солнечном круговороте
нет — хоть и вечности нет...

* * *

— Ну, барин, — закричал ямщик, —
беда: буран!

А.С. Пушкин, «Капитанская дочка»

Снова ветер в степи заиграл —
бьёт зарядами пуще свинчатки...
Этот фронт перешёл за Урал
и, похоже, дойдёт до Камчатки.

В Таре-городе северный лес —
снег его прошибает не сразу,
а южной, говорят, МЧС
перекрыл заметённую трассу.

Здесь дрова запалывают в печах
отогреться, а не для потехи.
И почудилось: в Омске — Колчак,
и восстали опять белочехи...

А ветрище идёт на таран
и трясёт жестяную обитель,
и забытое слово «буран»
обновляет губами водитель.

* * *

Иные книги нынелетние,
нам возводимые в закон,
напоминают: мы — последние,
кто пишет русским языком,
рябые рыбины подлёдные,
огнеупорные кроты,
седые птицы перелётные,
свалившиеся с высоты...

Не коршуны, но и не голуби,
из-под земли или воды
мы пробиваемся сквозь проруби
и потаённые ходы.
И как дыханье ветряное,
глотаемое сгоряча,
нам слово однокоренное,
понятное без толмача.

Алексей СМИРНОВ

ХИЩНАЯ ОТТЕПЕЛЬ

П о в е с т ь

От издательства

Рукопись, оказавшаяся в нашем распоряжении, не могла быть опубликована в первоначальном виде. Издательство сочло необходимым оговорить это обстоятельство по той причине, что приглашенный автор, имя которого останется коммерческой тайной, положил документальные материалы в основу самобытного повествования, применив, таким образом, художественный прием, оправданность которого целиком лежит на его совести. Многие в тексте мы вымарали, расставили знаки препинания, исправили орфографические ошибки, а после вычеркнули вовсе. Но мы закрыли, к примеру, глаза на тот факт, что героиня никак не могла быть свидетельницей ряда событий, о которых — как может показаться из текста — рассказывает лично.

Хотя издательство не понимает причин, по которым Следственный Комитет передал рукопись в наше полное распоряжение, ибо расследование продолжается и конца ему не видать, мы выражаем признательность этому уважаемому органу.

Из пресс-релиза Следственного Комитета

«... Следствием установлено, что Вонина Павлина Пахомовна на протяжении ряда лет злоупотребляла своей должностью в хозяйственном ведомстве Министерства обороны. Вонина, занимаясь продажей собственности министерства самому министерству по ценам, во много раз превышавшим установленные, предварительно выкупая эту собственность по ценам заниженным и снова от имени министерства...»

*... он рассказал что там у них внизу
есть галерея лиц и эти лица
висают с веток в призрачном лесу
как сон который никому не снится*

Алексей Цветков

Глава 1. Кислород Чикатило

... Вонина то, Вонина се... Всех собак повесить на Вонину.
Вонину запереть.

Я, конечно, перемудрила. Я сама себя вывела из правового пространства. И даже из географии. Моего дома нет на карте. Да и всего района там тоже нет, хотя это центр города. Юридически ни района, ни дома не существует.



Мне очень жалко себя.

Я большая, во мне сто четыре килограмма слоеного мяса. У меня опрелости. Еще начинается диабет. Я смотрю на себя голую в зеркало и понимаю, что совершенно беззащитна. Такая большая, и делай со мной... что хошь. Слезы ручьем, когда оглаживаю загривок — ну и загривок, и пусть, и что! И подбородок. Первый, второй, следующий.

Я подрагиваю от страха и горя. Разве спасут меня четырнадцать комнат?

Я прячусь в туалете. Сажу там, потею. Свет не горит. Телевизоры мертвы. Пахнут кашей и кислым бельем. Мне спускают разные крупы, молоко, хлеб. Я высовываюсь в окно и дышу свежим воздухом. Раз в день, в один и тот же час, — больше не разрешают. Я забираю корзину и одновременно дышу. Еще я слышу, как стрекочет вертолет. Это по мою душу. И где-то воют сирены — это уже по чью-то чужую.

Было так: «Дженин туфлю потеряла. Долго плакала, искала. Мельник туфельку нашел и на мельнице смолот». Мне снилось, будто я это читаю вслух. Вроде бы я, но в то же время не я. Деточка какая-то стоит на стульчике, в бантик наряжена. Херувим в локонах. Утренник в детском саду, и вокруг — никого. И деточка я тошнотная.

Где тот стульчик? Теперь у меня трон. Подарок Сарафутдинова. Он у кого-то изъят и доставил в полночь, с боем часов. Не поленился, все сделал сам. Перетянул атласной лентой поверх розового букета, шофера отослал, принес лично. Сарафутдинов не малого роста, да и не мальчик: одышка у него, солидный живот; но трон еще больше, Сарафутдинова было не видно за ним, только слышно. Как будто это сам трон дышал, тяжело и с присвистом. Не то от натуги, не то от страсти.

Я оделась в бальное платье, приладила диадемку. Сарафутдинов совсем сошел с ума: он и меня поднял — на секунду, конечно, дольше было не выдержать даже ему. Стал цвета кирпича. Усадил, выпил шампанского из туфли, целовал педикюр. Той ночью я написала стихи. Сарафутдинов спал, а я смотрела и слагала строки о его волосах на подушке. Миндальные волосы ежиком. Моя любимая челюсть, трогательные клыки. Я писала, что беззащитна и беспомощна перед ним, не зная, что на самом деле пишу не о себе, а о нем. Он тоже оказался беззащитным и беспомощным. Он ничего не смог сделать.

Брожу в темноте. Они хотят меня ослепить. Болваны, как же я буду подписывать протоколы?

Детки тоже ослепли. Меня спрашивали, не жалко ли мне деток. Жалко, спору нет, но если честно, то в первый момент, когда я узнала, мне было жалче Сарафутдинова. Мой рыцарь был вынужден копаться в этом говне. Его терзали, на него давили, в нем убывала мужская сила вместе с достоинством.

В самом начале, как только он рассказал мне о детках, я приказала ему заткнуться. Я знала, что существует грязь, и я бы месила ее ногами, как все, ничего необычного, но волею судьбы я вознеслась, и сам Сарафутдинов предпочитал меня видеть на троне, так что окрысилась я по делу. Он-то, в конце концов, ходил по грязи, и я не возражала.

Он приехал к полуночи, уже прилично выпивший. Я налила себе и ему. Он снял китель, ослабил галстук и развалился в кресле. Весь, помнится, оплыл и обмяк, стал не то квашней, не то тестом. На щеках проступили прожилки, похожие на морковь в кислой капусте. Челюсть гуляла.

— Какой-то гад объявился, — пожаловался он сразу, без предисловий любви.

Сарафутдинов был генералом полиции. Я не стыдилась его. Он стал бы министром.

— Детей потрошит, — продолжил Сарафутдинов.

— Заткнись, — ответила я. — Не смей тащить сюда со службы всякую срань. Мне нет до нее дела.

Но он гнул свое, пришлось послушать. Мне стало ясно, что он озабочен всерьез, иначе бы не посмел говорить дальше.

— Маньяк, — сказал Сарафутдинов.

Он лег ко мне и отразился в зеркале. У меня большое зеркало на потолке. Я любила смотреть на Сарафутдинова, он будто пожирал меня, медленно извиваясь, в шерсти, пытался слиться со мной, но я была непроницаема, и он трудился, я вся была под ним, и было удивительно, что такому усердному не удается меня рассло-

ить. Еще немного, и он бы утонул, растекся во мне мохнатыми щупальцами, но я выталкивала его. Клещ, захваченный каплей масла. Сарафутдинов был прекрасен, мой настойчивый герой. Люблю, когда он топчется мешком под увесистый рок, и много в нем дерьма, и стены дрожат, и весь он мужик. Прекрасное в нем уживалось с мерзким, и мне делалось особенно сладко, когда я не могла понять, где что.

— Соловушка моя, — заворковал Сарафутдинов. — Дынька. Ты моя хурма.

Помню, я дернула за шнурок. Теперь здесь темно, а прежде горели лампы в тысячи свечей. Нам обоим нравилось, когда слепит глаза и видна каждая взопревшая складочка, каждый прыщик, все волоски. Вот и тогда вокруг вспыхнуло. Но свет переменял его настроение. Может быть, он не ждал, хотя не понимаю, с чего бы. Мы всегда так делали. Свет навел его на мысли о зрении; мой генерал сморщился, сощурился, отлип и распростерся на простынях. С потолка на него глядел такой же Сарафутдинов, как будто настоящий умер, а наверху парила его освободившаяся душа — точная копия тела.

— Он зашивает им глаза, представляешь?

Сарафутдинов сел.

— Прекрати уже, а...

Я осталась лежать. Могу зарычать, да. Подозреваю, что во мне тоже обозначался контраст. Я в теле, но умею быть белочкой, тыковкой и хурмой, Сарафутдинов не врет. А бывает, что белочка вдруг превращается в заведующую овощным магазином. Иногда и газы отходят. Генерал даже вздрагивал, случалось, и сразу пил.

Он и тогда выпил, но не поэтому. Налил себе виски. Сожрал как воду.

— Развешивает на деревьях, — монотонно продолжил Сарафутдинов. — Выпотрошит, потом застегнет одежду. Расстегнем — все наружу. Шапки наденет, тфельки. И повесит. Но сначала зашьет глаза.

Тут я его и пожалела. Он государственный человек, ему бы армией править или страной. А у него импотенция от забот.

Я свесилась с ложа, пошарила под кроватью, выудила горн. Проиграла побудку. Мы современные люди и время от времени играли то в пионервожатую, то в медсестру, то в штандартенфюрера. Горн был украшен вишневым бархатным полотнищем, как золоченой бородой. И Ленин вышит. Ручная вязка — хотя о чем я, вяжут колбасу. Короче, штучная работа.

Только генерал не угомонился и пропустил побудку мимо ушей. Встал, пошел, сунулся в китель. Детки детками, а я любовалась. Не Аполлон, о чем речь — горилла, кабан, но сколько силы! Какая гордая мощь! «Заслуженное брюхо» — не комплимент, над ним упражняются в остроумии, но эти шутники просто не видели Сарафутдинова. Он так прекрасен, что я готова одолжить глаза. Вы видели, как шествует павиан? В нем есть величие. Он выше своего уродства. Подозреваю, что он специально натирает себе зад. Плевать ему на эстетику, у него есть клыки. Почти как у Сарафутдинова. Я говорила? Да, говорила... Я описала их в стихах, но это слишком личное, не для прозы. Да, я пишу стихи. Вы против, зайчики? Вы плесень. Навоз.

Сарафутдинов принес в постель фотографии и что-то еще, он называл это *ориентировками*. Я уже поняла, что нынче он не в ударе. Коли так — отчего же не посмотреть, аппетит не собьется.

Там были настоящие ужасы.

Детки маленькие, лет по восемь-двенадцать. Мальчики и девочки. Висят, похожие на прошлогодние яблоки; потом лежат на снегу. Лица спокойные, но кажется почему-то, что их разглаживали утюгом. Или проглаживали, как мятые страницы. Сначала были разные морщины, гримасы, потом не стало — ротики позакрывали, складочки выправили, глазки зашили. Фотограф их взял крупным планом. Очень грубые швы, толстые нитки. Я смотрела и никак не могла сообразить, что в них неправильного; я знаю, не ловите на слове, правильного там ничего, но была какая-то деталь, которая, с одной стороны, так и выпирала, а с другой — пряталась.

— Видишь, целая постановка, — сказал Сарафутдинов.

Я сразу и поняла. Вот в чем было дело. Да он же и говорил: застегивает и вешает. Все деточки аккуратные, словно мама одела: ни тебе шапочка чтобы свалилась, ни развязались шнурки. Даже повязаны шарфики, поверх петель. Значит, их сначала подвешивали, а потом прихорашивали, наносили последние штрихи. Следующий снимок — уже без одежды, на столе. Распороты целиком.



— Это не мы, — пояснил Сарафутдинов. — Не вскрытие. Все вынимает, но животы не шьет, только глаза.

Я швырнула фотографии на пол, всю пачку.

— Дело на контроле, — поспешно хрюкнул Сарафутдинов, словно извинялся. — С меня самого того и гляди шкуру снимут.

Надо было посочувствовать, и я погладила его по шкуре. Телеса моего генерала дрогнули, они совсем беззащитные, если вблизи. Я против воли представила, как шкура его — не цепляйтесь, что повторяю, шкура и есть — лежит перед камином у министра или кого повыше, и голова с клыками прибита, и переkreщенные сабли под ней.

— Зачем он зашивает глаза? — жалобно спросил Сарафутдинов.

Жалобно — от непонимания и усталости.

— Затем, что больной. Знаешь, Сарафутдинов, ты мне это больше в дом не носи.

— Они еще живые, когда шьет. И потом тоже. Медики говорят, что надо понять, тогда портрет рисуется. А как поймешь, что у него в голове? Может, там сидит какая-нибудь галлюцинация. Вторая личность — Сергей Николаевич, например. Или Петрович. И командует. Как его возьмешь, Сергея Николаевича?

Он встряхнул головой, изобразил внезапную бодрость и шлепнул меня по задку. Смешно угадал, звон слился с боем часов.

— Вот разложился Чикатило на атомы. Кислород, водород... А мы дышим. Они везде.

Сарафутдинов встал, упер руки в бока и захохотал.

— Не нравится, да? Дыши глубоко, очень хорошо дыши!

В минуты веселья он притворялся гастарбайтером — а может, и впрямь деградировал. Напрасно кривлялся, поезд ушел, все у него уже висело. Не то перепил, не то по-настоящему переживал из-за деток.

— Стих напишешь про его атомы, да?

— Все мои стихи про тебя, Сарафутдинов. Скотина. Хочешь про атомы? Ладно. Напишу, как они в тебе вертятся. Деток своих прибери, мне деток хватает.

Это была правда, бери не хочу. Брать никто не хотел, зато донимали меня с утра до вечера, хоть в присутствии не ходи...

Глава 2. Прощальный шелест страниц

У нас на балансе числились детские учреждения, пять позиций. Черт его знает, зачем Минобороны понадобились детский сад и цирк шапито. Там отродясь не было никаких военных. Я называла эти объекты *крольчатниками*. Номер один, номер четыре — и так далее. Что там творилось, я не имела понятия. *Завхоз* — некрасивое слово для поэтессы, но если обнажать сути — кто это написал? не мое, — то иначе не скажешь. Мы все были завхозами, работягами, включая министра. Простая и тяжелая работа, управление всякой собственностью, шило на мыло, зачеты и бартеры, ведомости и счета. Любой труд порождает некоторую черствость, иначе ничего невозможно сделать. Врач выстраивает стеночку, отгораживается; и мент выстраивает стеночку, потому что инфаркт случится, если вникать всей душой; министр вообще ничего не видит, он оперирует статистикой. Уже с уровня районного коммунального хозяйства заведующий возносится достаточно, чтобы не различать людей. Это не хорошо и не плохо, так нужно. Специфика руководства. Вот представьте, что вы командуете собственным телом. Всеми соками, каждой дыркой и даже атомами, среди которых тебе и кислород Чикатило, и водород Шостаковича, и сера случайного прохожего. Обращая внимание на все подряд, вы не сделаете и шага. Поэтому существовали крольчатники под номерами от одного до пяти, и я знала, конечно, что под ними скрываются детский дом, детский сад, детская библиотека, Дом творчества юных и цирк шапито, но забывала об этом, когда начинались большие цифры.

Не спешите мне завидовать. Сами видите, где я теперь и что со мной. Вот вам другой образ — океан. Шторм. Чем ближе к поверхности, тем опаснее. Да, если буря сильная, то и до дна достанет. Пронумерованные объекты зашевелились, но я-то вообще попала в водоворот... или что там бывает, когда штормит. Наверху сцепи-



лись, повинымали компромат, и я для кого-то оказалась дубиной, дремавшей в углу, а мой министр — булавой. Мы разлетелись в щепки. А всякая слепая придонная мелочь лишь перетрусилась. Меня поставили на якорь, как мину, чтобы в подходящий момент расстрелять из пушки. Надели на ногу браслет. Я чувствую тяжесть, меня тянет на дно. Сам Сарафутдинов и надел: сидел на корточках, загривок наливался, а он пыхтел в мои пальчики, такие перламутровые раковинки, они поджимались, прятались в коверный ворс; Сарафутдинов застегивал ремешок и клаялся, что первым перекусит и выплюнет, когда разойдутся тучи, но я понимала, что это не по его клямкам, серьезнейший груз, я на рейде в окружении морского боя. Он все нахваливал этот браслет — и мыться в нем можно, и танцевать не трудно, мне даже идет; соблазн получился заоблачный, а я же птичка окольцованная в клетке, мне петь не дают. Я отвела ножку, мою смешную толстую ножку, и как наподдам ему в хрюшник, даже чавкнуло; мне сразу руки за спину, а всё уже, браслет сидит, я под арестом, но домашним, держать меня незачем — они и не знают, схвативши, как им быть, стоят чурбанами и не пускают, не понимают, что мне такого сделать дальше, чтобы не посадили самих, а Сарафутдинов морщится с пола и машет им — отпустите...

Ладно, продолжим. Ночью он показывал фотографии с детками, а утром началось, хотя я не догадывалась ни о каком начале. Обычный день. Сарафутдинов опохмелился и уехал, а следом и я. Надела шубу и спустилась. Машина темная сплошь, тоже толстая, меня в ней не видно, я расстегнулась. Торпеда, а не машина; от нее расступалась и разлеталась серая грязь — дорога, прохожие, дома, небеса. Приехали в ведомство. День был приемный, два часа для просителей, и явились все пятеро, плюс какие-то еще. Меня насторожило, что с претензиями. Обычно приходят, когда что-то в принципе можно, но им никак, однако эти не могли не сообразить, что нельзя и незачем шляться; то есть наметились какие-то семена бунта или зародыши мятежа — короче говоря, недовольство с долей истерики.

Но я разрешила впустить. Служба есть служба.

Удивительно, что мужчины. Я даже не знала, что детской библиотекой может заведовать мужик. Это уже предел, дальше падать некуда. Да, она была на балансе, фамилия мелькала, но я не присматривалась, какое мне дело. И вот он вошел — обтерханный, молью траченный, хотя потрудился вырядиться, потому что все-таки понимал, что не в столовую намылится, даже не в гастроном. Песочный, дикий какой-то костюмчик, стоптанные ботинки, галстук за три рубля. Представьте, ноги вытер о ковер. Не иначе — разволновался. А может быть, дома так делает... воображаю его ковры.

— Здравствуйте, Павлина Пахомовна!

Каркнул, а не сказал, как подавился. Лицо похоже на утюг: затылок квадратный, а рожу будто сплющили под углами. Все выстроилось в ребро — подбородок, шнобель, межбровье. Волосы редкие, перхотные, зализаны к плещи. Глазками искательно жрет. Ходят ко мне просители, как не ходить, такая моя планида и звезда, но этот — какой-то классический.

— Присаживайтесь, — говорю, — Дрон Ефимович.

И он с готовностью зашептал:

— Дориан, Дориан.

Я не сразу поняла.

— А? — спрашиваю.

— Дориан, — повторил этот убогий.

Ну да, я немного ошиблась. Откуда мне было знать, кто он? Вошел — я заглянула в бумаги, наспех прочла, что он Дрон. На всякий случай перечитала фамилию — Торт.

— Родители очень любили Уайльда, — шелестел мой заведующий, мой безнадежно директорствующий Дориан. — Я еще не родился, а они уже выбрали имя. Я еще ножкой толкался.

— Что у вас, Дориан Ефимович? — перебила я.

— Библиотека же, Павлина Пахомовна! — Торт изобразил крайнее страдание. — Мне приходят какие-то бумаги, проверки — тоже приходят. Пожарные. Санитарный доктор — вы знаете, наверное, Дмитрий Владимирович...

— К сожалению, не знаю, — отрезала я. — Дориан Ефимович, я очень занята. Изложите, пожалуйста, без предисловий.



— Библиотека, — повторил он, как дунул чем-то после дешевой еды. — Я навел справки — все хором советуют: идите к вам.

У меня чуткий поэтический слух. Я не удержалась.

— Так и выразились — идите к вам? Значит, библиотекой заведуете?

Торт пошел пятнами.

— Боже упаси, это я для краткости. Сказали со всем почтением: обратитесь, мол, к Павлине Пахомовне Воиной. Я, грешным делом, не знал, что нами владеют военные. Сначала удивился, а потом обрадовался. Солдат ребенка не обидит!

— Матрос, — поправила я.

— А? — он вконец очумел.

— Дориан Ефимович, что вам угодно? У меня мало времени.

Торт вывалил язык. Я не шучу. Как шелудивая собака. Принялся дергать себя за ворот, ему стало душно, разинул пасть. Раз он зашевелился — пахло каким-то селом. Ни слова не говоря и не сводя с него глаз, я включила вентилятор.

— Разгоняют же нас, Павлина Пахомовна, — пискнул Торт. — Говорят, что нарушения, но вы знаете, как это бывает.

— Как? — спросила я ледяным голосом.

Он взял себя в руки и кивнул.

— Хорошо, я все понял. Но деток-то куда? На тот свет? Они же книжки читают. Иногда. Уже почти нет, но иногда.

Снова детки. Я вспомнила пальтишки, шарфики, береты. Новогодние краски. Может быть, душегуб помешался на елках и наряжает? Надо будет подсказать Са- рафутдинову.

— Здесь военные, Дориан Ефимович. У военных — командование, приказы. Велят на тот свет — отправятся на тот свет. Вы временно занимаете стратегический объект, обстановка требует его освободить.

Для потомков я объясню в первый и последний раз. Среди прочего Министерству понадобился склад под новое обмундирование. Модельные шинели, носки с подогревом, ортопедическая обувь, аксельбанты, белые перчатки, фуражки вертикального взлета — тульи стоят торчком и занимают место. Недвижимость стоит дорого; у нас уже есть, но бюджет предоставил средства... Я считала это неразумным, библиотеку можно было просто освободить, но транши и гранты полагается осваивать. Поэтому я зачеркнула четыре нуля и выставила объект на торги. Открыла контору, та купила библиотеку, потом снова продала нам, только нули вернула... В общем, ни к чему подробности. На разницу я прикупила десять складов, и еще осталось. Да, прилично осталось. И что? Во всем мире выплачивают комиссионные.

— Деткам надо дома сидеть, нечего шляться, — добавила я.

Напрасно добавила. Но меня понесло.

— Детки, — заметила я, — по улицам ходят, а им потом животы вспарывают.

Торт попятился.

— Что вы такое говорите, Павлина Пахомовна? — спросил он в ужасе.

— Да. Все уже боятся. К вам и так не ходят, а теперь вообще не придут.

Глупость с моей стороны, не спорю. Но Торт меня чем-то бесил. Любоваться в нем было нечем, обычная тля, такие не бесят, я их не вижу. Мне было непонятно, зачем он явился и на что рассчитывал. Мизерабль что-то вообразил, нарисовал какие-то горизонты, причислил меня неизвестно к кому, а я не могла сообразить, какие у него основания.

Наверное, я не выспалась. Аргумент был дурацкий, вообще посторонний — за неимением лучшего. Что я могла сказать? Мне было незачем отчитываться перед Тортом, но все же я сочла нужным смягчиться и снизойти.

— Решаю не я. Решает министерство.

Я развела руками и даже печально улыбнулась. Более чем достаточно.

— Но нам-то куда деваться?

Он не о детках заботился, он горевал по своей синекуре. Куда ему, в самом деле? Только в дворники — и то не возьмут. Эта ниша была занята давно и прочно.

— Вы же сами книжки читаете, не только ваши детки, — нахмурилась я. — Про одно вы знаете, как бывает, а про другое не знаете. Разве я непонятно выразилась? Я — пешка.

В его собачьих глазах отражалась ладья.

— Я напишу в газету, — пробухтел он и чуть не умер.

— Напишите, — кивнула я. — Соберите марш миллионов. Только сюда не ведите, здесь тесно.

— Ну да, помещений не хватает, — осклабился Торт, а я поняла, что он может укусить со всей дури.

— Охрана, — сказала я в интерком...

Глава 3. Грачи прилетели

Оцепление выставили настолько густое, что оставалось гадать, для чего — то ли от любопытных, то ли ради беспрепятственного перемещения Сарафутдинова. Тот прибыл лично, свитой и транспортом воплощая генеральский авторитет. Генеральские погоны подрагивали, готовые в любую секунду отвалиться, подобно ящерному хвосту, и замениться новыми, еще тяжелее и мягче. Стараниями Вониной вопрос был почти решен. Тяжелая дверь сверкнула, отразила пасмурный снег, и вот Сарафутдинов шагнул из машины в угрюмую зиму, заранее рыча. Фуражка зацепилась, сбилась; налетевшая свита обеспокоенно заплясала. Сверкнуло там и здесь — двор снимали на телефоны. Сарафутдинов наподдал подмерзшее собачье дерьмо, мечтая ошестиниться пулеметами.

О, этот март, проклятая пора! Погосты голы — еще не прилетели грачи. Зима распахивает весенний кафтан, надетый для карнавала, и жизнь леденеет при виде морозных змей. И щеку поджаривает солнце; другую обжигает тень. И снег не валит, не кружится, но суется, разреженный, в солнечном свете, как будто по тугому мешку, летнему и лопающемуся от муки, хватили ледяным костылем. Вползает циклон, сугробы покрываются коркой перечного оттенка, шоссе разлетается жижей, и что бы ни ехало — все тарантас по внутренней сути. Уходит — и снова звезды, неотличимые от снежного проса, соседствуют с медленно желтеющей луной, а солнце, спрятавшееся за бруствером, садится на помидор, и разливается красное. Животные чаяния, вегетативные мечты о весне умерщвляются, препарируются, отливаются в ледовые фишки, щелчками сбиваются с белого поля. Мимозы отражаются в мелких лужах; вода господствует в трех состояниях — жидкая, твердая и повисшая в воздухе, где было рискнула зародиться некая эфирная жизнь. Клыкастый Сарафутдинов крушит сугробы; он носит форму, но зрение зоркого мистика способно приметить абрис обязательной дворницкой лопаты, закинутой на толстое плечо.

Он не обязан был присутствовать лично, однако дело зашевелилось под сукном, взгорбилось, утвердилось на коротких ножках и прорвало материю. Высунулась рожа злобного и счастливого карлика, открытая общественному мнению. Сарафутдинов решил появиться. Чем бы ни кончилось, никто не упрекнет его в бездействии.

Труп не снимали — дожидались начальства.

Черный тополь уже был украшен сдутым воздушным шариком и старым носком, брошенным с нижних небес. То и другое зацепилось еще по случаю веселого лета, и прочно. Нижний сук был сломан. Кто-то на нем веселился. Либо какой-то бугай, по маете хмельной хотевший повертеть «солнце» за неимением турника, либо местная ребятня, игравшая с тарзанкой. Может быть, кончилось травмой. Сук торчал низко, но все равно был выше человеческого роста. Повесить на нем мальчонку лет десяти не удалось бы без предварительной подготовки. Нужна была скамеечка, а то и лестница. Сарафутдинов огляделся в поисках ящика или чего-то подобного.

— Как он достал?

— Разбираемся, товарищ генерал-майор.

Ответ держал приземистый человек с болезненно красным лицом. Казалось, его растерли наждаком, однако при более пристальном рассмотрении становилось ясно, что это внутренний пожар, который просится наружу и превращается в верховой.

Сарафутдинов посмотрел на темные окна.

— Снимайте, — приказал он.

Краснолицый бросился распорядиться. Полусогбенный эксперт с фотокамерой не глядя попятился, освобождая проход. Люди в спецовках принесли компактную раздвижную лестницу. К Сарафутдинову подошел упитанный капитан.



— Он с такой же пришел, — полицейский шмыгнул носом, заклокотал и выстрелил тяжелым плевком. — Лестница. Затоптал, но мы осторожно копнули. Там две дырки в снегу.

— Фуражка надень, — велел Сарафутдинов.

В минуты волнения он временно забывал падежи, склонения и спряжения.

— В машине, товарищ генерал-майор. Виноват.

Не слушая его дальше, Сарафутдинов захрустел черствым снегом. Тело сняли и положили на брезент. Да, пацану лет десять. Дешевая, довольно грязная куртка застегнута на все пуговицы. На молнию, вероятно, тоже. Шапочка надета неглубоко и чуть косо, лоб открыт целиком. Лыжные штаны, сбитая обувь.

— Расстегните его.

Служивый шнырь проворно присел на корточки. Точно, есть молния. Медленный, неуступчивый скрежет, как будто по ржавым зубцам. Сарафутдинов шагнул вперед и открыл, что исполнитель расстегнул не только куртку, но как бы сразу всего покойника — под одеждой зияла багровая яма. Внутренностей не было, кровь спустили — не здесь, это делали в каком-то подполье. Мясная пещера, местами шершавая. Слабо пахнуло железом. Лицо розовато-синюшное, но чистое...

— Умыли, — обронил кто-то.

Веки были прочно прихвачены грубыми нитками. По три шва на оба глаза, хвостики на узлах подрезаны. Нитки порыжели, отверстия чуть тронуты кровавой ржавчиной. Сарафутдинов сел на корточки, принялся.

— Должен был обделаться.

— Так вымыли его, товарищ генерал-майор.

— Личность установили?

— Никак нет. Я дал команду проверить заявления о пропавших...

— Не знаешь, как они у нас регистрируются, да? Почему он такой синий? Снова топили? — спросил он подоспевшего эксперта.

Тот кивнул.

— Очень похоже, товарищ генерал. Еще, конечно, не сто процентов... Но цвет лица, отсутствие следов... надо посмотреть конъюнктивы...

Сарафутдинов выпрямился.

— Ищите подвал, — произнес он почти моляще. — Гараж. Цех. Что угодно, где есть ванна или какой резервуар.

— Но, может, это квартира... какая ванна в гараже?

— Может, — огрызнулся генерал. — Ты потащишь в квартиру труп за трупом? Соседи, а? Люди не слепые. Смотри, высыпали! — Он дернул головой, указывая на окна, и складчатый загрибок скрипнул на холоде.

— Собака след не взяла, — доложил кто-то.

— Не кормить три дня, — приказал Сарафутдинов.

— Слушаюсь. Товарищ генерал-майор, собака не виновата. Перечная смесь.

— Ты тоже не кушай, дорогой.

— Есть не кушать.

Сарафутдинов стоял, не зная, что еще придумать.

— По квартирам пошли? — спросил он наконец.

— Пошли, товарищ генерал-майор. Но вряд ли будет толк. Вешали, конечно, ночью. Люди мало что спали — еще и темно.

Генерал запрокинул голову.

— Вон же фонарь современный болтается. Сенсорный.

— Разбит уже несколько дней.

— Он высоко... Как разбили?

— Стреляли из пневматики, спать мешал, светил прямо в окно.

— Выяснить, кто стрелял.

— Уже выяснили, товарищ генерал-майор.

— Тогда бейте, ищите связь.

— Бьем, товарищ генерал...

— Плохо бьете! — заорал Сарафутдинов, сжимая кулаки и наступая на побелевшего коротышку, о котором не знал, не слышал и видел впервые. — Как это он так угадал, а? Слушай! Ты мне вообще кто тут?

Овчарка ела генерала глазами. Она улыбалась, вывалив язык. У нее была удивительно глупая морда.

— Он обычного роста, товарищ генерал-майор, — коротышка сменил тему, решив доложить хоть о чем-то — может, похвалят. — Или она. Судя по следам. Весит как будто много, но он же нес труп.

Сарафутдинов вынул фляжку, свинтил крышку, выпил, утерся. Не говоря ни слова, пошел к машине. Дверца была распахнута, к нему уже тянулись заботливые руки, готовые принять и усадить.

Генерал остановился, не обращая на них внимания. Повернулся.

— Зачем шьет кожу, а? — крикнул он. — Глаза почему шьет?

Глава 4. Стратегия шапито

Когда явился без перерыва второй, я смекнула, что хозяйствующие субъекты договорились. Очевидно, они собрались в приемной всем кагалом и рисовали мысленные картины хозяйствования. Панорамы и полотнища, не меньше.

Ведомство у нас военное, в секретарях сидит верный капитан. Муха не пролетит. Я его *покрестила* в первый же день, как он заступил. Призвала, велела запереть дверь. Капитан молоденький, чей-то сынуля. Он вмиг покрылся пятнами, потому что догадался очень быстро. Я повернулась к нему спиной, навалилась на стол и стала ждать, что он сделает. Секретарь, что греха таить, растерялся. Богатство открылось ему. Засуетился, перепугался, не знал, за что взяться — одной рукой платье задирает, а другой уже обратно натягивал и расправлял складки. Я дала ему еще полминуты, и мальчишечка справился. С тех пор у него сделались оловянные очи. Он и раньше не рассуждал, а после нашего внутрисобоя вообще перестал.

Я могла распорядиться перемочить всю эту скорбную кодлу, и он перемочил бы. Но передумала. Решила расшвырять их сама.

— Кто там еще? — спросила я в интреком, как только выставила Торты. — Пусть заходят по одному.

И зашел директор цирка шапито, нахально назвавшийся — Петр Бомбер.

Я где-то видела афиши, не к ночи будь помянуты, где этот тип красовался в цилиндре и полумаске. Я не сомневалась, что у него псевдоним, но оказалось иначе.

— Приветствую вас, почтеннейшая Павлина Пахомовна!

Этот директор попался наглый, в отличие от библиотекаря. Шагнул ко мне, протянул обе руки. Я холодно взглянула исподлобья.

— У вас пять минут, я очень занята, если хотите, и говорите быстро.

Бомбер сел на край стула. В нем, как и положено циркачу, угадывалась пружина. Я думала, таких уже не делают. Черные волосы напомажены, расчесаны на прямой пробор. Усики, как будто нарисованные углем; алый рот. Мне показалось, что он и глаза подвел.

— Павлина Пахомовна, пощадите цирк. На что он военным? Ребятишкам радость.

Мне начали надоедать ребятишки в качестве козырей и джокеров.

— Цирк военным и вправду не нужен. Его построили для семей военнослужащих. Семьи разослали по гарнизонам. Министерство нуждается не в цирке, а в земле, на которой он стоит. Что у вас рядом?

— Кладбище, — бодро и быстро отозвался Бомбер.

— Именно. Его предстоит расширить под нас.

— Семьи возвращаются?

— Придержите язык. У вас все?

Директор цирка вдруг упал на колени и пополз ко мне, простирая руки.

— Павлина Пахомовна! Пожалуйста, не трогайте нас! Фабричный район, новостройки. Людям некуда деться, наше маленькое шапито — лучик света... Куда, в конце концов, позвольте податься лично мне?

Я не стала поднимать его с колен. Этот идиот рассчитывал произвести на меня впечатление скоморошьей раскованностью — может быть, развеселить, но не расстрогать, не настолько же он был туп. Совсем наоборот, он действовал по науке.



Наверное, книжки прочел, а то и сам догадался звериным умом — ломал, что называется, мне шаблон. Мешать ему было незачем, пусть сломается у него.

— Вы кто по специальности будете? — спросила я дружески. — Коверный? То-то я смотрю...

— Я фокусник, — уныло отозвался Бомбер. — Иллюзионист. Немножко гипнотизер. Девтора меня любит. Я никакой не администратор, мне все это чуждо и неприятно...

— Да, гипнотизер из вас никакой, — кивнула я. — Полный провал. Насчет администратора тоже согласна. Март на дворе! Ваше заведение простаивает. Почему, позвольте узнать?

— Так шапито же, — простонал Бомбер. — Это летний формат...

— А Родина — формат круглогодичный, — сказала я веско. — Ее нужно защищать. Для этого необходима оптимизация инфраструктуры Министерства обороны...

— Ракетную шахту постройте на месте цирка?

— Она уже есть, — шепнула я доверительно. — Не знали? Мы тоже фокусники, товарищ Бомбер.

Горе-директор побледнел.

— Хотите сказать, Павлина Пахомовна, что наши собачки... наши слоны... поют и танцуют над межконтинентальной ракетой?

— Как и все мы, — подхватила я. — Если кому заикнетесь — вам отрежут язык. Я рискую местом, свободой и жизнью, информируя вас.

До мизерабля дошло, что над ним издеваются в пролонгированном режиме. Он, видно, был готов унижаться дозированно, с чередованием смешных и серьезных моментов — по цирковому обыкновению. Но вот он смекнул, что режим для него один — общий. Господин Бомбер вспотел, грим потек. Так и не встав с колен, он полез за пазуху, выдернул какие-то мятые бумаги. Я на секунду подумала, что появится кролик.

— Вот подписи, — сказал он хрипло. — От жителей района.

Я кивнула в угол, где штабелем стояли коробки.

— Знаете, что это?

— Нет.

— Подписи. От жителей районов. По самым разным поводам. Положите туда.

Тогда он встал и выложил последний козырь.

— У нас договор с дю Солей.

— С кем? — Я жалостливо скривилась.

— Цирк дю Солей, — пробормотал Бомбер. — Это всемирно известный коллектив. Их гастроли — событие государственного масштаба, и если они сорвутся, будет международный скандал.

— Всемирный коллектив намерен выступить на нашем кладбище? — скептически переспросила я. — Что ж, мы их пустим. Для такого случая мы временно расконсервируем объект. То есть, законсервируем. Подготовьте мне справку и перешлите по почте секретарю, я введу в курс нового директора объекта. Мне вызвать охрану или с вами обойдется?

На лице Бомбера отразилась борьба. Зрелище было немного жуткое — маска пошла рябью. Белила, румяна и тушь заволновались, обозначились кости — скуловые, челюсть, даже каким-то бесом намекнули о себе носовые хрящи. Лик изготавился лопнуть, наружу рвались острые углы. Руки Бомбера пришли в беспорядочное движение. Я невольно приковалась к ним — очевидно, в минуты волнения директор бессознательно отработывал актерское мастерство. Из-под манжет запрыгали карты. Облизывая алые губы, Бомбер смотрел мне в лицо, а пальцы выстраивали веера и гармошки.

— Неужели вы не были маленькой, Павлина Пахомовна?

Голос его срывался, брови, губы и нос наезжали друг на дружку, блестящий пробор ритмично дрожал, как хвост у заводной собачки.

— Неужели вы не помните цирк?

Карты легли передо мной полукругом. Все это были пиковые тузы. Бомбер, продолжая сверлить меня взглядом, махнул рукой, и они стали бубновыми. Он потянулся и вынул у меня из-за уха шестерку.

— Налепите ее себе на лоб, — предложила я. — Выметайтесь, уважаемый. Библиотекарь, который приходил перед вами... да вы, наверное, видели, как его проводили.

Между прочим, я помнила цирк. Настоящий, в добротном здании, с живым оркестром. По арене кружил мотоцикл с медведем верхом, в коляске сидел еще один. Медведь. Дрессировщик стоял и держал огромное красное знамя. В шапиту Бомбера выступали под фонограмму. Его договоренность с иностранным цирком следовало проверить, но участь самого Бомбера была решена независимо от исхода.

— Деткам радость, — прошептал он чуть слышно.

— Сколько там еще человек в приемной? — осведомилась я.

Тот облизнул кровавые губы.

— Трое. В смысле — наших. За остальных не скажу.

Как я и думала. Они пронюхали и теперь действовали сообща. Удивляться не приходилось — я сама разослала уведомления.

— Два плача о детках я уже выслушала. Осталось три.

Лицо Бомбера вдруг успокоилось.

— Четыре, — возразил он.

— Что, вы еще не наплакались?

— Нет, я закончил. Четвертый будет ваш.

— А, — я кивнула и потянулась к интеркому. Но вдруг моя рука замерла. Я смотрела на нее, как на чужую.

Бомбер тут же кивнул, и она упала плетью.

— Маленькая демонстрация, Павлина Пахомовна, — объяснил он зловеще, хотя я видела, что директор умирает от страха. — Небольшое чудо. Нельзя забирать последнее у креативного класса. Честь имею.

Он вышел, а я озадаченно смотрела на руку. Потом набрала номер генерала.

— Сарафутдинов, — сказала я. — Прижми, пожалуйста, хвост директору шапиту.

— Только не сейчас, Пашенька, — пробасил он издалека. — У меня еще один труп.

— Где? — зачем-то спросила я.

— Возле библиотеки.

Глава 5. Концерт ля минор для скрипки

Сарафутдинов не поехал смотреть другие места. Его вызвал министр.

Генерал стал похож на гигантскую испуганную жабу. В нем что-то невольно взбулькивало, и водитель тревожно посматривал в зеркальце, уstraшенный невидимыми внутренними процессами. В глубинах генерала разворачивалась кишечнополостная работа, подобная вулканической деятельности. Водителю было нечего бояться, но он боялся. Генерал был предельно физиологичен, и он постоянно воображал, как пассажир взрывается селевым потоком. К тому же генерала могли снять. Водитель и в этом случае ничего не терял, он стал бы возить другого, но все равно было страшно. Пять малолетних покойников за ночь в условиях кампании за счастливое детство могли свалить кого угодно.

Министр был Сарафутдинову земляк.

Генерал считал себя визирем при султани и относился к министру соответственно — ненавидел и преклонялся. Его насторожил дружеский тон. Министр позвонил ему лично и был преувеличенно радушен, тараторил, как на базаре — говорил что-то про плов, которого им нужно покушать, вспомнил родственников, справился о здоровье. Сарафутдинов знал, что это очень плохо. И министр знал, но продолжал комедию, ибо так был устроен этнически. В старину генералу могли отрубить башку сразу после братского обеда с кальяном и плясуньями. Сарафутдинов подыграл министру, ведомый тем же звериным мотивом, однако стал мрачнее тучи. Случилась некая неприятность. Покойников было много, он этого не отрицал, но дело, с другой стороны, лишь только началось. Маньяк орудовал месяца полтора, не срок для серьезного следствия.



Министр лично встретил его на пороге, и это вовсе не лезло ни в какие ворота. Тучность Сарафутдинова не помешала ему поклониться коротко, но с фантастической грацией.

— Проходи, дорогой, — трещал министр, ведя генерала под руку. — Никого не пускать! — бросил он секретарше. — Проходи, садись хорошо, кушай фрукты, коньяк!

Шторы были задернуты. Стол оказался и впрямь накрыт — на скорую руку, но со вкусом. И не стол — столик. Он ломился от винограда и хурмы, зажатый меж двух колоссальных кресел перед плазменной панелью во всю стену.

Сарафутдинов не прикоснулся к яствам, хотя благодарить и кланяться не перестал. Министр усадил его, сел сам, потянулся за пультом.

— Посмотрим, дорогой! — весело пригласил он.

Генерал ухитрился поклониться и в кресле, послушно полуприкрыв глаза. Министр ничего не сделал, но свет погас. Все вокруг повиновалось ему. Экран зажегся, и Сарафутдинов мгновенно узнал сегодняшнюю жертву номер четыре. Девчонка лет четырнадцати, одетая в красные шелка и увенчанная диадемой, стояла на сцене, изготовив смычок. Вокруг нее подрагивал сумрак — запись была неважная. Скрипачка сверкала черным и красным, выхваченная белым прожектором. Она прижала скрипку подбородком, взмахнула рукой и породила вихрь. Скрипка у нее оказалась электрической. После десятка аккордов вступили другие — невидимые — инструменты: клавишные, ударные, басы. Вспыхнули и заметались разноцветные огни. Мелодия расправлялась в бешеном темпе, подобная огненному цветку; со всех сторон к девчонке потянулись уродливые тени, они ломались в танце, простирали скрюченные руки, сникали, отступали и вновь надвигались. Прядь распущенных черных волос выбилась на лицо и упала на правый глаз. Сарафутдинов с шумом втянул воздух. Этот глаз он видел часом раньше, на фотографии. Тот, разумеется, был зашит. Иначе выглядела на снимке и белоснежная шея — на сей раз злодей увлекся и взял немного выше.

Силы тьмы, как догадался Сарафутдинов, тоже накатывались все яростнее; по сцене поползли клубы дыма, взметнулись газовые цвета морской волны — очевидно, именно волны они представляли. Слабо высветился задний план, где стояла толпа статистов, безмолвно воздевших руки.

— Ты узнал, дорогой? — осведомился министр.

Сарафутдинов кивнул.

— Это, хороший ты мой человек, спектакль театральной студии при Доме творчества юных. Вот у меня справочка, — министр невесть откуда извлек пару сшитых листов, которые все равно было не прочесть в темноте. — Это фантастическая история про глобальное потепление, называется «Хищная оттепель»...

Генерал тоскливо взглянул на зашторенное окно, за которым оттепелью не пахло. Но скоро, очень скоро черный лед разойдется, заструятся бурые ручейки, снег сойдет, обнажатся новые мертвецы.

— В общем, там такое дело, что все вокруг утонуло, и люди выстроили огромные плавучие города-башни, — продолжал министр. — Их осаждают разные хищные подводные существа, мутанты, пираты... — Он махнул рукой. — Ты знаешь, дорогой. И в одной такой башне живет с друзьями юная героиня-скрипачка, на музыку которой почему-то сползается вся эта нехорошая дрянь... злые силы пытаются противостоять, но ничего не могут поделать, они очарованы этой скрипкой, сдаются... Но вижу, тебе это не интересно!

— Мы найдем, кто это сделал, — хрипло сказал Сарафутдинов.

— Конечно, найдешь, — уверенно кивнул министр и подал знак; экран омертвел. Медленно разлилось электричество, наполнившее светильники золотым светом. — Уже десяток трупов, да? И последние пять — только за сегодня, да?

— Так точно, — выдавил тот.

— Этот ролик, — министр кивнул на панель, — уже разошелся по всему Интернету. Из юного дарования сделают мученицу. Нас будут травить, уже начали шельмовать...

— Возьму его лично, — твердо пообещал генерал, не веря себе нисколько и зная, что и начальник не верит.



— Да я же не говорю, что не возьмешь, — министр всплеснул руками, участливо заулыбался, однако в глазах его маячила лютая бездна. — Я тебя пригласил, чтобы помочь! Ты кое-чего не знаешь...

Сарафутдинов не мог вскинуться целиком, потому что был грузен, и вытянул, сколько мог, только шею.

— Смотри, — посерьезнел министр. — Мальчик был детдомовский. Девочка висел во двор библиотеки, да?

Он тоже стал коверкать язык, но вовсе не от волнения, а из желания обозначить глубинные узы и подчеркнуть, что дело между ними двоими едва ли не родственное, стоящее выше всех прочих соображений.

— Другой девочка играл на скрипке в Доме творчества. Четвертый — мальчик, да? — оказался на кладбище, где цирк. Пятый был во дворе детского сада. Я уверен, дорогой, что он туда ходил. Точно тебе говорю!

Генерал бездумно и нервно полез рукой куда-то под себя, чесаться.

Министр помолчал.

— Наверху идет бой, — молвил он удрученно. — Каждый должен определиться со стороной. Военные пошатнулись. Вай, какие были военные!

— Не улавливаю, товарищ министр, — признался Сарафутдинов.

Тот придвинулся.

— Твой Вонина — он вот какой славный, завидую! — министр сладко прикрыл глаза и очертил ладонями нечто, долженствовавшее означать женский зад. Потом игриво ткнул генерала пальцем в живот. — Роскошная женщина. Но она делает очень большую ошибку. Она все это продает — библиотеку, цирк, детский сад...

Сарафутдинов наморщил лоб.

— Прошу пояснить, — попросил он жалобно.

Министр развел руками.

— Думай сам, дорогой! Пять объектов — пять мертвецов. Может, военные ни при чем, но все равно не отмоются!

— Были же и другие, — пробормотал генерал.

— Э! — отмахнулся министр. — Кто их вспомнит? Кто их будет считать? Тебе будут этих помнить!

Сарафутдинов мучительно соображал. Он никак не мог взять в толк, на что намекает высокий земляк. Если Павлина продавала что-то чужое, то не сама, а потому что ей позволили или велели, хотя могла и сама, если одурела. И если в сферах развернулось сражение, то она слишком близко к поверхности. Морской бой незаметен для обитателей дна. Чем ближе к свету, тем ужаснее волны. Внезапно возлюбленная представилась генералу на месте скрипачки: все утонуло в оттепель, плавучие исполины гасят друг друга из всех калибров, со всех сторон подкрадываются хищники — и только она стоит, одинокая, со светлыми стихами о любви. Накатывают пенные валы, бьется скрипичная нота. Ведомственное имущество качается на понтонах.

Министр понял, что дело сдвинулось.

— Под Павлину копают, — констатировал генерал. — И выше берут. Валят министерство. Что же мне делать? Я не могу не ловить маньяка.

Собеседник заледенел.

— Как так — не ловить? Я что — запретил? Очень ловить! Лови!

— Я все понял, — кивнул Сарафутдинов, помедлил и просто спросил: — Как думаешь, чья возьмет?

— Не знаю, — отозвался министр. — Не знаю, дорогой. Я тебя просветил, я тебе сочувствую. Думай своя голова!

— Может, и нет никакого маньяка, — пробормотал тот.

Министр выставил ладони:

— Я так не сказал! Все! Иди работай и очень хорошо думай!

Крякнув, Сарафутдинов поднялся. Он сдвинул каблуки, будто сошлись две тумбы. Слоновьи ноги чуть шаркнули, скрипнул загревок — генерал поклонился. Министр смотрел сочувственно.

Снаружи Сарафутдинов иначе взглянул на весну. Потеплеть не успело, однако он вообразил уже не Вонину, а себя самого на льдине посреди зловещего изумрудного океана. Вокруг него скользили плавники, выбрасывались щупальца, и Кракен



медленно поднимался из глубины, уже угадываясь в сгустившемся электричестве. Взлетали чернильные фонтаны, растекались ядовитые пятна; медузы, окрашенные во все цвета мира, группировались в обманчиво уютные и даже трогательные зонты, парашюты и дирижабли. Чудовища выстраивались свинячьими клиньями, готовые атаковать друг друга, и генерал содрогался, признавая в них знакомые черты. Багровое солнце садилось, и небо с водой окрашивались кровью. Незримый подводный гад, обремененный специальным заданием, сеял смерть среди малых, которым лучше бы повесить на шею жернов; долг обязывал генерала найти и обезвредить чудовище, но аппаратная мудрость предписывала зашить себе рот и глаза, по образу и подобию убиенных. Лед таял по краю, шел трещинами, и генерал приказывал себе выжить в поединке титанов. Он не хотел похмелья на чужом пиру.

Глава 6. Трицератопсы

— Заводите остальных, — велела я капитану, когда Бомбер выкатился вон. — Там еще трое, правильно?

Мой оловянный солдатик уже вытянулся в струну.

— Никак нет, — возразил он виновато. — Четырнадцать человек.

У меня не собес, чтобы сидеть десятками.

— Пригласите директоров. Там должны быть заведующие детским садом, детским домом и домом творчества. Пусть войдут сразу все. Остальным скажите, что я уезжаю в министерство.

Капитан отрывисто кивнул. Я обошла его стол, толкнула грудью. Мой адъютант попытался, уперся в стену.

— Дверь запри на минуту.

Он скользнул приставным шагом, щелкнул ключом, вернулся и вытаращился на потолок. Я пошарила у него в брюках. О нет, это не мой генерал... В штанах у Сарафутдинова всегда было как в паровозной топке или медвежьей берлоге: жарко, мясисто, поначалу немного вяло, зато изобильно. Капитана мне было мало. Я встала на колени, постояла, но не закончила дела. Буратино, а не мужик.

— Хорошего понемножку, — объяснила я, утирая губы. — Плохо кушаете, товарищ капитан.

— Никак нет...

— Значит, не в коня корм. Да и какой ты конь... Пусть заходят.

Я пошла в кабинет, и позади отомкнулся замок.

Ковер пружинил подо мной — не мог, конечно, это меня распирала энергия. Казалось, что я могу совершить все, в любую секунду сделаю невесомой, запрыгаю огромным мячом, раздосадованная лишь мелкостью дел, мне порученных. Тут я вспомнила о звонке Сарафутдинова. Мелькнула мысль, что дело действительно неприятное. С другой стороны, мне будто кто-то подыгрывал. Не прошло и получаса, как я попрощалась с Тортом, а близ его библиотеки — моей библиотеки — уже объявился покойник. Только-только я наспиговывала Торту соображениями безопасности для детства и юношества, а кто-то уже управился подвести материальную базу. Лучше, конечно, было бы держаться в стороне от области обитания этого психа. Мне стало бы спокойнее, окажись это какая-то другая библиотека. Но теперь я могла показать рвение и закрыть это место прямо сейчас. А завтра продать, наконец, и впредь не иметь к нему никакого отношения.

Бедные детки!

Я так и повторила троим, которые вошли.

— Бедные детки! — скрестила я руки на роскошной моей груди.

Судя по лицам, они не поняли.

Я предпочла постоять для внушительности, не села за стол. Сдвинула брови, добавила свинца. Они, конечно, тоже не осмелились сесть. Я слышала, как мой капитан за дверью разгоняет второй эшелон просителей.

Первый сделал маленький шагок. Одной ногой. И сразу вернул ее на место.

— Павлина Пахомовна, простите нас за вторжение, — начал он.

Я усмехнулась. Воробей вообразил, что имеет слониху.

— Представьте, пожалуйста.

— Тыквин Андрей Андреевич, — спохватился он. — Я заведую детским садом.

— Как же вы, мужчина, справляетесь? — вырвалось у меня.

На мужчину он, разумеется, не тянул, как и никто из ходатаев. Толстый — ладно, лысый — тоже не беда, однако ножки такие короткие, что мотня чуть не пол метет. Вот кому было впору заведовать шапито. Будь у меня время и желание, я бы их переставила. Ну и ручки под стать ногам: еще немного — и кисти росли бы сразу из плечевых суставов. Весь обтекаемый, будто капля под носом; женские плечики Тыквина продолжались в широченные бедра, а дальше он резко сужался, благо ноги не допускали плавного перехода.

Тыквин угодливо забулькал.

— Крутимся, Павлина Пахомовна, изворачиваемся, как можем, жена помогает.

Пресвятая богородица, он женат!

Некрасивые люди. И этим сказано все. Сарафутдинов называет их *шерстью*. В тюремной иерархии это означает какое-то дно. Откуда ползло это доисторическое счастье, где отсиживалось, чем кормилось? Я думала, таких не бывает. Мне казалось, они засохли во глубине времен — в пыли редакций когда-то передовых журналов, среди казенных карточек и шкафов; в президиумах лестничных советов; в культурных парках за шахматами, в окружении засранных пионеров. Я полагала, они давно обернулись гербарием, до которого страшно дотронуться — настолько он ветхий. С тех пор как они объелись белены, пролетели десятилетия. И вот они явились на свет, подслеповатые диплодоки, замшелые трицератопсы — точно, их трое, анатомические мужчины без пола и смысла.

Второй изображал респектабельность. Есть такая порода — реликтовый барин. Толстый серый костюм, жилетка, часы-цепочка, упитанный вишневым галстук. Мягкие щеки, острая седая бородка, очки, дустрый перстень, старорежимный портфель. Дома, небось, кутается в истертый халат, не вынимая запонок и любуясь манжетами; восседает за древним письменным, зеленого сукна, столом, играет полукилограммовой ручкой — обдумывает афоризм. Он оказался директором детского дома, и я сразу заподозрила в нем извращенца. Представившись, он дальше не успел раскрыть рта, как я его упредила.

— А к вам идут проверки — независимо от ведомственной принадлежности объекта.

В его утробе бесшумно взорвалось что-то зловонное. Он стиснул губы, чтобы не повалил дым. Я знаю таких. Велеть бы ему раздеться — явилось бы недельное исподнее.

— Вы же Мирон Моисеевич Булка? — зловеще осведомилась я, прошла за стол и заглянула в бумаги, как будто давно что-то знала о нем.

Он собрался и приосанился. Это стоило ему трудов.

— Странная комбинация, — заметила я, ощущая себя в ударе.

Булка зарумянился.

— А вы, — обратила я к третьему, — представляете, как нетрудно понять, Дом творчества юных?

Этот шагнул ко мне на целых два шага и отрывисто поклонился. Еще одно ископаемое, на сей раз вырядившееся в духе стилиги шестидесятых годов. Или пятидесятых, я их не различаю. На языке у меня вертелся вопрос, почему его не *приняли*, как опять-таки выражался Сарафутдинов, и не закрыли. Это чучело бродило по улицам в дудочках-брюках и полосатом пиджаке — приталенном, с подобранными плечами; на голове красовался пегий кот. Вместо галстука — ослепительный желтый ромб в разноцветных квадратах. Я могла поклясться, что в шапито он был бы намного уместнее Бомбера. Мерзкие косые височки, узкие темные очки, удушливый аромат каких-то духов.

— Наверное, вам лучше известен мой сценический псевдоним, — объявил этот тип с неописуемым нахальством. — Меня зовут Ойчек Молчун. Я чечеточник. Вы не могли меня не видеть, я не однажды был в телевизоре.

— Не видела, — покачала я головой. — Когда это было, до революции? Вы не похожи на молчуна. Но можете называться так, мне все равно...

— Молчун — сценический образ, — не унимался третий — пятый — директор. — А что до революции, то вы, скорее всего, спутали меня с великим Бастером Китонем, комиком без улыбки. Я посчитал разумным заимствовать его метод...



— Это, если не путаю, было немое кино? — подхватила я по наитию, потому что понятия не имела, о ком он толкует.

— Безусловно, — просиял Ойчек.

— Тогда следуйте вашему кумиру во всем. Закройте рот, будьте любезны. У меня мало времени. Я работаю. В отличие от вас троих.

Не стану скрывать — я вела себя с ними не слишком учтиво. Но как иначе обозначить приоритеты и диспозиции?

— Что это у вас? Петиция? Дайте сюда.

Я потянулась за бумагой, которую давно тискал и мял Андрей Андреевич Тыквин. Прошение увлажнилось, мне стало тошно. Булка уже трудился над портфелем, там у него лежала вторая — ходатайство от каких-то попечителей, как он пригрозил.

Я бегло взглянула. Витиеватое послание за пятью подписями — трое присутствующих плюс Бомбер и Торт. Опять мелькнула тревожная мысль: как они скооперировались? Похоже было, что их кто-то наставил и направил. Директор библиотеки не обязан знать ни директора шапито, ни тем более графика распродажи министерской недвижимости. Я вчиталась внимательнее. Да, они точно не в коридоре спелись. Объекты поименованы, пропечатаны, прошение составлено от имени пятерых и подписано каллиграфически, не на коленке. Под меня кто-то рыл. Мизераблей наставили и подослали, но все это не имело значения, меня хранило личное распоряжение министра.

— Ну что же, — молвила я, откладывая бумаги. — Было очень приятно познакомиться сразу со всеми хозяйствующими субъектами, а то все недосуг. Знакомство наше будет коротким. Я вас увидела, услышала, документы приняла, вы можете быть свободны.

Три уродца потерянно переминались и переглядывались.

— Но позвольте, — сдавленно пискнул Булка, — как же быть с интернатом?

— Переедете на периферию, — сказала я, хотя не была обязана. — Договоренность с областью уже есть. Вам же лучше — свежий воздух. А в вашем здании будет военное общежитие. Где мне людей селить?

— А в Доме творчества? — осведомился Ойчек Молчун.

Он спросил подозрительно вкрадчиво.

— Воскресная школа для военнослужащих. Вы разве не в курсе, что в основу нынешней государственной идеологии положена духовность? А у вас в туалетах стоят автоматы с презервативами!

Молчун на то и молчун, чтобы взорваться. Я знала, что так будет.

Отставной чечеточник затряс пальцем, вновь наступая на меня, и заблажил, брызгая вдруг слюной:

— Пусть для начала вычешут из бород капушту от суточных щей да вынут хрящи осетровых рыб! — Ойчек выл, воображая себя витией. — Дождутся, что их опять же по шам перетянут мокрыми... писюнами!..

На последнем слове он сбился, мнимая интеллигентность взяла над ним верх. Впрочем, истерика оставалась истерикой — будучи загнан в угол, он мог и ужалить.

— Вон отсюда, все трое! — гаркнула я и встала.

Откуда мне было знать, что булкиных сирот поставляют на самый верх — я слабая женщина, не искусенная в высших силовых играх. Но это, как говорится, другая история. Она объясняла, с чего вдруг эта компания так оборзела — они чувствовали невидимую поддержку, хотя и не знали заступников.

Но я все равно их выставила.

Глава 7. Апартаменты под ключ

В квартире недавно жили, и человек, остановившийся в прихожей, не хотел знать, как именно.

— Сергей Иванович, это я, — сказал он в телефон.

Мобильник молчал.

— Вот, Сергей Иванович, пришел я на место, и если навскидку, то все меня как будто устраивает...



Говоривший еще застал жилицу, когда договаривался об аренде помещения; дальше все происходило без нее. Та, похожая на толстую сказочную собаку, только переборовшую запой, вышла к нему с грязной ложкой в руке. Она ела кашу. Инфернальная баба разинула пасть, со вкусом облизала ложку квадратным языком, напоминавшим дворницкую лопату, а после вытерла о свитер, плотно облегающий цирротический живот.

Жилица стреляла свинными глазками, поджимала губы. Она догадывалась, что с квартирой неладно, однако держалась уверенно и нагло. Гость, впрочем, не собирался торговаться, и они быстро договорились.

С той встречи ничего не изменилось. Жилицы не стало, а вот ее присутствие по-прежнему улавливалось, как будто она, распертая кашей, взорвалась и рассыпалась на кварки, которые втянулись в сырые стены.

— Так что вы не горюйте, Сергей Иванович. Что поделаться, если нас выселяют! Мы прекрасно устроимся в этих казематах.

В комнате стояла вода. Незвестный то ли строитель, то ли архитектор соорудил там наклонный каменный пол. Добротное, старых времен каменное покрытие; человек с телефоном не мог понять, откуда взялся такой здоровенный блок полированного гранита. Возможно, был распилен и нашинкован огромный валун, сошедший некогда с ледником. Пол от порога уходил под наклоном к мутному окну с битыми стеклами. Начиная с середины комнаты, в этом естественном косом котловане стояла зеленая вода. В ней кто-то жил. В углу валялись тряпки, которыми вытирали все. Слив в туалете не работал. Близ унитаза поселилась початая банка тушенки, источавшая невероятный смрад. С потолка на шнуре свисал холостой патрон. Он состарился и покрылся пылью, отчаявшись мечтать о свежих лампах.

— Вы знаете, Сергей Иванович — хочу поделиться с вами, пока никого нет. Вчера я читал Писание, и вот на какие строки наткнулся: «... жатвы много, а делателей мало; итак, молитесь Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою». Да это же про меня! Что скажете, Сергей Иванович? Как вы думаете?..

В прихожей по растрескавшемуся паркету сновали мокрицы, виртуозно обгавившие ботинки вошедшего. Что-то всхлипывало, где-то низко гудело. Стены хворали кожной болезнью; шершавая сыпь, обнаженная штукатурка, сливалась в отталкивающие очаги. Остатки обоев были покрыты бурными пятнами, похожими на кровавые следы, но это была никакая не кровь, тем ужаснее они выглядели.

— Давайте, Сергей Иванович, потолкуем о Небесном Царстве. Мы с вами смертные грешники, но мы туда попадем. Знаете как? Через малых, которые суть ангелы. Спросите меня, зачем я зашиваю им глазки? Можете не спрашивать, я и так отвечу. Чтобы они нас запомнили. Мы въедем в Царство, если позволите выразиться, на их плечах... Мы последние, кто отражается в их глазах. Зашивая же приходится непременно, ибо оттепель, птички голодные... Они слетаются к дереву жизни, вредят херувимам...

Человек прикинул, сумеет ли он исхитриться и добраться до окна, не намочив брюк. Все, чего он хотел — проверить батареи парового отопления. Пошатать трубу. В ней очень кстати завылло, понеслись бесы — не то веселье, не то скорбные; в трубе причитало и бормотало, она чуть подрагивала, вся испещренная смертными каплями воды. Мужчина плюнул, разулся, закатал брючины и пошел босиком. Лицо его гадливо кривилось. Он пожалел, что не взял рабочий комбинезон, а лучше — костюм химзащиты.

— Все бы вам помалкивать, Сергей Иванович. Озорник вы! Мало ли, что я рассказывал — не сломайтесь еще раз послушать. Ладно, впитывайте новости. Так вышло, Сергей Иванович, что мы, похоже, попадаем под какую-то программу защиты. Может быть, нас и не выселят. Может, нам повезет. Не знаю, в чем дело, но гадину, которая хочет продать наше место, собираются скovyрнуть. Раз уж мы оказались поблизости — поможем этому славному делу...

Вода была теплее, чем казалась.

Он дошел до трубы. Все на соплях. Дернул что было сил, и та не подвела, устояла. Но это до поры. Он оглянулся на сумку, которую оставил на пороге. Та была набита разным железом — ножами, наручниками, пилами и топорами. Пришелец выбрался на сухое место и поискал глазами, чем бы вытереться. Ничто не годилось, тряпье грозило расплзтись в руках. Выругавшись, он натянул носки прямо на мокрое.



— Натерпелся я с вами, Сергей Иванович!

Мужчина завел глаза к лишайному потолку. Он прикинул, нет ли смысла облагородить самый вход, чтобы внутренность не пугала с первого шага. Немного подумав, решил не обременяться.

— Да, Сергей Иванович. О наших херувимах. Освобожденные от скверны, избавленные от требухи, они украшают лозу подобно дрожащим листочкам...

Он прислушался к шумам. Дом жил прибитой жизнью. Где-то постукивал молотком невидимый сосед. Хлопнула входная дверь, кто-то зашаркал по лестнице, перхая и всхлюпывая. Сразу же все и смолкло. Во дворе-колодце полагалось не жить, а долго болеть и медленно умирать. Мужчина постоял, потом повернулся и заглянул в зеркало. Он отразился там темнее, чем был. Шляпа, нахлобученная по брови, превращала его в идиота. Хотелось схватить шляпу за поля и рвануть вниз, чтобы вышел ошейник, а на макушке осталось бы нечто вроде кипы.

Он улыбнулся от уха до уха, представив это.

Глава 8. Швейные принадлежности

Браслет, надетый мне на ногу, можно срезать ножницами — и ничего не случится. Мне ли этого не знать. Это разработка нашего Министерства, на которой мы *оптимизировали* миллиард или два, я не помню. Только резать его незачем, потому что я все равно не выйду; а выйду, так не дойду, а если даже дойду, то не знаю, куда именно, потому что некуда.

И ножниц в доме нет. Их изъяли.

Вместе с хирургическими иглами, от крови то ли ржавыми, то ли просто грязными.

День пяти мизераблей — да, мне приятно это слово, оно поэтично, а поэзия высока и обращает низкое в небесное — завершился без происшествий. Ископаемые ушли, а прочую публику без шума и скандала выставил мой капитан.

Я связалась с городским комитетом по культуре и попросила никуда не брать этого хама, когда с домом творчества будет покончено и он останется не у дел. Духовенство строит новые сорок сороков при подряде Минобороны, а этот носитель прекрасного расписывает, как хорошо перетянуть кому-то по щам.

Потом я поехала домой. В салоне мурлыкала музыка, и во мне лениво слагались хвалебные стихи о Сарафутдинове. Твой кадык среди плоти, что я целовала... Твоя грудь исполина, где я ночевала... Твои ноги-колонны, что я омывала... Твоя челюсть с клыками поверх одеяла... Жемчужины горного, затерянные в грубой мужественности. Чуть позже, как часто случается в стихосложении, я незаметно переключилась на себя и поменяла размер. Я богата по праву, мне это по нраву... Я красива, и в этом великий закон... Неимущий убог, пусть канает в дубраву... Пресмыкаться и бедствовать он урожден...

На пороге дома я села. Это метафора. Я привалилась к косяку, не веря глазам. Очутись я на Марсе — было бы не так странно. Кто-то разгромил мою квартиру. На первый взгляд — бесцельно, ради искусства хаоса. Многое просто посбрасывали без всякой нужды, расшвыряли, разорвали, разбили: кто-то явился не только искать неизвестно что, но и нагадить. Это было немислимо. Нигде же не значится ни квартиры, ни дом, ни целый микрорайон; моего адреса ни у кого нет, у меня пятьдесят степеней защиты, вооруженный консьерж, сигнализация, видеокамеры, частные охранники — в минуте ходьбы. Я бросилась к потайным ларцам — ничего не украли. Не тронули и сейф. Налички в нем было не больше миллиона, я не храню деньги дома, но откуда могли это знать погромщики?

Я все-таки села, и больше посадка метафорой не была. Мне пришло в голову, что налет одобрили наверху. Никто не проник бы ко мне без высшего дозволения. Консьерж отвернулся, камеры выключили, вообще все здание обесточили, охране велели сидеть тихо. Но кто, почему? Я знала, что в эшелонах происходит волнение. Но мой министр оставался несокрушим, он относился к сонму грозных божеств, которые не проигрывают. Он дважды навещал меня, и я отметила в пуховых перинах, что он не хуже Сарафутдинова. Положа руку на сердце, признаю, что он был лучше. Загрибок, килограммовые ядра, челюсть, дикий зык на излете соития — все

оказалось по моему вкусу. Он не мог мной пожертвовать, я находилась слишком близко к нему. Но кто поднял руку?

Знакомая с детективами, я ничего не тронула и сразу позвонила генералу. Тот ответил растерянно и даже вяло, пообещав немедленно приехать с опергруппой. Я разволновалась всерьез. Я ждала, что Сарафутдинов начнет метать молнии.

Он прибыл настороженный, фуражку нахлобучил по самую переносицу. Его внимательные глазки осторожно сверкали из тени двумя яркими точками.

— Работайте, — бросил он подручным, и те принялись за дело. — Идем пить, — приказал он мне, и мы пошли в кухню.

Сарафутдинов никогда не командовал мною. Только в койке. Наши любовные утехи делились на два этапа. Сначала я сама настаивала, чтобы он меня мял и ломал, наседав, нагибал, притискивал, немного шлепал и всячески по ходу раскрепощался: взрыкивал, хрюкал, пускал ветры, причавкивал, ронял слону. Этот первый этап оказывался дольше второго; следующий начинался, когда Сарафутдинов впадал в неистовство и все это делал по собственному почину, без напоминаний и просьб. События резко ускорялись; перекрывая ревом ритмичные музыкальные басы, Сарафутдинов разряжался и накрывал меня обессиленной массой. Но то была постель. В остальное время генерал держался кротким зайчиком, потому что между нами существовало расслоение. Или дистанция. Генерал знал, что я принимала моего министра. Для стирания разницы ему пришлось бы принять своего.

Но сейчас он вел себя как хозяин.

Его шестерки трудились, исследуя каждый очаг разгрома, их не было видно. Я слышала их тараканье шебуршание и тьяканье. Кухня тоже оказалась разорена — бессмысленно, как выразился какой-то терпила, и беспощадно. Кто-то залез и просто нагадил. Зачем? Я не находила ответа.

Мы стали пить водку.

— Павлина, — прохрипел Сарафутдинов, — сегодня он вывесил пятерых подряд. В том числе девчонку-скрипачку, довольно известную. Ходил со складной лесенкой, ночью, и вешал. Я эту артистку видел. Такая шустрая, играла фантастический спектакль о будущем. Там, значит, везде... наступила оттепель, все растаяло и утонуло... города плавают, вокруг всякие пираты и акулы...

— А почему так сладко? — спросила я. — Ты так про нее говоришь, что, не ровен час, весь потечешь. Понравилась скрипачка? Может, мне тоже скрипку купить?

— Ты что, ты что! — забормотал генерал, отшатнувшись и защитившись жестом. — Какой *сладко*, я рассказываю тебе!

— Ты лучше расскажи, кто у меня похозийничал, — перебила я и выпила граммов сто или сто пятьдесят, сама не разобрала, будто выпила в мойку. — И объясни, как эта сволочь сумела миновать все кордоны. Где записи с камер?

— Камеры были выключены, — Сарафутдинов не смотрел на меня. — Консьержа допрашивают. Он клянется мамой, что ничего не видел, не слышал и просто не помнит.

Я согласно покивала.

— Очень хорошо. Выключены. А он не помнит. Сарафутдинов, прекрати вилить. Откуда ветер? Кому понадобилось меня напугать?

Генерал опустил глаза, налил полстакана и тоже выплеснул в себя, будто в волшебный рукав, из которого хлынут далее блевотные лебеди, пруды, дворцы и прочая сказка. Ему было очень неудобно.

— Павлина, — теперь он не хрипел, а клекотал, — что за объекты ты продаешь? Пять штук. Пять объектов — пять трупов за ночь.

Меня будто под дых ударили. Этого я не ожидала. На миг я потеряла лицо.

— Что — объекты? Почему объекты, при чем тут они?!

Сарафутдинов навалился на стол мифическим красным быком, огнедышащим Минотавром; от него несло луком, чесноком и спиртным.

— Павлина, дело плохо. Я был у министра. Наверху идет бой. Ты мухлюешь с ведомственным имуществом — и будто на заказ убивают из детдома, убивают из детского сада, подряд... Сейчас, когда все с ума сошли с этими детьми... Дети, Павлина, нынче политика — от заграницы их спасли, а ты все торгуешь!



— Но этот маньяк и раньше убивал, — пролепетала я. — Ты сам рассказывал, Сарафутдинов...

— Э-э... мало ли, что убивал! Может, он раньше не нарочно убивал! Может, важные люди посмотрели и подумали: ай, как хорошо убивает! Пусть еще немножко убьет для нас...

Тогда я налила себе доверху.

— И что из этого, Сарафутдинов, что теперь делать? Чего ты от меня хочешь?

— Я не знаю, чего хочу, — мой генерал убрался со стола и подвигал челюстью туда-сюда, туда-сюда. — Ты понимаешь, в каком я положении? Если это *ихний* маньяк, то как мне быть — искать его или нет? А если найду — закрывать или пусть гуляет? Наши верха против ваших верхов, Павлина. Министр мне понятно намекнул! Я его прямо спросил: что, не ловить? А он мне: зачем не ловить — очень ловить!

— Так что же тебе непонятно?

Сарафутдинов закатил глаза, и на их месте образовались влажные перепелиные яйца.

— Да как же он прямо мне скажет, что не ловить! Он сам не знает! Может, это не наш маньяк, а просто сам по себе... Мне самое время пулю в лоб, вот что. Как ни сделай — все виноват!

— Ну уж, пулю... Не смеши меня.

Я прикончила стакан и чуть успокоилась.

— Аккуратнее с этой недвижимостью, Павлина. Костей не соберешь. Там едет каток! — Генерал поднял палец. — Вонинной не останется, будет лепешка.

Мне вдруг пришла в голову невозможная мысль.

— Послушай, Сарафутдинов. Говоришь, их нынче ночью поубивали?

— Не знаю, когда поубивали, эксперты работают. Но развесили ночью, да. А почему спрашиваешь?

— Сегодня ко мне явились все пятеро. Начальники этих точек. Прибыли дружно, как один. Я, конечно, всем разослала уведомления, но все-таки странно, что они друг о друге узнали и объединились. Их крольчатники ничем не связаны — разве что все они детские.

— И что с того?

— Обожди, не гони. Я раскидала их, но не в этом дело. Вдруг это кто-то из них?

Сарафутдинов тупо уставился на меня.

— Ну да, — продолжила я. — Кто-то один, который душегуб, сгношил остальных, и все они пришли.

— Зачем? — потрясенно отпрянул генерал.

— Тебе лучше знать! — я повысила голос. — Ты же плетешь про интриги, не я! Послал бы ты к ним людей — пусть выяснят, кто зачинщик. Может быть, его-то ты иловишь.

— Но это же бред, душа моя!

— А он, по-твоему, нормальный?

Сарафутдинов помотал башкой. Не то от выпитого, не то от переживаний он стал из красного коричневым, а также лиловым и сизым, и я забоялась, что его обнимет кондратий.

— Глупость какой-то ты мне сказала, — изрек он в итоге, путаясь в падежах и родах. — Пьяная болтаешь.

— Тогда думай сам, — разрешила я. — Тогда не знаю, какого черта ты вообще заладил об этих трупах. Если заговора нет, то и плевать я хотела! Объясни мне лучше, как так вышло, что мне квартиру перевернули вверх дном. Кто заказал, кто наехал, куда ваши смотрели? Если министры на ножах, то, может, твои у меня и порылись?

— Павлина! — зарычал мой генерал.

Тут вошел какой-то пенек, от которого пахло псиной.

— Товарищ генерал, — позвал он негромко. — Можно вас на минутку? Вам надо взглянуть.

Сарафутдинов грузно встал, потопал за ним в прихожую; я допила и направилась следом. В дверях я чуть не врезалась в генеральскую спину — живой комод, перекрывший проем. Пришлось его потеснить.

Сарафутдинову показывали находки: ножницы с иглами, все бурое от крови.

Глава 9. Билет в цирк

Оттепель! Движение в поднебесье, аромат перемен. Навстречу с фекальных газонов восходит почвенный пар; все перемешивается, имея в себя от всякого жившего и живущего. Разливается влага, оживают чудовища, лениво кружатся города, распространяющие эфирные кольца; сверху взирают ангельские полки, упрятанные в небесную сбрую, их сдерживает могучая рука. Все, что истлело, воспаряет и распадается на частицы: вот оно было — и вот не стало. Отчаянию вопреки, оттепель обещает надежду и не обманывает. Что-то высокое смещается, налезает пластами само на себя, сулит пролиться и даровать расцвет садам и болотам. Оголодавшие птицы достраиваются падалью и собираются петь...

Я простодушно попросила Сарафутдинова выбросить все эти якобы вещественные доказательства. Пожмала плечами и спрашивала, на что они ему сдались — это же очевидный абсурд. Кому-то вздумалось глупейшим образом подставить меня. Незвестный принес в мой дом эти предметы и учинил погром, благо не видел другого способа привлечь к ним внимание органов. Я же сама и вызвала полицию. Он правильно рассчитал.

Однако Сарафутдинов замялся, заюлил и начал плести какую-то дичь о резонансных делах. Он заявил, что ему-то, дескать, все совершенно очевидно, но люди непосвященные могут решить иначе. Они, сказал он, способны вообразить, будто я чем-то связана с душегубом. Они, по его мнению, даже могут подумать, что я сама наняла этого полоумного, имея целью дискредитацию и обесценивание ведомственных объектов. Короче говоря, какая бы между нами ни существовала связь, она была налицо.

Мое терпение лопнуло, я вспылила.

— Да зачем же квартиру громить? И на кой мне черт доносить на саму себя?

Пряча глаза, мой генерал объяснил:

— Может, вы что-то не поделили, и он пошалил сам. — Сарафутдинов прижал к груди руки. — Клянусь, Павлина, я так не думаю! Но ты же знаешь людей.

Я свела руки, вытянула их. Мои пухлые королевские ручки, на которых он столь упоенно сосал пальчики, что однажды подавился квадратным перстнем. Мои цепкие лапки с алыми коготками, которыми я дразнила и ковыряла его слоновью мошонку.

— Арестуй меня, Сарафутдинов. Доставай свои браслеты.

В моем предложении имелось двойное дно. Мы надевали наручники, когда располагались к запретным и острым проникновениям. Чаще их надевала я — генералу. Он понял, опасливо оглянулся — оперативники так и шныряли вокруг, ничто не могло укрыться от их внимательного сыскного взора. Я ничего не добила. Сарафутдинов не стал меня арестовывать, но я заметила мелькнувшее замешательство, молниеносное раздумье. При виде запястий в нем сработал рефлекс, на него ушло полсекунды; другая половина пошла на работу мысли. Он *не исключал*. Эта сволочь прикинула: да или нет.

— Пиши фамилии, Сарафутдинов, — велела я, и он покорно вынул девственно чистый блокнот. — Торт, Бомбер, Тыквин, Булка и Молчун. Последняя — псевдоним, я не помню, как его зовут. Это кто-то из них. Или все вместе. Они хотят моей крови.

— Ты мне глупость сказала, Павлина. Все это совпадение.

— Не дури. Совпадение слишком многозначительное. Ты знаешь сам.

Генерал вздохнул и сдвинул на заправку фуражку. Тулья оказалась на одной линии с его плоским лицом, и только челюсть торчала, подобная каменному крыльцу.

— Или может быть так, Сарафутдинов: ты сам подбросил мне эту дрянь. Уж тебе-то никакие консьержи не помеха. Я так и скажу, если спросят.

— Павлина, — зарычал мой генерал, но я уже знала, что нащупала сокровенную точку *джи*, и дожмала.

— Наверху потекло говно; ветерком потянуло — и ты тоже завонял. Решил пришить мне этими иглами сраные песочницы с читальными залами. Вообразил, что ваша берет? Не связывайся с военными, Сарафутдинов.





— Ты лучше посмотри, не взяли ли чего, — буркнул он. — Золото, камни, деньги! Документы какие-нибудь.

— Почем мне знать, чего там не хватает, — отмахнулась я. — Не суетись, я посмотрю, посмотрю. Я уже посмотрела. Нам обоим понятно, что все на месте.

Но мы, разумеется, все проверили снова и выяснили, что я была права. С документами генерал и вовсе сморозил глупость. Мне сделали виртуальный диск; ни одна сволочь не могла докопаться до документов, если я не хотела, а то немногое, что неизбежно оказывалось на бумаге, я не хранила дома, это была собственность министерства.

— Твои иголки, Сарафутдинов, — твердила я, хотя в голове понемногу складывалась другая версия. — Ты в курсе, что я записала на камеру, как ты меня харишь?..

Было глубоко за полночь, когда генерал выпроводил свою опергруппу. Моими посулами он хоть и был утрашен, но от улик не избавился, оформив их. Я видела, как он разрывался — остаться или пятиться от меня дальше на случай чего... Он остался — на полчаса.

Тогда я решила. Мы снова сидели в кухне и пили, только уже не водку, а коньяк.

— Знаешь, кто твой маньяк, Сарафутдинов? — спросила я. — Это Бомбер. Мое дело сказать, а дальше — дело твое; только учти — если совсем забудешь, где берега, и наедешь на военных, никакой Бомбер тебе не поможет. Я буду тебя топить.

Генерал сосредоточенно чавкал. Ему нравилось послевкусие. Никогда этого не понимала, мне всегда хотелось скорее запить или зажевать. Привычки молодости, традиции ивановской коммуналки, откуда я родом.

— Зачем Бомбер? — хрюкнул Сарафутдинов. — Кто он такой?

— Директор цирка. Он фокусник и гипнотизер. Очень удобная профессия, чтобы снять охрану и залезть в дом. Это раз. Два: фокуснику проще простого приманить деток. Они потянутся строем, как зайчики. Вроде крыс, которых утопили. Не желаете ли, мол, пару билетов в цирк?

Генерал нервно облизнулся.

— Каких крыс утопили?

Я вздохнула. Столкновение культур, а если проще — пещерная серость.

— Забудь, это сказка. Он цирк охраняет, Сарафутдинов. Потому что именно в цирке он потрошит малышей. Отберут помещение — все вскроется.

— А почему он потрошит животы и шьет глаза? — глупо спросил Сарафутдинов, как будто я могла знать.

— Вот сам у него и выясни.

Тут он начал вздыхать, чесаться, ерзать и привставать, как будто не знал, куда себя деть. Ему вроде бы хотелось уйти — полагалось уйти, но в то же время хотелось остаться. Или *полагалось* остаться. Я не наивна и не считала, что он терзался служебной невозможностью погрузиться в мои жаркие соки. Я даже не думала, что он боялся оставить меня по той причине, что погромщик вернется и открутит мне голову. Его донимали другие сомнения. Он подозревал меня в намерении скрыться и просчитывал кадровые решения, которые повлечет за собой мое бегство. Остро запахло мускусом.

— Ступай, Сарафутдинов, — позволила я. — Иди, служи дальше. Я никуда не денусь.

— Точно будешь здесь? — встрепенулся он.

— Очень хорошо буду.

Я редко глумилась над его азиатскими оборотами, но сейчас был подходящий случай. Сарафутдинов ничуть не обиделся — напротив, он встал с великим облегчением, хотя я видела, что в нем рассеялись не все страхи.

— Павлина, не ходи куда.

Он погрозил пальцем, прикидываясь, будто шутит шутки.

Мне не терпелось переодеться в китайский халат, я оставалась в тесном европейском костюме и вся взопрела. Мои розовые устричные складочки натерло за день, их саднило, микроскопические грязевые крошки растворялись и едко впитывались в распаренные поры, все было липко и душно.

Сарафутдинов ушел.



Я прошла в спальню, повалилась на ложе. Тварь, которая вломилась в мой дом, метнула подсвечник в потолочное зеркало. Я легла неудачно и отразилась так, что удар как будто пришелся мне аккуратно в чрево. Змеились ломкие трещины, и мне казалось, что на меня возлег многолапый паук. Скверная примета. Искаженное отражение возвращается к оригиналу и разбивает эфирное тело в согласии с причиненным ущербом.

Прибирать я не стала. Завтра. Это забота Фатимы.

Выпитое припечатало меня к покрывалу, и мне расхотелось переодеться. Я просто тарасилась в сердцевину стеклянного насекомого, но мысли подспудно варились, ворочались и складывались в пока еще не осознанное решение.

Утром я не поехала в ведомство — вместо этого я приказала ведомству явиться ко мне. Мелькнула мысль, что телефон уже слушают, но я отогнала ее. Как будто его раньше не слушали.

— Тёма, — сказала я, — ноги в руки и живо ко мне. Никому ни звука. Все отменить.

Тёмой звали моего капитана.

Я караулила его на выходе. Перед этим я заглянула в будку консьержа и кое-что ему объяснила.

— Слушай предельно внимательно, гнида, — я ухватила его вострую морду в горсть и дернула. — Я не знаю, кого ты вчерапустил. Кто прошлое помянет, тому глаз вон. Но если ты, бактерия, хоть намеком вякнешь, кого ты только что выпустил, я тебя урою. Я спроважу тебя в самый ад. Думаешь, мне конец? Не надейся. На тебя мне власти хватит.

Консьерж вдруг преданно заскулил — единым долгим звуком, не находя благоговейных слов. Он поджал обе лапки, словно сурок. Я толкнула его в кресло, смахнула с пульта какую-то дребедень и вышла.

Тёма вошел при погонах, в сверкающих сапогах.

— Мы едем в цирк, — я развернула его к двери лицом. — У тебя пистолет заряженный?

Капитан пошел бархатными пятнами, но отрывисто кивнул.

Мне почудилось, что я угодила в дамский детектив. Но было ясно, что генерал не ударит палец о палец. А за ночь я окончательно уверилась в Бомбере, собираясь прижать его к ногтю.

Глава последняя. Сергей Иванович

Ранней весной шапито простаивает. Бомбер напрасно намекал мне на якобы врожденное равнодушие к цирку. В детстве мне там нравилось. Я и цирк любила, и конфеты, и мороженое, и лимонад, и однажды обожралась в буфете до диатеза. Во втором акте вся исчезалась, разодрала волдыри — а была я в белых колготках, ножки полненькие такие, славные, как сейчас, и все измазала кровью да шоколадом. Воздушные шарики, флажки, петушки — мне все это покупали. В дыре, где я родилась, было целых два цирка, но не сразу, а подряд. Первый зачем-то взорвали, хотя он был еще ничего, а второй построили через пять лет. Я не собиралась идти по стопам руководителей старой формации и взрывать шапито. Под ним, конечно, не было никакой ракетной шахты. Я собиралась развернуть здесь образцовый военно-полевой храм, который работал бы в режиме круглогодичной инновационной выставки. Я не сказала об этом директору. Конфигурация шапито и соседство с кладбищем показали мне подходящими — кое-что надстроить, кое-что переставить.

Маржа не маржа, а цирк и вправду стоял без дела. Никакой крепкий хозяйственник не стал бы взирать на это спокойно. Будний день, обочина жизни; где-то шуршат грузовики, разлетается веером буря грязь; потеплело, но пасмурно. Здесь же все вымерло, лишь изредка подает голос кладбищенское воронье. И шапито имел похоронный вид — расписанный во многие краски, но все равно темный от копоти. Над парой слонов из гипсокартона кто только не потрудились — на них начертали непристойности, их били, щипали, колупали попоны; может быть, в пьяном раже даже выкусывали из них фрагменты; продавили, сбили клыки, изрисовали хоботы так, что те превратились вовсе не в хоботы. Убогие аттракционы, качели и карусели ржавели и



гнили, парковка обернулась гумном. Охрана — пенсионер в будке. Я коротко объяснила ему, кто мы такие, и знаком приказала сидеть, потому что он уже дернулся вытянуться во фронт, а глаза стали, как будто он сию секунду проглотил килограмм белены.

— Где директор?

Старый шептун отвечал, что Бомбер на месте, в помещении, а больше там и нет никого. Я велела ему контролировать, что называется, периметр, хоть это была и полная глупость, но ему так не показалось, он только кивал.

— Другой выход есть?

Юродивый, конечно, вообразил, будто я спрашиваю в противопожарном смысле.

— Есть! Даже два!

Я не стала его разубеждать, а про себя решила действовать тише. Можно было оставить Тёму снаружи, но я прикинула и поняла, что с ним мне будет спокойнее.

Мы с капитаном вошли внутрь. Невзрачное, с позволения сказать, фойе, пустые лотки, деревянные лавки. Я старалась держаться уверенно, но все же двигалась крадучись. Капитан расстегнул кобуру. Я предупредила его, что дело опасное. Мы проследовали по ипподромной дорожке к манежу. Помещение было куда просторнее, чем представлялось снаружи. Вымерший амфитеатр, мощный центральный шест для поддержания шатра. Другие шесты, промежуточные и боковые. Под куполом — сиротливая воздушная оснастка. Опилки, впитавшие неистребимый запах зверья; пыльные малиновые ковры, полумрак; бледные световые столбы, протянувшиеся высоко от каких-то не то окон, не то иных производственных отверстий.

Что-то упало, стукнуло и отдалось глухим эхом. Затем булькнул капитан. Я повернулась и увидела, как он медленно оседает на колени. Кровь тонкими фонтанами выплескивалась из перерезанных артерий. От капитана метнулась черная тень и спряталась за шторкой в десяты шагах от меня.

«Надо забрать пистолет», — спокойно подумала я, обратившись в мыслящую машину. Но кобура, понятное дело, уже опустела. Пуговка расстегнута. Пальцы иллюзиониста, стосковавшиеся по сценическому искусству.

— Бомбер, — позвала я. — На что вы надеетесь? Выходите, поговорим.

Капитан повалился ничком и остался лежать, мелко дергаясь прощальными сокращениями. Бомбер выступил из тени, целясь в меня. Он почему-то оделся в черный, с алой подкладкой плащ и вскинул свободную руку нетопыриным крылом. На голове красовался цилиндр. Лицо у него было совершенно безумное — большое болезнью, а не просто пьяное от крови и разгула чувств.

— Как вы попали в мой дом? — спросила я лишь затем, чтобы занять его разговором.

— Ключики, — осклабился Бомбер. — В вашем кабинете, когда вы изволили любоваться фокусами. Откатал, мне их выточили за час.

— Консьержа усыпили?

— Усыпил, — кивнул он, блуждая взглядом.

— Но зачем?

— Хотел, чтобы вами пристально занялись, обратили внимание. Может, и уцелела бы радость для деток.

— Но я оказалась умнее?

— Быстрее, — поправил он. — Но мы это сейчас уладим.

Я поспешила продолжить:

— Это вы подговорили остальных? Хотели затеряться в компании?

— И затеряться хотел, и обозначиться громче.

— А что за лесенка, с которой вы бегае по ночам?

Я тянула время, но Бомбер, отвечая, мелкими шажками приближался ко мне.

— Есть такая лесенка, цирковая, для эквилибристов...

— А почему зашиваете глаза?

— Это не ваше дело, Павлина Пахомовна. Чтобы птицы не выклевали, если угодно. Я отпечатываюсь в глазах — и потом попаду в рай. На крыльях ангелов. Детки меня проведут... Я же артист, я знаю, что такое контрамарки.

Он поднял пистолет, но его ударили по руке, и тот выпал. Слева, справа, сзади напрыгнули люди, но Бомбер с визгом вырвался и пустился бежать. Пуча глаза, в

сбившемся на затылок цилиндре, с разорванным пробором и прыгающими усами, он больше напоминал старинного комика, чем возомнил о себе Ойчек Молчун. Оперативники бросились в погоню. Конечно, они следили за мной. Сарафутдинов, явившийся последним, протоптал мимо и глянул на меня лишь мельком, дабы убедиться, что я цела. Бомбер тем временем уже скрылся во мраке по другую сторону манежа.

Сарафутдинов пошел по арене. Для этого шествия, которое вполне могло сойти за парад-алле, не хватало оркестра. Я ощутила себя на вторых ролях и поняла, что еще немного — и меня ототрут, потому пустилась вдогонку и вскоре обогнала генерала. Как только это случилось, я обнаружила, что мчусь со всех ног.

В коридоре-кольце захлопали выстрелы. Мелькнула алая подкладка. И вдруг все собралось на одном пяточке; Бомбер отшвырнул пистолет капитана, поднял руки и привалился спиной двери, бледный как смерть. Теперь он смахивал на классического Пьеро. Его окружили, я протолкнулась ближе. Где-то позади раздувался Сарафутдинов, он еще не дошел.

— Нельзя! — зачистил Бомбер, загораживая вход. — Это служебное помещение, туда нельзя!

Он перестал быть Пьеро. Лицо Бомбера внезапно сморщилось, и он сделался обезьянкой. Таким он, видимо, и был внутренне, источенный и высушенный помешательством.

Его схватили за руки, за плечи, дернули в сторону, ударили ногами в дверь.

— Не троньте его! — завизжал Бомбер. — Там Сергей Иванович! Не смейте к нему, вы пожалеете, вы не имеете права его трогать!

Подоспел генерал.

— Какой такой Сергей Иванович? — прохрипел он, вторгаясь в проем.

— Не ваше дело! — выл директор. — Сергей Иванович! Сергей Иванович!

Я заглянула и замерла. Первый оперативник приблизился к грязной оцинкованной ванне, квадратной, заглянул внутрь и отшатнулся. Он пятился, пока не уперся в стену, и там остался стоять с широко расставленными ножищами. Второй, когда посмотрел в ванну, скорчился и начал блевать.

— Сергей Иванович! — кричал Бомбер.

Зашел туда и Сарафутдинов. Он потоптался у ванны и вернулся в коридор, остановился там и принялся мрачно разглядывать свои ботинки. Бомбер выкатывал глаза и всхлипывал, его держали.

— Убедился, Сарафутдинов? — осведомилась я.

Генерал вздохнул, посмотрел на Бомбера.

— Пусть идет, — буркнул он.

Оперативники смешались.

— Виноваты... не поняли.

— Что не поняли?! Пусть идет! — Сарафутдинов повысил голос, поднял глаза на Бомбера. — Пошел отсюда! Я теперь знаю тебя, берегись, ходи прочь, пока цел!

Руки разжались. Бомбер ослабилась сквозь слезы, черные от грима, и стал отступать. Его походка делалась все более упругой с каждым шагом. Он даже попытался отвесить поклон, хотя еще весь дрожал; сорвал цилиндр, взмахнул, метнул его, как летающий диск.

Сарафутдинов повернулся ко мне.

— Извини, Павлина, вы задержаны, гражданка Вонина.

... Я не знаю, не знаю, что они пишут на меня. Я красивая, бедная, я спадаю с лица, мои платья висят мешком. Мне не даются стихи, я хочу шоколада. Меня возили-допрашивали, мне ничего не сказали о детках; мне кажется, их *похоронят* и не повесят на меня... Но что же тогда, почему замолчал мой министр, куда он уехал?.. Вы твари, вы, господа, сущие звери, я сижу взаперти, меня хотят замуровать, меня сошлют в африканское посольство к людоедам, я хочу посмотреть телевизор... Никто не знает, где я; никто не найдет меня, моего дома нет, моей улицы нет, района нет тоже... и меня тоже нет, а на нет — нет суда, да его и нет... Я боюсь подходить к окну, за ним уже распускаются почки и что-то цветет; там стало теплее, а меня пробирает холод...

Елена БЕРСЕНОВА

КОРОТКО ЛИ ДОЛГО

* * *

Свобода рождается осенью после слёз.
Наутро ты ровно в восемь глаза откроешь
И вспомнишь, что на письмо отвечать не нужно,
Насыплешь синичкам семечек полпакета
И выйдешь на снежный полог, к последним лужам.

Из маленьких слов не составить большого чувства.
Из мелких упреков стреляешь легко и метко,
Но как ни крути — не больно и не обидно.
В лесу разыгралась белка — ее не видно,
Но сыплет на шапку снегом тугая ветка.

И больше не хочется быть у него в ладошках,
И больше не нужно ласково о хорошем.
Все это было, если не понарошку, то так непрочно —
Сдуло осенним ветром.

ЗИМА

1.

Слезы текут, замерзая льдинками на ресницах.
Я бреду, спотыкаясь, в школу — сегодня вторник.
Если завтра так будет холодно — мы не пойдем учиться.
Я в пакете пинаю весело сверток спортивной формы.
Танька подстриглась, Полинке купили новую юбку.
А я себе сшила из старой, получилось почти что модно.
Мама на кухне посуду моет, бабушка курит трубку,
Пьяный сосед наряжает елку — готовится к Новому Году.



2.

По улицам бродят белки и пьяные мужики.
Никто не хочет в Сибири жить — здесь холодно и темно.
Студентки не носят валенок, предпочитают чулки.
И в минус тридцать, и в минус сорок — им, кажется, все равно.
Одинокий квадратик светится — это ты меня ждешь.
Варишь глинтвейн, напевая, поглядывая в окно...
По городу рыщут собачьи стаи — дойдешь — не дойдешь?
Зато у нас здесь не стреляют, и снегу полным-полно.

3.

Вот содрогается улица — кажется, началось.
Усталый вдоль берега белого снежный бредет великан.
Одинокий прохожий крестится, собаки бросают кость,
Великан завывает песенку — он безнадежно пьян.
Шубастых хватает мужчин и женщин, засовывает в мешок.
Вот-вот поскользнётся и сядет сверху на домики горемык,
Раздавит снегом, задует ветром, и станет всем хорошо.

Город в печальном молчании ждет окончанья зимы

* * *

Выходи из-за угла,
Стой, в чем мама родила,
Пока люди языками не отхлещут добела.

Глубоко войдёт игла...

Глубоко войдёт игла...
Не сдержалась, не смогла,
Подскочила, разрыдалась, сбросив нитки со стола.

Глубоко войдёт игла...

Что ж ты, девка, солгала?
Что любила, берегла?
Посмотри, на вышивании твоём сплошная мгла.

Не сдержалась, не смогла...

* * *

Наступает лето мягкой лапой
На сухие городские стены.
Стану я задумчивой и слабой,
Стану я усталой и бестелой.
Я тебя забуду и заплачу —
как знакома и запретна тема!

Зайчик солнечный по мягким веткам скачет.
Всё не то.
Не так.
Не так.
Не так. Не с теми.

* * *

Пока живем, гремим костями,
Гостями топчем свой паркет,
Бог собирает нас горстями
В огромный мусорный пакет.

И бесполезно извиняться —
Танцуй, работай, или плачь —
Он, наконец, решил прибраться,
Его достал весь этот срач.

КОРОТКО ЛИ ДОЛГО

Близкие сходятся, дальние расстанутся.
Долго ли, коротко, вышла на берег Маша.
Тапки сняла,
Покрутила волшебным блюдцем,
Яблочко съела, закинув огрызок в море.
Что ни загадывай, кажет одно лишь горе,
Что ни задумывай, только лишь посмеются.
Лучше не видеть вовсе, чем жить пустое,
Легче на шею камень, чем дальше больше.

Каменны реки, ягодное болото,
Сколько клубку катиться — вернет по кругу.
Всё исходила, дурко, ждала кого-то —
брата, соседа, волка, милого друга,
беглого, дальнего... вышла на берег, море
мокро ругалось, выплюнув золотую.
Рыбка сдарила Маше две новых юбки
Да башмаков две пары на смену старым.

— Знаешь, сказала рыбка, я так устала!
— Знаю, сказала Маша, сама такая.

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Владимир АЛЕЙНИКОВ

САЮ ВАЮ*

* * *

Ты твердишь мне о том, что было, говоришь о том, чего не было, непрерывно сопоставляешь что-то с чем-то, — зачем же так?

То, что было, куда-то сплыло, ну а то, чего вовсе не было, с тем, что было, соединилось, превратилось в звук или знак.

Всё настолько было чудесным, не могло быть сухим и пресным, что давно устремилось к песням, оказалось на месте там.

Нет причины мне спорить с кем-то — ведь живая событий лента сквозь пространство прошла зачем-то, чтобы время постиг я сам.

Нить — у меня в руке. Выйду из лабиринта бед моих, отшумевших где-то, давно, вдали.

С нитью — понятие «быть» связано неизменно. К свету — из мглы, из мрака. Даже из-под земли.

Быть — это жить. И — петь. Быть — это знать. И — верить. Быть — и любить. Прозреть. В чаяньях — и речах.

Имя эпохи — здесь. В книгах моих. При звёздах. В вышних. В юдоли нашей. В яви. И — при свечах.

Я стоял у моря, один, возле самой воды, весной, и смотрел, как ещё не прогревшиеся на солнце апрельском волны набегают, одна за другой, на пустынный берег, и слушал мерный рокот, неспешный плеск пробуждающейся стихии.

Позади, за плечами, было столько сложностей и событий, слишком тягостных для меня, что, казалось, они нарочно были собраны воедино кем-то злобным, жестоким, жаждущим поразить меня в самое сердце, нанести мне побольше ран.

Мне хотелось лишь одного, как и встарь, — покоя и воли. Мне с избытком хватало боли. Я держался, как мог. Ничего, постараюсь выстоять вновь. Не впервой. И похуже бывало. Гул безумного карнавала затихал. Но жива — любовь.

Да, жива. И живее — нет ничего, никогда, на свете. Вот и чайки, в тоске о лете, раскричались. И свиток лет развернулся передо мной. Список длинный всего, что было вьявь когда-то. Меня знобило. В берег бились волна за волной.

Кто-то вёл меня молча — сквозь боль. Очевидно, ангел-хранитель. Возвратился, приморский житель, я домой. Как морская соль, сквозь цветенье садов окрест, нависала сизая дымка над холмами, с далью в обнимку. Птички стаи срывались с мест, улетали куда-то. Шёл час вечерний, как гость случайный, по земле, но куда? За тайной? Шаг — широк был, и взгляд — тяжёл. Миновала меня беда? Что ж, похоже. Знать, есть защита от мучений. Окно — открыто. Высоко надо мной — звезда.

И тогда развернул я, решившись, этот свиток, незримый, но сызнава прозреваемый, свиток лет, и не чих-нибудь, а моих, и взгляделся в него — и встали чередой передо мной, непрерывной, сплошной, видения лет минувших и дней недавних, детства, юности, всех времён, мною прожитых, всех имён отголоски, событий всех назревающее кипенье, голоса, нестройное пенье, чьи-то взгляды, негромкий смех, громкий плач, прощания, встречи, расставания навсегда, возвращения — отовсюду — в мир мой, личный, поближе к чуду, где, с природою рядом, буду жить затворником, — в мир труда, благодати, ночных бесед, может — с ангелом, может — с речью, чужа суть её человечью и небесный, издревле, свет.

...И настолько было чудесно всё куда-то идти да идти, не спеша, спокойно, — вперёд, к новым далям, туда, в пространство, где клубились в небе, распахнутом над

* Продолжение. Начало см. «Сибирские огни», 2013, № 7, № 8.

вершинами гор, облака, где полынью пахло так терпко, горько, сладко, где придорожный куст шиповника звонок был от бесчисленных алых ягод, где гугукали горлицы, пели, посреди бескрайнего зноя, на деревьях какие-то мелкие, симпатичные, серые пташки, где на крупных, замшелых камнях сонно грелись вконец разомлевшие, длиннохвостые, пёстрые ящерки, где орёл парил — надо всем, что внизу, для него, оставалось, — высоко в поднебесье, а ниже — пролетали быстрые, зоркие, острокрылые ястреба, и змея скользила пружинкой в камыши, и в кизилowych зарослях деловито, невозмутимо, непрерывно шуршали ёжики, и цветы полевые таяли в раскалённом, горячем воздухе, как мазки акварели детской, и дорога, почти тропа, всё вела меня, уводила в неизведанную страну, в мир мечты — или яви, так всё на свете соединилось в нечто целое, дорогое, за которым вставала — жизнь, и моя, и чья-то ещё, жизнь и песнь, для которой нынче все пути и дороги — в радость.

В Старый Крым! Я шёл — в Старый Крым. Обитал там когда-то — Грин. В середине шестидесятых, шёл я, в зной, молодой, да ранний, в Старый Крым, дорожку Грина. Он по этой дороге когда-то иногда ходил в Коктебель, навещал там Волошина, был, хоть какое-то время, у моря. И по ней — возвращался обратно в Старый Крым. Вот и я шёл по этой, не особенно трудной, дороге, летним утром, из Коктебеля, належке, словно вместе с Грином, так тогда я воображал, а на самом деле один, в Старый Крым, чтоб увидеться там — нет, не с Грином, хотя, конечно, это было бы лучше всего и запомнилось мне надолго, навсегда, — а с его вдовою, опекаемой в те года приезжавшими к ней постоянно, помогавшими ей киевлянами, молодыми супругами Верхманами, благородными, самоотверженными и порядочными людьми, которых я знал, поскольку дружили они с моими друзьями тогдашними киевскими, — шёл я, чтобы увидеться с Ниной Николаевной Грин, светлейшей, изумительной женщиной, старой, побывавшей во время войны в концлагерях немецких, ну а после войны — отбывавшей срок в советских уже лагерях, после всех испытаний этих, на свободе, вдосталь намаившейся, но сумевшей в невзгодах выстоять, сохранить благородство, достоинство, гордость, верность Грину, который для неё был всем, и, отважно и упрямо сражаясь с косностью всех властей, превратить старокрымский белый домик, в котором Грин жил недолго и умер, в музей.

Городок открывался внизу, как ладонь, широко открытая и протянутая, в знак приветствия, всем входящим в него. На севере возвышалась гора Агармыш, защищая его, и зимой, и весной, и осенью поздней, от холодных ветров. Городок был по горло в садах. Казалось, что выглядывают из густой, многослойной, обильной зелени лишь глаза его, жаркие, карие. Да, Восток есть Восток. И здесь ощущалось его присутствие. Ведь была здесь, в прошлом, столица ханства Крымского, славный Солхат, процветала культура, арабского, разумеется, толка, учёные наблюдали ночью за звёздами, сочиняли стихи поэты, и Великий Шёлковый Путь проходил здесь, а в небе над ним семизвёздный Чумацкий Воз, проходил, ковш Большой Медведицы, галактической влагой полный, нависал, и шли караваны, то из Кафы, то снова в Кафу, где с фелюг и с прочих судов, порт просторный заполонивший до предела, сгружали товары греки, турки, венецианцы, чтоб везти их, через Солхат, на Восток, сквозь Среднюю Азию, сквозь пустыни и горы, в Китай, а потом возвращаться обратно, и кричали вовсю муэдзины с минаретов, и ржали кони, и верблюдам сердито фыркали, и погонщики, собираясь в караван-сараях, возможно, вспоминали строки Саади знаменитые, «о, караванщик», и вздыхали: «так не гони!» — и стекала с окрестных гор, по проложенным тонким трубам керамическим, чистая, сразу же освежающая вода родниковая, но с секретом, потому что с нею ведь смешивалась и роса, и журчали фонтаны в мусульманском раю, и пели вечерами волшебными гурии, и для путников, и для местных, вопреки легендам и сказкам, не таких уж воинственных, жителей, нет, скорее, миролюбивых, — да и кто же нарушить захочет, самолично, райскую жизнь, если вот она, рядом, везде! — нет уж, лучше побыть в раю на земле, ну а что там на небе будет, с этим потом разберёмся! — так и жили здесь, не тужили, и куда потом всё девалось? — только думать о нём оставалось, вспоминать или воображать, но и то хорошо, — Солхат, как восточный незримый Китеж, неизменно присутствовал здесь, в старокрымской летней глуши, и присутствие это было и приятным, и грустным, и светлым, словно лунный свет над горами и долиной, словно услышанный где-то рядом, но словно вдали, незнакомый, меланхоличный, притягательный, тихий напев.

Дудел в самодельную дудочку малыш белобрысый на лавочке у забора щелястого. В гуще широких, разросшихся вишен чирикали воробьи. Старушки с авоськами, полными буханок белого хлеба и пачками вермишели, из магазина шли, по дороге переговариваясь, по привычке, о том да о сём. Проезжал грузовик, фырча, поднимая



пыль, исчезал торопливо за поворотом. Тарахтел мотоцикл с коляской. Промелькнули, шурша колёсами по горячей дорожной пыли, два подростка на велосипедах. Вдоль сонных улиц тянулись, от столба до столба, и дальше, к другим столбам, провода. Широоченные кроны окрестных, исполинских грецких орехов светились маговой зеленью на фоне иссиза-синего, кипящего солнечным светом, без единого облачка, небе. В городке шла своя, неспешная, по традиции, тихая жизнь. Мечеть Узбека вставала осколком средневековья, Ислама дремотным отзвуком, над кровлями и деревьями, над бытом иной эпохи, как негромкое, но достаточно тревожное напоминание о том, что всё возвратится, и довольно скоро, назад. Запущенные руины медресе, каравансарая смотрелись, как декорация для фильма из прежней истории заглохшего, но не погибшего, живучего этого края. Прохожие редкие шурились на солнце, лускали семечки, говорили о новостях или молчали, курили, стараясь прийти поскорее из горнила жары домой. Городок был слишком уж будничным, чтобы в нём обнаружилось что-то необычное. Но, однако, необычного было в нём предостаточно. Приглядеться хоть немного было довольно, чтобы сразу же ощущалось приближение волшебства.

Я открыл калитку, вошёл, распалённый с дороги, во двор и направился к белому домику, что светился сквозь зелень листвы в глубине двора, но казалось — высоко, далеко, впереди. А из домика — шла мне навстречу, в светлом платье, с ковыльными, белыми волосами, с глазами, полными лучезарного света, с лицом то ли мученицы, то ли феи, то ли гриновской Фрези Грант, вся — сияние белое, Нина Николаевна Грин. И беседа наша шла, среди пения птиц, монотонного шелеста листьев, бликов солнечных, редких порывов полусонного ветерка, отраженья зеркального, в стёклах приоткрытых окон, двора с пестротой цветов, деревьев, неба синего, нас обоих, зазеркалья, далёкого моря, близких гор, страниц незабвенных и любимых гриновских книг. И сказала мне грустно Нина Николаевна: «Грин для меня самым близким был человеком». Я молчал. И смотрел на неё. Сквозь её седину, сквозь усталость, сквозь смирение, сквозь надежду на хорошее, там, в грядущем, проступала, нет, высветлялась суть её, сокровенная, тайная, и какая-то нежная музыка в ней звучала, и я представлял их, супругов, вдвоём идущих, принаряженных, чинных, вдоль моря в Феодосии, или здесь, в пору трудную, в Старом Крыму, где соседи порой писателю вдруг дарили щепотки чая, потому что, старый чаёвник, он работал всегда, поставив на столе два стакана чая, и курил, и никто тогда не тревожил его, и он жил, как прежде, в мире своём, создавая новые вещи, за которыми различал он, да и я различал всё время, в ходе нашей беседы, свечение благодатное и целебное, доброту, любовь, и внимание, и отзывчивость, и понимание, и терпение, и надежду, всё, что было в сердце, в душе и в судьбе тяжелейшей Нины Николаевны. Нет, не хочу говорить. Помолчу, пожалуй. Посмотрю на неё, подольше. И такой — навсегда запомню. Для сияния — даже речь не нужна иногда. Сияние — это вечность, сквозь расстояние от земли до небес, влияние звёзд на путь юдольный, слияние судеб двух, негаснущих свеч.

...И когда, через годы, Нина Николаевна умерла, то супруги Верхманы, киевские, оказалось, отважные люди, раскопали её могилу, где лежала она, вдали от могилы мужа, поскольку не позволили местные власти хоронить её рядом с мужем, и холодной зимнею ночью гроб её извлекли — и тайно (ведь при жизни дали ей слово сделать это) похоронили, как хотела она, рядом с Грином.

А сиянию — ни увяданья, ни забвенья, ни смерти нет. Вот оно, перед вами, сияние — на страницах гриновских книг...

Здесь же, в Старом Крыму, в годы прежние, жил ещё один человек, уникальный, неповторимый, человек благородный, светлый, образованный, деликатный, с непросотою судьбой, конечно, и действительно яркий, в молодости, ну а в старости — скромный, чистый и хороший русский поэт, избежавший чудом репрессий, от столицы, от жизни бурной, бестолковой, литературной или псевдолитературной, что намного вернее, пожалуй, норовивший держаться подальше, живший долгие годы в глуши — в Подмоскowie, позже — в Крыму, и, наверное, этим и спасшийся, старокрымский затворник, Григорий Николаевич Петников, славный председатель земного шара, потому что ему когда-то передал этот титул друг его, собеседник, соратник, Хлебников.

И услышал я голос Хлебникова:

— Крыло европейского разума парит над его творчеством...

Помню наши беседы с Петниковым — и его, седого, высокого, сигаретным дымом окутанного, как утёс облаками, сдержанного, но порою вдруг вспоминающего что-то важное, оживающего, заводящегося с полуслова, говорящего о былом, о друзьях своих, футуристах, и, конечно, часто, о Хлебникове, о минувшей прекрасной молодости, о поэзии, о художниках, обо всём, что он помнил и знал, не писав-



ший воспоминаний, но с людьми, которым он верил, говоривший открыто, подолгу, очень искренне, и тогда всё выстраивалось в его монологах само собою, время прежде оживало, приходило мгновенно к нам, в дом с белёными стенами, где были книги, картины, рукописи, где поэт обитал, где в стёклах приоткрытых окон, бывало, отражались вечером лица незабвенных его друзей, где, конечно же, существовал тайный ход в зеркальце, куда-то в глубь пространства и времени, в те измерения и миры, что мерещились иногда мне в тогдашней яви, где музы, словно пять сестёр Синяковых, навещали поэта, где пел Божидар, где Чурилин, Асеев, Пастернак, Бурлюк и Кручёных, Маяковский, Малевич, Филонов приходили в гости, как встарь, пусть и в памяти, где надежда не старела, вера всё крепла, где любовь упрямо жила в сердце, быющемся так же, как в детстве, с изумлением перед миром, словно сызнава вдруг распахнутым, призывающим жить, дышать, говорить, работать, смотреть вдаль куда-то, и вглубь, и ввысь, где созвездие Водолея, под которым родился Петников, помогало ему, хранило, на путях, земных и небесных, где осталось в негромких песнях всё, что дорого сердцу было, что спаслось от невзгод и бед, что зажгло негасимый свет на земле, чтоб вспомнить о нём, нынче, в августе, ясным днём...

И настолько было чудесно возвращаться назад, в Коктебеля, но уже не пешком, потому что было поздно совсем, вечерело, и усталость дневная сказывалась понемногу, — а на попутках, по привычке, на перекладных, или, если вдруг повезёт, на автобусе, до Насыпного, до развилки дорог, а потом — как получится, как придётся, может, кто-нибудь, кто добрее, поговорчивей, и подвезёт, чтобы вновь не идти мне, страннику с посошком, на своих двоих, вдоль шоссе, в темноте, под звёздами, долго, медленно, до Коктебеля.

Добирался, к ночи. Друзья привечали меня. Вино появлялось. Все оживлялись. Говорили. Стихи читали. Забывали о том, что надо отдохнуть, немного поспать. Вспоминали об этом — под утро. Петухи в округе кричали. Расходились мы. Засыпали. Просыпались. И — к морю шли. Новый день — чудеса сулил. Да и годы всё длил и длил. Годы шли — один за другим. Но — куда же? За дорогим. За бесценным. За всем, чья весть — из былого — света и ныне. Пусть чего-то нет и в помине. Но истокам — хвала и честь. Но начало всего — со мной. И сейчас. Вот, пишу эти строки — сквозь блаженный свет на востоке, над сумятицей всей земной. Духа древняя колыбель, видно, спас меня Коктебеля...

В Коктебеле — что в Коктебеле?

Что там было — в прежние годы?

Там царила Мария Степановна Волошина, в доме поэта обитавшая, принимавшая, привечавшая только тех, кто понравился ей, кто пришёлся по душе. Остальных — отвергала. Восседала в кресле, седая, с виду грозная, резкая, властная. Осыпала любимчиков милостями. Допускала, бывало, к себе. Вспоминала о прошлом. Читала, по традиции, словно с вызовом и властью, и судьбе, и всем нежелательным, непосвящённым, оптом, людям — стихи Волошина, с неким пафосом, героическим и эпическим, наизусть. Иногда — говорила с нами, просто, искренне, миролюбиво, доверяя нам, поверяя сокровенное что-то своё, проверяя нас, тем не менее, между прочим, слегка, на прочность. Я читал ей стихи свои, те, что многие знали, тогдашние. И они ей всё больше нравились. Шло к тому, что ещё немного вот такого общения, тесного, с глазу на глаз, и стали бы с нею мы, наверное, крепко дружить. Но стеснялся я лишний раз беспокоить её визитами, привычке врождённой своей никому никогда не навязываться, проявлять деликатность, знать меру, неизменно, всегда и во всём. И поэтому с ней общался я, год за годом, эпизодически, как придётся, от случая к случаю. Впрочем, ежели все эти встречи взять да вспомнить, собрать воедино, то получится, что о многом рассказать бы мог я сейчас.

Я дружил в Коктебеле — с Марией Николаевной Изергиной. Безусловно, великой женщиной. Вот кто был душой Коктебеля! Вот к кому отовсюду тянулись люди творческие, да и все настоящие, все свои, так сказать мне хочется, люди. К ней, умнейшей, чуткой, отзывчивой, шёл всегда я, как будто на крыльях над землёю всё время летел. И она встречала меня, невысокая и седая, вся сиявшая благородной, изумительной красотой. Говорить могли мы часами, совершенно не уставая. Ей читать стихи было радостью настоящей всегда, для меня. И она понимала стихи лучше многих. Она любила и ценила мои стихи. И её суждения были тоньше, глубже, вернее всех остальных суждений. Она, словно музыка, всё вбирала постепенно в себя — а потом, словно музыка, щедро дарила всё, что в ней оживало, цвело, разрасталось, пело, звучало. Всё, в жизни её непростой было прежде, вдруг создавало поразительную основу для того, чтобы жить в ладу с красотой, с любовью, с каждым приходящим к ней человеком. Свет вечерний с её веранды, прорываясь упрямо

сквозь непогоды и дремучую косность советских, с жёсткой сетью ограничений и границ железных, времён, проникал сквозь любые преграды и запреты, легко и свободно, узнаваем был в самых разных, в самых дальних местах страны, был спасительным для меня, сокровенным, в былые годы, сохранял дыханье свободы, был залогом того огня, что погаснуть не мог никогда, потому что им согревались все мы, вместе, и прозревались наши судьбы, чтоб навсегда озариться всем, что срослось, что сроднилось навеки с нами в Коктебеле, чьё имя — знамя, что хранить нам потом пришлось, в Коктебеле, где выжил — дух, где и зренье острей, и слух, в Коктебеле, где речь — со мной, вместе с музыкою земной.

И настолько было чудесно оказаться, допустим, в Керчи. Там пахла морская вода чем-то солёным, зелёным, подводным, вдаль уходящим, к берегу приближающимся, колышущимся в туманной дымке, на солнце брезжащим, говорящим о том, что и вправду есть и другие страны, неизведанные, такие, о которых читал я в детстве, говорящим о том, что ветер разгуляться мог на просторе, и тогда закипали волны, поднимались, в пене, валы, паруса кораблей напрягались, как тугие мышцы, и в небе громоздились, клубились, реяли беспокойные облака, говорящим о том, что в штиль становилось море спокойным, неподвижным, влажно-зеркальным, и в нём отражалось тогда и прошлое, и настоящее, и даже грядущее в нём тоже могло отразиться, потому что за этим зеркалом обитали духи пучины, духи странствий, духи тоски по пространству, и время тогда то сжималось, то расширялось, и фрегаты сменялись эсминцами, теплоходы сменялись бригами, крейсера сменялись фелюгами, в непрерывном, безумном вихре перемен, и в порту смеялись моряки над недавними страхами, и рыбацкие лодки отважно уходили в пролив, шли к Тамани, а с Азова шли сухогрузы, с моря Чёрного танкеры шли, а внизу, под ними, лежали на песчаном, иллистом дне, со времён войны, затонувшие корабли, катера, самолёты, и летали над этой бездной, с громким криком, белые чайки, приглашая меня, стоящего у воды, глядящего вдаль, в кругосветное путешествие, и на свет маяка ночами, вместе с птицами и мотыльками, что слетались туда отовсюду, выходили из мрака бывалые и выдавшие виды суда, и горела моя сигарета маячком у кромки прибора, и поблизости поднимался, сквозь резную листву, древний храм, и сжималось тогда моё сердце, билось чаще, и музыка моря заполняла мой слух, и глаза увлажнились, и я говорил о таком, что сказать было некому, кроме моря, и сонмы созвездий были стуктом всех космогоний и хранилищем всех гармоний, и пристанищем негасимого, в этом мире бескрайнем, огня, пусть с невзгодами, но любимого, и залогом нового дня.

А ещё ведь была — Феодосия. До неё-то намного проще добираться из Коктебеля. В окруженье холмов сухих, с ожерельем залива. Кафа. Но приятнее говорить — Феодосия. И привычнее. Не случайно — Богом дарованная. Свежий бриз. Корабли в порту. На тенистых улицах — тихо. Даже в южных дворах, с высокими, из ракушечника, заборами, отдаленно напоминающими крепостные крепкие стены. Кружевные узоры акаций. Тополя, стоящие стражами давней тайны. Арабских сказок и мелодий из парка джазовых синкопических — за углом, за любым поворотом, слияние, смесь гремящая, круговорот лиц, улыбок, весёлых и грустных глаз, шуршащих платьев, шагов по асфальту, афиш, фронтонов невысоких светлых домов, бликов лунного или солнечного, вперемешку, тёплого света, отражения в зеркалах, отзвук имени, отсвет фонарный, створки мидий на берегу, на песке, широкие всплески набегающих, словно волны на просторные пляжи, нечаянных, незабвенных воспоминаний, не сравнимая никогда и ни с чем, безмерная грусть и на смену ей приходящая неизменная радость, слова о любви, о таком, что волнует, что тревожит, спать не даёт, что ведёт за собой куда-то в бесконечность, вот и идёшь, видишь, слышишь, запоминаешь, неминуемо приближаясь если не к пониманию новому южной яви, то к постижению всех деталей её и красок, всех красок, неброских, но стойких, всех низин и высот окрестных, всех, всего, навсегда, и вот это в сердце твоём живёт, обживает, привыкает говорить по душам с тобой, ты бредёшь незнамо куда, вечер хочет, как старый романтик, показать тебе что-то такое, без чего ну никак нельзя, ты, конечно, заинтригован, ты стремишься куда-то, но вдруг понимаешь, что вечер этот никакой не романтик, а мистик, и тогда возникает Грин, молчаливый, хмельной, прозревший там, поодаль, на горизонте, корабли с парусами алыми и Бегущую по волнам, а ударник в кафе напротив так старается, так колотит по тарелкам и барабанам, словно цепь золотую куёт, входят в транс музыканты, стонут, надрываясь, электрогитары, подвезают машины, выходят стайки шустрых, нарядных девиц, вслед за ними выходят чинно Аладдины, Синие Бороды, атаманы разбойничьих шаек, лорды, рыцари и пираты, открываются двери, и все они исчезают внутри, но потом загораются всюду гирлянды разноцветных китайских фонариков, по аллеям проходят герольды, громко





в длинные трубы трубя, и за ними Царица ночи выезжает на колеснице, запряжённой шестью лошадьми, из лиловой тени на свет, вылетают, хлопая, пробки из бутылок с шампанским, дети хороводы водят, а взрослые пьют вино, произносят тосты, разговаривают, флиртуют, ночь густеет, звёзды сияют ярче, ярче, оркестр играет, начинается карнавал, Грин проходит сквозь мешанину карнавальную, выбираясь прямо к улице Галерейной, не оглядываясь, идёт к дому, где обитал он когда-то, исчезает за поворотом, я сворачиваю в переулочек, в тишину, в глубину веков, в лёгкий плеск зелёных листков на деревьях, буквально в глушь, в серебристую, с искрой, сушь стен белёных, во влажный строй речи, ставшей ночной порой светлой музыкой вне времён. Может, явь, ну а может, сон...

Если сон — то, значит, во сне. Где-то в прошлом, на самом дне. Но — осталось, живёт во мне. Появляется в тишине. Возникает порой ночной. Говорит — о былом — со мной. Плещет в окна сквозной волной. В настоящем. В глуши земной. Сновидения — наваждение. Вдосталь их. И они — светлы. Сновидения — пробуждение. Тайный ход — сквозь ушко иглы — в измерения и миры, что давно уж ко мне добры. Ариаднина вьётся нить. Трудно свет на земле хранить. Трудно к свету сквозь мрак идти. Что встречается на пути? Кто встречается? Молча жди, что там, всё-таки, впереди. Выбирайся — на свет. Огонь разожги. На твою ладонь звёздный луч прилетит. Смотри. В пальцах сызнава разотри стебелёк полыни степной. Видишь — море встаёт стеной белопенной над сонмом скал? Что утратил ты? Что искал? Что же ты наконец обрёл? Долог путь твой был и тяжёл? Или лёгок был? Ну, скажи! Нить покрепче в руке держи. Помни, спящий, о том, что встарь прозревал. Проходи сквозь хмарь в дни, где был ты молод и смел, в сны, где жил ты порой и пел, в явь, с которой сроднился ты, где воздушные знал мосты, строил крепости из песка, где томила тебя тоска по неведомому вдаль, где мерцал в золотой пыли заоконных красот узор, где с окрестных слетались гор стаи птиц, чтобы петь с тобой, где вблизи рокотал прибор, где являлись тебе слова, чтобы знал ты: душа жива.

Керчь. И в ней — ресторан, с таким же лаконичным названием: «Керчь». Ну а в нём — триста блюд из мидий. Так — реклама гласила. Так — уверяли всех, в том числе и меня. Шашлыки, салаты и так далее. Это надо же! Целых триста блюд. Все — из мидий. Так ли было на самом деле, я не знал. Но решил зайти в ресторан. Попробовать мидий. Не любитель был я ходить в годы прежние по кабакам, да и денег было в обрез. Но рискнуть — захотелось. И вот появился я в ресторане. Заведение было вовсе не шикарным. Ничем особенным среди прочих не выделялось. Что-то вроде большой столовой. Или средней руки кафе. Посетители — ели, пили. Оказалось, что блюд из мидий там немного, пяток всего. Но никак не триста. И стояли все они неслыханно дёшево. Заказал я шашлык из мидий. И попробовал. Ничего нашёл я такого в нём, чтоб считать его кулинарным откровением или шедевром. В Коктебеле, в бухтах, мы сами собирали мидий. Потом небольшой костерок разжигали. На простом железном листе нагревали мидий. И — ели. Запивали — вином домашним. Было вкусно. И все были сыты и довольны. Не то, что здесь, в ресторане. Поэтому я, пожевав хваленый шашлык ресторанный, ушёл оттуда. Но легенду — решил сохранить. Говорил знакомым, что есть ресторан в Керчи, где готовят триста блюд из мидий. Мне — верили. Да и сам я поверил в это, постепенно, с годами. Пусть торжествует воображение. Керчь, и в ней — триста блюд из мидий.

Керчь. И в ней — гора Митридат. На горе — кафе небольшое. На отшибе. Как птичье гнездо, наверху. Высоко, над городом. А в кафе — ансамбль, небольшой, как само кафе, но зато он играл — настоящий джаз. Заходить в кафе я не стал. Было слышно мне и снаружи всю чудесную музыку, классику столь любимого мною джаза. Да и денег почти ведь не было. Так, десяток, всего-то, рублей. На питание, на дорогу. И поэтому я сидел на вершине горы, не в кафе, а поблизости, на камнях, отпивал по глотку, из горлышка, по пути, в магазине, купленное, для хорошего настроения, столовое, очень дешёвое, но и вкусное, надо заметить, настроение улучшающее с каждым новым глотком, вино, шурил глаза на солнышке заходящем — и слушал джаз. Город, лежавший внизу, напоминал мне Трою. Почему? Да так мне хотелось. Так его я воображал. Трою — в пору расцвета. Русскую, знаменитую Трою-Троицу. До прихода туда ахейцев, уничтоживших древний город. Может, это был отзвук Трои. Дальний отсвет, спустя столетия. Может, звук её. Может, призыв. Может, музыка, что пришла из-за моря, издалека, из былого, — и здесь осталась — обитать и звучать. И в ней — было всё. И Гомер-Омир, он же русский поэт Боян, создавал свою «Илиаду». «Одиссею» — создали греки. Кто конкретно — поди гадай. Неизвестно. В ней всё — другое. Строй. И дух. Решительно всё. В «Илиаде» же — русский дух. И мышление — стержневое. Потому что — исконно русское. Отыскал-



ся, в архиве Державина, через годы, — «Боянов гимн». Жив ты, значит, великий троянец. Славен будь — во веки веков. Отыскались бы где-нибудь сочинения Анахарсиса, замечательного поэта, как считали и греки, и скифы, земляка моего, из наших приднепровских, южных степей, сплошь польинных, царевича скифского. Да, из наших родом степей и король Артур, скиф, ушедший, на военную службу, в Британию, и волшебник Мерлин — Свинельдом его звали на родине — волхв, чудесами островитян изумлявший когда-то скиф. И шотландцы помнят: они — из Великой Скифии выходцы. Так что предки далёкие Лермонтова — тоже были в древности скифами. То есть, русскими. Потому что скифы, русские и остальные, перечисленные Геродотом, а потом и другими историками, на пространстве огромном, народы, как бы их там ни называли, — это древний, единый народ. Вот какие мысли меня посещали, покуда я слушал джаз отличный на Митридате. А потом я спустился вниз, в город, пахнущий морем, и слушал, весь в порыве, почти в полёте, словно я вот-вот поднимусь над землёю, иную музыку — романтическую, конечно же, скажет кто-то, — ну, пусть и так, но на самом-то деле — сложную, с контрапунктом, в котором было разом собрано всё наперёд, что случалось со мной потом. Керчь, и в ней — прорастанье дней, что меня призвут, сильней, с каждым часом, столь властно, вдаль, где изведу я печаль по ушедшим своим годам, что вернусь к ним потом, а там — будь что будет, — фригийский лад, вещей сон, мимолётный взгляд, обострённый, сквозь время, слух, обретённый, в скитаньях, дух, всё, в единстве своём, со мной будет рядом в тиши ночной.

И, конечно же, Феодосия. Что, во сне? Почему бы и нет! Вот она, как раскрытая книга. Или свиток? И то, и другое. То ли каменные цветки генуэзских башен внезапно распустились, всюю расцвели на холмах, в отдалении мгlistом, с бирюзовою жилкой, сиреневом, серебристом, от изобильных листьев диких окрестных маслин, то ли стала расти, в длину, в высоту, крепостная стена, защищая что-то заветное, сокровенное, то, что когда-то мне доступным было, но вдруг отодвинулось, потускнело, мне оставив надежду на то, что когда-нибудь вновь оживёт, возвратится, преобразится, станет ближе ещё и дороже, вдохновляя, смущая, тревожа, то ли порт переполнился вдруг отовсюду сюда приплывшими кораблями, то ли польнь у дороги, емшан-трава, мне напомнила о родном, но кричат над заливом чайки, и плывут вдоль берега лебеди, и песчаные полосы пляжей заливают волны с разбега, бьются в мол, рокочут, клокочут, непрерывно, грозно шумят, заполняют собою всё, что заполнить можно, и там, далеко, ещё далеко, нарастает девятый вал, чтобы разом подняться вдруг, во весь рост, исполином пенным, над пространством, и грянуть вниз, и разбиться на миллионы влажной гутью сверкающих брызг, а потом откатиться назад и подняться, упрямо, круто, доказательством непреложным силы, власти безмерной, и ярости беспредельной стихии морской, а потом — наконец успокоиться, подобреть, неспешно плескаться в поле зрения, тихо вздыхать о недавней мощи своей, до поры ушедшей до времени в потаённые обиталища всех страстей, — и узкий, прозрачный полумесяц в небе проклонется, как птенец, и горлицы стаяй прилетят, гукая громко, на деревья и кровли, и вечер незаметно в город придёт, а за ним и ночь, а за ночью будет утро, за утром день, оживлённый, свежий, раскинет все красоты свои на коврах, как сметливый купец заезжий, призывая людей посмотреть, что же есть у него с собой, что привёз он сюда, и что же есть ещё у него в запасе, и придёт к нему современность, вместе с тем, что ютится с краю, что таится, ещё не смея говорить о себе в открытую, не решаясь в глаза смотреть и новациям вопиющим, и остаткам той старины, что назвал наш поэт глубокой, и посмотрит сперва на солнце, а потом на море, потом на людей, и возникнет — слово, точно птица, на горизонте, прилетит сюда, и за ним, стаяй птичьей, возникнет — речь, и тогда-то заговорят явь и сказка, и всё вокруг, настоящее, и былое, и грядущее, потому что зарождение его — вот здесь, в этом городе, в этом сне, в поздний час, в ночной тишине.

А ещё ведь были — Судак, Новый Свет, Южный берег, Ялта, Севастополь, Бахчисарай... Может — сказка, а может — рай. Были? Есть. Расскажу потом. Если вспомнятся. Если сами вдруг появятся. С чудесами. Чтоб встречать их с открытым ртом. С изумлением: вот, пришли. Не забыли меня. Покуда на земле не стареет чудо, быть и речи — для всей земли.

- Кто ты? Спящий? Или проснувшийся?
- Раньше — спящий. Теперь — проснувшийся.
- С добрым утром!
- Да, с добрым утром!
- Что ты будешь делать?
- Вставать. Умываться. Пить чай. Потом...
- Что — потом?



- Буду снова работать.
 — А зачем? Кому это нужно?
 — Нужно — мне.
 — А тебе — зачем?
 — Чтобы жить.
 — Значит, хочешь жить?
 — Да, хочу.
 — Ну, тогда работай.
 — Что ж, спасибо на добром слове.
 — Я сказал тебе доброе слово?
 — Безусловно, сказал.
 — Какое?
 — Ты сказал мне: тогда работай.
 — Где же доброе слово здесь?
 — В интонации.
 — Разве?
 — В тоне.
 — А ещё?
 — В твоей, неприкрытой, но легко различимой иронии.
 — Разве я говорил с иронией?
 — Да, с иронией.
 — А доброта? Ты ведь сам её ощутил!
 — Доброта — прошла сквозь иронию, словно солнечный луч сквозь оконную занавеску — и, выветлив суть, укрепила и победила.
 — Ну, дела! Признаю поражение. Исчезаю. Сегодня — сдаюся.
 — Прощевай.
 — Я ещё вернусь!
 — Что поделаешь? Ты — наваждение.
 — Ты ответишь за осуждение!
 — Наваждение, сгинь! Ответ — вот он, рядом, — солнечный свет.
 — Жжёт!
 — Ещё бы ему не жечь! За меня заступилась — речь.
 — Ох, горю! Почему он — так?
 — Разгоняет кромешный мрак.
 — А меня не погубит? Нет?
 — Но прогонит. На то и свет.

Сгинул этот, из темноты, со знакомой лиловой рожей, на крутое словцо похожей. Я со светом — давно на ты. Свет, спасибо тебе. Опять выручаешь ты, и спасаешь, и в беде меня не бросаешь и теперь. Не идёт ли вспять время? То-то шутил Дали с подсознанием! То-то кто-то перепутал и впрямь щедроты и утраты. Куда вели эти тропы, которых я проторил когда-то немало? Что мешало и что внимало — там, на краешке забытья, там, за гранью, чей фаской шрам на руке оставлен? Что стало прозреванием? Где начало всех невзгод? Где истоки драм? Нет ответов? Ну что ж, рванусь прямо к свету. И с ним — в дорогу. Но куда? Подожди немного. Отдохнёшь и ты. Я вернусь. А пока что — туда, вперёд, в мир, который дарован свыше, чуя, зная, мечтая, слыша всё, что жизнь насовсем берёт, всё, что дарит мне навсегда, чтоб сказал я потом об этом, чтобы жил я в родстве со светом в дни — пришедшие этим летом, вместе с давним моим обетом, — одиночества и труда.

...Шестидесятые годы. Крылатые. Да, это так.
 В них — дыханье свободы. Сквозь непогодь — зов и знак.
 Шестидесятые. Время радости и любви.
 Молодость. Надо всеми — свет: дивись — и живи.
 Вроде бы так. Но всё же — вдосталь бывало бурь.
 Были мы часто вхожи в грозную хмарь и хмурь.
 В бездну порой глядели. Ждали святых вершин.
 Можно ли все метели мерить на свой аршин?
 Можно ли все раденья сызнова вспомнить вдруг?
 Память — мои владенья. Что ж, обозначу круг.
 Вызову днесь из боли тех, с кем дышал и пел.
 Вырвался из неволи. Выжил. Похоже, цел.
 Сед. Но и в зной, и в холод полон доселе сил.
 Вроде бы и немолод. Я не напрасно жил.
 Я не случайно с вами, други мои, сейчас.
 Вставшие за словами, здесь вы. Так в добрый час!



То-то нынче — достаточно снова мне увидеть нас, молодых, четверых — себя самого, глаза свои полузакрывшего, словно внутренним верным зрением увидавшего наперёд всё, что будет с нами потом, обнимающего за плечи друзей своих — Лёну Губанова, глядящего вдаль обиженно и отчаянно, — будь, мол, что будет, — и, с растерянной полуулыбкой на лице Пьеро, или нет, Арлекина, скорее, — Юру Кублановского, а за нами, вместе с нами — и чуть в стороне, со склонённою головой удалой, — Аркашу Пахомова, — на старой, чудом, наверное, сохранившейся фотографии, — чтобы вспыхнуло — или в сознании, небывалым, дивным сиянием, или в небе, ярким созвездием, — незабвенное слово СМОГ.

Ну куда от него деваться?

Так и будет сквозь жизнь продлеваться.

Встарь когда-то — зажгли огни.

Долей стали — былые дни.

Кровь звезды под ногтями эпохи да петляющий в сумерках след всех, кто шёл — при царе ли Горохе или позже — сквозь изморозь лет. Пожелтевшему старому снимку, поседав, удивись и пойми — там плеяда белая в обнимку, всех моложе, одна меж людьми. Свитера на локтях прохудились, но четыре судьбы поднялись из оков, что всегда находились на земле, где мечты не сбылись. Вот и прожито время ночное, что само за себя говорит, — но извечное пламя свечное наши лица ещё озарит.

...Выхваченное лучом таинственного прожектора — пограничного, может, военного, затаившегося до поры, до того мгновенья, когда будет знак ему подан снова, в коктебельской, приморской глуши — и внезапно, вдруг, почему-то кем-то там, зачем-то, включённого, заработавшего, да так, что видны далеко вокруг все приметы вечернего берега или сонного моря ночного, — или нет, совсем не военного, но — магического, такого, для которого всё доступно, всё возможно, всё достижимо, — из крошечной тьмы смоляной, из ушедшего времени прежнего, из каких-то скрытых в пространстве арсеналов памяти, чтобы оживить былое, осмыслить, по возможности преобразить, дать ему, невозвратному, имя, даже так: призвать, возвратить вот сюда, в начало неясное как-то быстро, совсем уж негаданно, разом, резко, внезапно пришедшего в нашу жизнь столетия нового, приголубить, согреть, обнять, зарыдать, помолчать, понять?

Росчерк солнечного луча?

Или всё же — это свеча?

Со свечой, точно встарь, — при свече, у свечи, — в киммерийском тумане, при тумане, в забвенье, в дурмане, сквозь туман — с лепестком на плече, стуктом крови сухим, лепестком поздней розы — в проём за кордоном, в лабиринт за провалом бездонным, в зазеркалье с таким пустяком, как твоё отражение там, где пространство уже не помеха, где речей твоих долгое эхо сквозь просвет шелестит по листьям.

Ну-ка, встаньте передо мной, из бывшего шагнув сюда, в новый век, в коктебельский, давний, от ненастья спасённый рай, в дом, где жив я памятью, волей и работой, друзья мои, появьтесь, один за другим, чередую, вы, молодые, вы, отважные, вы, хмельные от избытка сил, от восторга перед жизнью, открытой вам, перед речью, перед рывком в неизбежность, вперёд, к тому, что звало вас и что вело по дорогам земным туманным, по небесным просторам странным, встаньте рядом, в глаза взгляните, протяните в пространстве нити сквозь нелёгкие времена, чтобы в мире цвела весна, будьте снова собою, други, чтобы нынче во всей округе разливался блаженный свет, из далёких пришедший лет.

Кто это? Кто? Неужели он? Действительно, он.

Умер? Давно отпели? Может быть, это сон?

Лучший из атаманов.

Истовый. Грозовой.

В юных стихах — живой.

Конечно, Лёня Губанов.

Глаза — пронзительно-серые, с голубизной, с жемчужным отсветом, дерзкие, детские, плачущие, с прищуром. Чёрные, в бездну глядящие, увеличенные зрачки. Чёлка — неровно подстрижена. Ворот рубахи — растёгнут. Рот скомороха — большой, вырезанный упрямо, ещё немного — и станет греческой маской актёрской, скорбной. Губы припухшие стиснуты крепко. Лоб — в лёгком поту. На шее — крестик. Руки взлетают вверх — и падают вниз. Длинные, гибкие пальцы. Широкие плечи. Ростом невысоко, но стоек и крепок. Инок? Или разбойник? Хулиганистый парень московский? Мученик? Или мучитель? Вестник с письмом со звёзд? Никто не ответит на эти вопросы. Никто. Никогда. И он не ответит. Будет молчать. Или вдруг засмеется. Или станет стихи читать. Свои, разумеется. Прежние? Или новые? Всё равно.



Лишь бы речь клокотала в них. Лишь бы голос его звенел, причитающий, с ворожбою, со слезою хрустальной чистой, с колокольным пасхальным звоном, возвышающий и крушащий всё вокруг на пути своём, лебединый, непобедимый, журавлиный, неукротимый, голос-песня и голос-плач, голос-жертва, голос-палач, голос имени, голос жизни, голос веры по всей отчизне, голос нежности и любви, голос-яд, холодок в крови, голос-мёд, леденец, снежок, голос-обморок, морок, шок, голос-ветер, метель, буран, голос радости, голос ран, человеческий голос. Глас. Голос — логос. Тогда. Сейчас. Голос города. Всех земель на Руси. Да и всех Емель. Не из сказки — из яви? Да. Над бесчасьем — в ночи звезда.

Будто ветер повеял. Откуда? Из Парижа? Из Переделкина? Заграничный? Или российский? Ветер молодости. И с ним появился вдруг, улыбаясь, тот, из прежней эпохи, Юра Кублановский. Присел на стул, ногу сразу поджав под себя, закурил. А потом и выпил полстакана вина сухого. Подобрел. Стал почти домашним. Путешественник. Он — с дороги. По России привычно ездил. А теперь он — в Москве. Пришёл навестить меня. Говорит об увиденном. Нос его, искривлённый слегка, смешной, вроде компасной стрелки, всюду, где бы ни был он, устремлён неизменно, всегда, на север. Там — Архангельск и Соловки. А на западе — заграница. Он уедет туда — потом. А сейчас — он живёт, как птица перелётная. Нынче — здесь, завтра — там. И поди гадай, где искать его, где он будет обитать. Как птичье крыло, нависает волна волос, густо, наискось, вниз, на лоб. Искры вспыхивают в глазах. Он стихи читает — из новых циклов. Голос его звучит в тишине квартиры случайной. Он встаёт: «Старичок, пора!» Он уходит. Куда? Кто знает! Может — к новой подруге. Может — в храм. А может быть — в те края, до которых добраться сложно. В завихренье снега. В туман. В дождь. Куда-то туда, где есть кров, еда, питьё и тепло. Что-то с ним — навсегда ушло. Как и сам он — из дружбы давней. Пусть живёт, как привык. Ему изменяться — уже ни к чему. Где-то там, далеко отсюда, обретёт он подобье чуда — в виде жизненных благ. Удачи, что-то, видимо, всё же знача, достижимые там и тут, чередою сплошной пойдут. Будет он дневники вести. Будет крепко сжимать в горсти нить, ведушую в даль, где есть из бывшего благая весть.

Это кто? Аркаша Пахомов. Богатырь, да и только. Взгляд исподлобья. Коротко стрижен, по привычке. Высок. Плечист. Под хмельком, как всегда. Артист! Вдохновен — всегда при нём. Он играет шутя с огнём. Водку пьёт — за троих. Смешлив. И — застенчив. И весь — порыв. Но — куда? В неизвестность? Нет. В неизбежный, зовущий свет. Едет — в нужный, конечно, срок. То на север, то на восток. То на запад, а то и на юг. Интересов — широкий круг. Увлечений — хоть отбавляй. И энергия — через край плещет. Голос его звучит. Есть ирония — словно щит. Юмор есть. И талант. Поэт. Есть и путь — сквозь кошмар и бред. Есть подруги. И есть друзья. Есть остратка: туда — нельзя. Есть смекалка: туда — скорей. Он выходит из всех дверей. У любого стоит окна. Обретённая седина — словно снег. Бородат. Встаёт — в рост — над всем, что ведёт вперёд. Вдосталь в мире крутых дорог. Он общителен. Одинок в зрелых, трудных своих годах. Он — в привычных своих трудах. Подработать. И — выпить. Ночь в одиночестве превозмочь. И — с болезнями в бой идти. Из упрямства себя вести, как ни в чём не бывало. Дар — мог спасти. Но бросало в жар, в холод, в месиво кустермы. Ждал весны — посреди зимы. Умер, страшно устав, весной. Посреди красоты земной. И глаза его — не открыть. Спит. Стихи его — будут жить.

У кого это, узколище, чуб на лоб и затылок стриженный, вид геройский и чуть обиженный, напряжённый и зоркий взгляд? Смотрит — в даль. Иногда сутулится. Быстрым шагом идёт по улице. Говорит — о своём. Из этого — возникает гудящий лад. Как пчела над цветком, над словом он головою своей склоняется. На кого-то — порой равняется. И кому-то — отпор даёт. Улыбается. Замыкается вдруг в себе. И ни в чём не кается. Неожиданно вырывается в глубь пространства. И там — поёт. Это кто? Ну конечно, Саша Соколов. Пролетит сквозь время ветерком. И другие страны будут вскоре ему желанны. А свою — он оставит. Что ж! Видно, так ему надо было поступить, если всё не мило в ней, и слишком его знобило там, где к таинствам мог быть вхож. Заносило его куда-то в глухомань, в Канаду и в Штаты, в те края, что теплом богаты, или в северные снега. Был отшельником и скитальцем, чьим-то временным постояльцем, собеседником вдохновенным — иногда. И опять — в бега. География всей планеты открывала ему приметы речи брезжущей, чьи секреты — в ритмах долгих земных дорог. Помнил молодость. О грядущем размышлял. Был всегда — идущим. Или — едушим. Чуда ждущим. Создал исподволь — всё, что смог. Стал — седым. Приезжал в Россию. В Крым. Таился. И — появлялся, неожиданно для знакомых, рядом, вроде бы — на виду. Исчезал — незаметно. Разом. Повинуясь

судьбы приказам. Без пристрастия к прошальным фразам. И — без писем, хоть раз в году. Фантастическое умение — продевать сквозь иглу мгновенья жизни, словно, в надежде пенья, по старинке продлитесь рвенью, с нитью, сжатой с утра в руке, к новизне, что зовёт упрямо отовсюду к себе. Что драмы! Вновь оконные настезь рамы. Дверь захлопнуть. Держаться прямо. В путь! Надолго. И — налегке.

Жар таманского лета. Зной коктебельский. Московский холод. Кто там рядом стоит со мной, молчалив, и высок, и молод? Кто сегодня ковыльно-сед, и усат, и спокоен вроде, словно не было прежних бед и порывов былых к свободе? Кто свободу свою обрёл в книгах, созданных им? Кто светел, точно к цели своей пришёл и звезду над собой приветил? Кто задумчив и озарён всем, пришедшим неожиданно, свыше? Кто горением одарён? Ну конечно, Михалик, Миша Соколов. Драгоценный друг. И — соратник. Достойный. Верный. Он спокойно глядит вокруг. Взгляд — всё пристальной. Достоверный смысл находит он в том, что есть и в искусстве, и в жизни. Знаю, дорога ему нынче весть от меня. И юдоль земная лишь сроднила нас навсегда, сберегая для высшей доли, — и ушла, как вода, беда, вместе с грузом разбухшей соли, вдаль, в минувшее, в дни, где мы постигали приметы мира, в завихрения злой зимы, в ночь, где слишком бывало сыро то от ливней, а то от слёз, то от мыслей о том, что встретим впереди. Было всё — всерьёз. Всё узнаем — и всё заметим. Всё сумеем пройти. Чтоб — жить. Чтоб дышать. Чтоб работать много. Чтоб сказать: хорошо — дружить! Дружба — редкостный дар. От Бога.

Будто снова раздался звонок в дверь. А может — звонок телефонный, то ли утром, то ли, что чаще, многократно бывало, днём, то ли вечером, то ли ночью, — да не всё ли равно сейчас? Кто там? Кто? Открываю дверь. Или быстрым рывком снимаю телефонную трубку. Кто? Ну конечно же, Коля Мишин. Это он. Человек-театр. Человек небывалый. Славный. С авантюрной врождённой жилкой. Фантазёр. Драматург. Поэт. Путешественник. Весельчак. Житель Климовска — и других городов. Книголюб. Издатель. Николай Лукьянович Мишин. Улыбается широко. Ходит быстро. Идей — навалом. На ходу сочиняет что-то, между делом. Одет, как лорд. После нищего детства — надо в жизни всё наверстать. Глаза блещут искрой лукавой. Смотрит на меня. Говорит. О чём? Обо всём. О своём. И — нашем. О заветном. И — о былом. Вдохновенный. И — оживлённый. Вздурораженный даже. Чем? Чем-нибудь. Да кто его знает, что у Мишина на уме, что придумает, что расскажет, что решит предпринять. Герой. Приключений — не счастье. Лицо — покруглее луны. Бородку отращил. Галстук сдвинул вбок. Закурил. Посмотрел в окошко. Стал солидней с виду. Но полон он мальчишеским озорством. Сколько с ним бывало историй фантастических — и реальных! В нём энергия жизни была, год за годом, ключом. Он весь был в страстях своих. К новым дамам он тянулся. Он рвался в бой. Он всегда был самим собой. А теперь — его нет на свете. Может, есть? Может, всё же — есть? Кто за гибель друзей в ответе? Коля Мишин. Как встарь, зови — то в поездку, то в гости к сказке. Хочешь — в книгах моих живи. Постояв средь вагонной тряски, приезжай незаметно в рай. Там небось хорошо. Привольно. Роль свою — до конца играй. Будет весело — хоть и больно.

Подумать ведь только — сам пришёл! Постоял. Взглянул куда-то вперёд. В грядущее? Пожалуй. И ожила в нём блаженная, тихая музыка, для которой не надо слов — или надо их мало. С речью дружен он. Бережлив. Слова — смыслом вещим наполнены. Смотрит кротким, добрым взглядом на всех. Седина — белизна сплошная, снег, ковыль. Невысок и лёгок. От невзгод житейских устал. Много пишет. Стихи и проза — удивительны. И трактат знаменитый — о небытии — озадачивает учёных в разных странах. Арсений Чанышев. Гость неожиданный. Философ. Друг старший мой. Умнейший. Арсений Николаевич. Князь татарский он по линии материнской, а отец — иерарх церковный, что погиб в лагерях, в тридцатых. Вот судьба! Выживать. Стерпеть вдосталь зол. Стать смиренней, строже к самому себе. Воспитать благодарных учеников. Быть — как все? Не таким, как все. Быть — провидцем и летописцем. Очевидцем времён лихих. Собеседником звёзд, людей, птиц, лесов, полей и небес. Горожанином быть — и жить в сердцевине родной природы. Быть хранителем той свободы, что по нраву душе всегда. Чередою прошли года. Где Арсений? Умер? Нет, жив. Ныне, книги его раскрыв, говорю с ним, как встарь. Вот — весть от него. Речь — жива. Он — есть.

БЫЛА ДЕРЕВНЯ СОКОЛОВКА

Теперь здесь пусто. Так же течет река, за рекой виднеется лес. А теперь деревни нет, нет моей Соколовки.

Родные места, как вы изменились за те двадцать пять лет, что прошли с того времени, когда я покинул вас. Я стою на месте, где когда-то был наш дом, место усадьбы стало почти ровное, даже бурьян теперь вытеснен другими травами. Почти что не угадываются надворные постройки, и если бы я не знал, что где находилось, то пустое место ничего бы мне сказать не могло.

Здесь я родился, здесь впервые увидел солнечный мир, гонялся за бабочками и стрекозами, рыбачил в реке Иче. И она-то теперь уже не та — нет по берегам камышей и ивовых кустов, куда все подевалось... Вон там были усадьбы наших соседей — Тюриных, Черновых, Нестеренко, Напалковых, Переверзевых, Шкунтиков, опять Черновых, Николаевых, Раздобаровых, Темченко, Усовых...

Везде теперь пусто, будто и не жили здесь приветливые работающие люди.

* * *

Я все помню, помню всех и во второй Соколовке, когда-то называемой хутором. Здесь все до боли знакомо и незнакомо уже — время стирает память, изменяет облик реки, лугов и леса. Здесь ходил я в школу, помогал дома садить и копать картошку, рубил срубы из небольших бревен для сарая и бани, а было мне тогда двенадцать лет, носил из реки воду, ухаживал за домашней скотиной, да мало ли какая работа была в домашнем хозяйстве.

Отца помню мало, суров и ласков был отец, был тяжело болен, но не терял оптимизма, соседи частенько приходили к нему за советами. Помню июльский день, похороны отца, плачущую маму, много народа. Стояло жаркое солнечное лето.

За месяц до смерти отец, помню, почти не ложился спать ночью. Сядет теплой ночью на берегу реки перед куривцем от комарья, курит, сидит до рассвета, смотрит, слушает, как пролетит ночная птица, играет в реке рыба, кричат в темноте и плещутся на плесах дикие утки. Рядом же, под дымком куривца, отдыхает скотина, наша и соседская. О чем думал отец в такие ночи? Ему одному только ведомо.

Мама после смерти отца так же работала в колхозе, вела домашнее хозяйство, обстирывала нас, детей, пекла хлеб, варила, кормила нас, заготавливала дрова и сено. Ума сейчас не приложу, когда она только успевала все и где брала на это все силы.

Трудно жила в пятидесятые годы сибирская деревня, трудно жилось и людям. Мы, дети, однако, этого не чувствовали, мы не знали, как живут лучше, и это время для меня вспоминается как самое лучшее в жизни.

После первого класса в летнее время мы тоже работали — возили копешки верхом на неоседланных лошадках на колхозном сенокосе. Мужики метали сено вручную — более ста центнеров в световой день, женщины и девушки вручную же копнили его.

Я помню деревенские проводы в армию и как отмечались праздники. Соседи ночь-полночь приходили друг к другу за помощью, за советом, и никто не считал это неудобным, или сердился за это, люди были отзывчивы и честны. Во время отлучки из дому в лес или по делам никто не вешал замка на дверь. Далекое, счастливое, солнечное время! Вон там, на взгорке, перелетел я через голову саврасого коня на полном скаку. Метнулся Савраска в сторону, стал как вкопанный, испугался выскокшей из лопухов кошки. Тогда мне было семь лет. Там дальше, в низине у ручья,



стоял дом тетушки Лукерьи Нестеренко. Был у нее белый злой гусак, которого и малые, и взрослые боялись как огня. А я, пятилетний еще, не представлял себе опасности и с прутиком в руке часто проходил мимо гусяного выводка, и до поры до времени мне это сходило благополучно. Но однажды налетел со спины на меня белокрылый страж, свирепый и бдительный, сильно побил меня крыльями, пощипал своим крепким красным клювом — едва отбили меня взрослые.

* * *

Там вон, километра три на север, была пашня, росли там рожь и пшеница, были сенокосы, была цепочка озер — Андриково, Феклино, Боковое и другие. Там мы с мамой косили сено, копнили, метали, уставали, отдыхали под телегой, подкреплялись хлебом, молоком, свежими огурцами, прятались временами от теплых дождей, собирали ягоды, грибы, дышали медовым от цветов и трав прозрачно-чистым воздухом. С той же стороны по весне, еще по снегу, доносилось токование тетеревов, крики журавлей и лебедей на озерах. Возле каждого озера был небольшой, но красивый рям с брусникой, клюквой и багульником, живописными соснами.

В самой середине шестидесятых годов провели здесь бездумно мелиоративные работы в общей сложности на 460 гектарах таких угодий. Для этого осушили прилегающие к рямам и озерам болотины, из некоторых озер частично или полностью выпустили воду, как, например, из озера Феклино, озера Карповича, высвободившуюся землю некоторое время пытались как-то использовать, но ничего не получилось из этого — торфяник, топкий при незначительном увлажнении и пожароопасный в засуху, оказался вовсе непригоден для земледелия. Потом, спустя пяток лет, эти земли вообще забросили.

В сухие годы осушенные болотца эти выгорели, полностью или частично выгорели рямы, совсем обмелели озера и не стало в них рыбы, дичи, в них ничего не растет, на прилегающих к ним участках не стало урожая трав, так как нарушился водный режим. А какие отличные были там сенокосы!

Года три назад был я на озере Андриково. Рям выгорел, только с северной стороны его осталось несколько сосен, уцелели — там место повлажнее. С озера, да нет уж, с небольшого озерца, где было самое глубокое место, поднялись три гуся да пяток чирков — вот и вся дичь. Лебедей, которые жили здесь ранее, я уже не видел. Остальные озера и рямы тоже в плачевном состоянии. Мне было так плохо после посещения этих заветных зеленых и водных мест, после всего увиденного разора... Казалось, что потеряно что-то такое дорогое и огромное.

Богата история и бывшей моей деревни Соколовки. С этого места, где когда-то стоял наш дом у реки, если посмотреть на противоположный берег, можно увидеть даже сейчас бугор, поросший травой. Я помню, что там находился вросший в землю бак или большой чугунный котел — остатки оборудования спиртового завода промышленника Забелина. На той, южной стороне Ичи в дореволюционное время был рабочий поселок, кое-какая промышленность, лавки и мастерские. В 1919 году при отступлении колчаковцы и какая-то часть не то польского, не то чехословацкого легиона (так рассказывали старожилы) взорвали мастерские, спиртзавод, жилые дома. Видимо, заметали следы, ведь в помещениях завода, по словам, опять же, старожилы, были страшные застенки белогвардейской контрразведки. Спиртовые запасы частично растащили, частично выпустили на лед в реку Ичу. Расстреляли неподалеку, километрах в трех западнее, в глухом березовом лесу, что в заболоченной низине, захваченных в плен красноармейцев и подпольщиков, просто подозреваемых в связях с партизанами и членов их семей, среди которых были женщины и дети, всего же около ста человек. Впрочем, сведения эти спорные, по словам все тех же местных старожилы, в то время там никто белыми расстрелян не был, а эти безымянные могилы были обнаружены местными гораздо позднее, уже на грани сороковых годов — впервые провалились туда дети, искавшие дикую смородину в этом мрачном месте, в том числе — и моя старшая сестра Валя. Едва выбрались по полуразложившимся трупам людей, причем она говорила про «детские ножки в красивых башмачках» в этом страшном месиве. Выяснять, что это все значит, в деревне никто не отважился в те времена.

* * *

Скудны мои познания об истории моей малой родины, но и этого достаточно, чтобы любить ее, даже теперь, с несуществующей деревней. Сельчане потом уже, во времена моего детства, добывали на месте разрушенного поселка кирпич для фун-



даментов своих построек и печей. Находили всякую посуду, спрятанную или случайно попавшую в землю, серебряные монеты, оружие и другие вещи. Говорили о золоте и драгоценностях, которые якобы спрятал заводчик Забелин, но клада не нашли. А кирпич добывали в больших количествах, красный крепкий кирпич, пролежавший в земле не один десяток лет и нисколько не потерявший своих качеств...

Но жизнь брала свое, колхоз (тогда имени Кирова) терпел убытки, заработки колхозников были низкие. Не было в деревне телефона, радио, электроэнергии, до райцентра, города Куйбышева, добраться было нелегко, особенно зимой по глубокому снегу, и в распутицу. Топили исключительно дровами, угля не завозили, дети, окончив школу начальную, далее вынуждены были учиться в соседней Верх-Иче, где была средняя школа, при ней же не было ни общежития, ни интерната, ни даже буфета. Жили школьники на частных квартирах, я и сам так учился, трудно было, неудобно, голодно и холодно. С нетерпением ждали мы, соколовские школьники, когда же выходной, чтоб побить дома. И как только в субботу звенел последний звонок, мы, в любую погоду, шли домой в свою Соколовку, все семь километров — зимой по снегу и морозу, осенью и весной по воде и грязи. А дома нас с нетерпением ждали наши родные...

Молодежь после армии, посмотрев жизнь поинтереснее, поработав с год-два, имея скудные заработки и неустроенный быт (не было в селе даже клуба), старалась уйти в город.

Надо сказать, что в самом конце пятидесятых годов, когда начали разъезжаться соколовчане, многие это делали с большой неохотой, цепляясь за эти красивые места, на которых осели их не такие уж и далекие предки-переселенцы из центральных российских губерний, за речку, луга и пашни, на которых так весело и трудно работали, где было столько пролитого горячего пота, они до самого конца старались остаться на родном месте. Еще в прошлом году жил там с семьей Леонид Аверьянович Чернов. Это был последний двор в моей деревне. Но в этом году и он переехал в город.

Куда же уезжали деревенские жители? Многие живут в районном городе Куйбышеве, но все же много осело их в окрестных селах — Гжатске, Каме, Верх-Иче. Но это уже поздние переселенцы, они никогда не рвались в город, переселились они семь лет назад, когда деревня уже совсем стала разваливаться и как населенный пункт, и как колхозная бригада. К тому времени в окрестных селах улучшились условия труда и быта, повысились заработки, переселившиеся туда соколовчане старались остаться сельскими жителями, но и поближе к родным местам, и поближе к тракту — удобнее попасть в город, есть средняя школа и больница, магазин.

Вспоминаю. Когда мы уезжали из деревни и складывали свой скарб в подъехавший грузовик, прибежали соседи, женщины заплакали, целовались с мамой. Мама тоже плакала. Не выдержал и я, схватил из кузова ружьишко и патроны и убежал — не хотелось мне покидать родные места, наш домик, родное гнездо. Мама с плачем звала меня, но я не вышел, переждал в бурьяне за огородом. Когда автомашина уехала, я зашел в дом, там и прожил трое суток. Утром уходил на реку или в лес, добывал одну-две кряквы или косача, была осень, и они там водились во множестве. Затопив печь, варил их в котелке. Или, наудив в Иче пескарей, варил уху. Хлебал нехитрое свое варево и... плакал, плакал оттого, что все равно предстоит покинуть родные места, родные стены, эту речку, окрестности. Было мне тогда, в сентябре 1961 года, тринадцать лет. Потом за мной приехали, о тех днях последних, проведенных мною одним в родных стенах, я до сих пор вспоминаю с болью и благодарностью. Я трудно привыкал на новом месте...

Малые села и деревни. Этот термин появился совсем недавно. Ранее понятие «малые деревни» было совсем неизвестно, потому что эти деревни и села были побольше, жили они большой и трудной жизнью, без всяких скидок на свою малость, как и вся наша Родина. Давала эта же Соколовка такой необходимый, хотя и трудный хлеб, давала лен, мясо, молоко, давала в армию своих сыновей, крепких, честных и мужественных. Многие мои земляки награждены орденами и медалями за ратные подвиги в годы Великой Отечественной войны, мой земляк из деревни Степановки, что в трех верстах от Соколовки, Павел Степанович Урюпин, удостоен звания Героя Советского Союза.

Обрабатывали соколовчане землю, растили хлеб, детей, несмотря ни на какие трудности, семьи здесь были многодетные. Жила Соколовка, работала, давая все необходимое для жизни городов, ничего взамен не требуя. Но выдохлась деревня моя, выдохлась, потому что не помогли ей выжить.

* * *

Стою на развалинах Соколовки. Сейчас здесь остались скотные дворы, заколоченные дома, остатки надворных приусадебных строений. Где-то, немного севернее, в березовом подлеске — кладбище. Там похоронен мой отец, лежат там и мои односельчане. Зарастает травой кладбище, наступает кустарник на бывшие сенокосные угодья, пашни и пастбища. Сама по себе страшна смерть человека, но есть к тому одно утешение — это все равно когда-то должно произойти, организм не вечен, и после остаются дети и внуки. Гораздо страшнее смотреть на гибнущее творение рук человеческих — заколоченные дома, заброшенные дворы и огороды, кладбище со сломанной изгородью, пашни и луга, оставленную без присмотра землю, которая кормила и поила людей, учила любить родную природу и формировала великое чувство Родины в душе каждого, кто жил на ней.

* * *

Соколовку теперь уж не оживить. Десятка два лет назад вспомнили про малые деревни и села, были намечены какие-то меры по их возрождению, хотя и с большим опозданием, но они оказались неэффективными. Потому что уже нет тех жителей, любящих свою речку, луга, озера и леса-окрестности, своих соседей и нелегкий, но радостный труд. Старые умерли или доживают свой век в городе или в окрестных селах, вдали от своей родной сторонки, нянчат внуков, помоложе что — разъехались по всему белу свету, потеряв или притупив любовь к родной сторонке, приспособились к иной жизни и те, что живут поближе, куда жизнь полегче и поинтереснее пришла несколько раньше.

* * *

Встречаю я бывших земляков своих в Куйбышеве, пожилые при встрече радуются как дети, женщины так зачастую и всплакнут, узнав меня, вспоминают моих родителей, жалеют Соколовку. Молодежь настроена оптимистичнее, но многие мои сверстники после «Здравствуй» и «Как живешь?» начинают: «А помнишь?.. А помнишь?» И уже вспоминают вместе со мной, и уже сожалеют, что деревни нет.

Малые деревни и села. Когда-то они малымями не были. Сколько их сейчас в районе и области? Рядом с уже несуществующей Соколовкой есть деревня-соседка — Степановка. Сейчас она тоже малая деревня, еще кое-как живущая, и ее еще можно оживить. Там такие же красивые и богатые угодья. Была до недавнего времени деревня Новоплотново, теперь она тоже не существует. Едва теплится жизнь в Ефремовке, нет уже деревни Микушино, Красногорки, Коноваловки. Несуществующим уже не поможешь, хотя нужно бы и их воскресить — не дать зарости пастбищам и сенокосам, пашням и огородам, не дать забыть людям, что были такие деревни, сохранить память потомков о принадлежности своей к тем или иным местам, имеющим неповторимую свою историю. К сожалению, у государства нет ни средств, ни желания на такое грандиозное патриотическое дело — отдавая дань памяти предкам, освоившим эти суровые, богатые края, в то же время укрепить этим свое государство и государственность. Впрочем, для этого нужны не столько средства, сколько разумное желание, и тогда в самом недалеком будущем эти средства окупятся с лихвой. Но меры должны быть быстрыми и эффективными, иначе возможность возрождения исчезнет вместе с последними разъехавшимися жителями. Если сбережем и возродим малые села и деревни, то сбережем тысячи гектаров имеющихся пашен и сенокосов, а с ними сбережем десятки тысяч пар работающих хлеборобских рук. Потом появятся новые поколения родившихся на этой земле, и они непременно будут любить и лелеять эту землю, хранить ее. Они будут дорожить ею, трудиться на ней, беречь ее. Не любить ее просто невозможно...

Людмила ЯКИМОВА,
Анатолий ДЕРЕВЯНКО

«ВЕЛИК, СКРОМЕН, ЧЕСТЕН И ЧИСТ, КАК РЕБЕНОК»*

*К пятидесятилетию со дня смерти
Всеволода Вячеславовича Иванова*

По большому счету творчество писателя — это его автобиография. Как говорил наш отечественный культуролог Д. С. Лихачев, словесность «имеет дело прежде всего с человеком, стоящим за текстом». Как бы ни был богат, велик и разнообразен мир, включая Землю и Небо над ней, писатель способен извлечь из него и образно воплотить в своих произведениях не больше того, на что откликается его собственная душа, его личное и неповторимое «я»: только это он и способен явить своему читателю.

Творческий опыт Всеволода Иванова подтверждает это в абсолютной степени безоговорочности. И не только объективной сутью своего творческого наследия, но и личными высказываниями он подтверждал эту истину: «Все реально в этом мире... — размышляет он в романе “У”. — Выдумка, миф, роман, сказка созданы человеком и в человеке. Материя, организованная человеком, есть время. Движение материи есть пространство. Материя и человек — вот главная сказка, от нее да не отыдеси».

По отношению к такому рода писателям, как Всеволод Иванов, в русской литературе искони закрепилось определение «самобытный», «самородный»: «самородностью» отмечены Лесков, Чехов, Мамин-Сибиряк, Горький, Леонов... И только необычайное богатство отечественной литературы, поражающей неподдельным блеском природных талантов, мешает числить Всеволода Иванова среди корифеев отечественной культуры, в когорте ее классиков, печально свидетель-

ствуя о необыкновенной беспечности славянского человека по отношению к сохранению своего духовного наследия.

Юбилей, даже такой далеко не праздничный, как 50-летие со дня смерти, предстает как повод вспомнить и по возможности отдать должное его щедрому вкладу в сокровищницу российской культуры. Он был отмечен какой-то поистине избыточной силой творческой энергии, внутренне — с раннего детства — сжигающей его жаждой к художественному воплощению своих жизненных ощущений и представлений. Не случайно возникает впечатление, что этой творческой личности просто не хватало ни реально опущенного на человеческую жизнь времени, ни физических сил для воплощения обуревавших ее планов, начинаний, замыслов, поэтому многое, помимо увидевшего свет, осталось еще или незавершенным, или неизданным по причине несоответствия цензурным требованиям.

Неистощимость творческих сил Всеволода Иванова проявилась многогранно. Мало кто из русских писателей отличался такой редкой склонностью к многожанровости, как он. Его называли лучшим рассказчиком и новеллистом своего времени. По свидетельству современников, Сергей Есенин говорил ему: «Ты сам не понимаешь, какой ты чертовски хороший писатель: “Дитё” твоё — какая высота! Ты даже Европу пронял, американцев и тех покорила. Я о тебе статью напишу. Критиком для тебя сделаюсь». Писатель стяжал известность как

* В заглавии статьи использованы слова казахского писателя Каюма Мухамеджанова.

автор многих циклов рассказов и повестей, ряда больших романов — «У», «Кремль», «Мы идем в Индию...». Его роман «Похождение факира» воспринимается как произведение, поражающее силой и глубиной новаторства, тайна художественной природы которого до сих пор остается предметом филологического исследования. Писатель оставил заметный след в драматургии, публицистике, мемуаристике, был ярким очеркистом. Ему претила раз и навсегда обретенная мастеровитость художественного письма, его поэтический мир пребывал в неостановимом движении; он поражал, удивлял, восхищал смелой неожиданностью языковых, стилистических, образных средств. В его поэтике органично уживались реализм и романтизм, автобиография и эпос, фактографическая точность письма и чистойшая фантазмагория, авантюрно-приключенческие мотивы, фантастика, утопия, детектив, в одном и том же произведении сказовая манера повествования логично соединялась с авторским словом и т. д. Необычайным богатством отличалась и палитра эмоционально-психологических красок повествования — от юмора, иронии до сарказма, сатиры.

Симптоматично, что в воспоминаниях о нем разные по характеру жизненного и творческого опыта люди непроизвольно и сами раскрываются в полноте своего душевно-духовного мира, предаются живым, незаемным мыслям и чувствам: «В его просторном теле и емкой душе, — размышляет Александр Крон, — было место для всего, он был прост и сложен, в нем отлично уместались трезвый реалист и необузданный фантаст, замкнутость и общительность, величайшая скромность и люциферская гордыня, житейская беспомощность и многоопытность старого скваттера, наивность ребенка и мудрость асакала, яркая национальная самобытность и органический интернационализм».

За Сибирью, безусловно, остается особое право на участие в юбилейном чествовании большого русского писателя: он здесь родился, здесь произошло формирование и становление его творческой личности. Родился в поселке Лебяжье Павлодарского уезда Семипалатинской губернии в семье сельского учителя, образ которого любовно и детально прописан в «Похождениях факира». Так и не сумевший вытащить семью из бедности, Вячеслав Алексеевич был природно одаренным человеком, отмеченный страстью к дальним странствиям и похождениям, выпускник Лазаревского пединститута, знавший восемь языков, семь сибирских и французский, читавший серьезные философские труды, он жил в состоянии перма-

нентного увлечения какой-либо спасительной идеей — археологических раскопок, кладоискательства, создания международного банка в уезде Павлодаре, идеей, способной «избавить и его, и многочисленных друзей от всегдашних мыслей о хлебе». Мятужно-творческий дух отца гулким эхом отозвался на биографии сына, позднее, уже в 1929 году, назвавшего отцовским именем собственного сына.

Окончив начальную школу и прервав учебу в сельскохозяйственном училище, еще подростком Всеволод покинул отчий дом, и многие годы жизни были отданы скитальчеству, похождениям, странствиям по необъятным просторам Сибири от Зауралья до Монголии и Дальнего Востока, и хорошо знакомые не только по произведениям Горького мотивно-сюжетные ситуации русской литературы «в людях» и «мои университеты» надолго становятся живой плотью судьбы и биографии писателя, подталкивая к постоянной перемене занятий и профессий: пришлось побывать мальчиком при лавке, типографским рабочим, наборщиком, матросом, грузчиком, циркачом — клоуном, куплетистом, фокусником и даже борцом... Но не одна лишь житейская потребность в пропитании и пристанище определяла охоту к перемене мест, а неугасающая ни при каких обстоятельствах внутренняя потребность самостоятельно добраться до высшего знания о жизни, до обретения собственного понимания ее целей и смысла, истины и счастья. Так возникает в сознании юного Всеволода Иванова образ далекой и таинственной Индии — как символ обретенной человеком гармонии, страны, где живут факиры, достигшие полноты физического и духовного совершенства, носители сокровенной тайны бытия. Так формируется ближайшая цель личной жизни — приблизиться к образу факирского существования, отринув попутные соблазны суетной жизни, ибо факир неподкупен, презирает внешнее благополучие и преклоняется перед внутренним богатством, способен управлять своими страстями и т. д.

Факиром Вс. Иванов остался на всю жизнь, и факирской, чудодейственной силой таланта исполнена его главная книга «Похождения факира». Ее часто сравнивают с горьковской трилогией, но роднит их в основном тематика — изображение духовного становления молодого человека в специфических условиях российской действительности на перевале веков, поэтический же язык их глубоко различен. Строгому реализму горьковской трилогии с неукошнительно последовательным обличением «свинцовых мерзостей русской жизни» в книге Иванова противопоставлен бурный поток бытия, где есть место

чуду, волшебству, эксцентрике, игре, театру, цирку, где жизнь предстает скорее как «человеческая комедия», чем как устойчиво воздвигнутый подмосток классовой борьбы, где сквозной свет иронии надежно корректирует намерение героя обрести истину путем создания идеальной «системы»: «Система Санкия! Система Веданта! Система йога Петанджали! Все эти системы никак не могли сговориться с собой, даже слова они писали по-разному. В одной книге добро напечатано было с большой буквы, а в другой с большой буквы печаталась сила, а добро с маленькой ... позже я понял, что каждая система старается обесить, обмануть другую систему! “Нехорошо, очень нехорошо, господа индусы”, — думал я».

Лучшей дороги «в Индию», чем словесное творчество, юный Всеволод Иванов не нашел. С 1915 года стали появляться в сибирской периодике его рассказы, один из которых, «На Иртыше», М. Горький включил в «Сборник пролетарских писателей» (1916). Оказавшись в Омске, он пытается организовать издание литературной газеты «Согры», пишет пьесы для местного театра, собственноручно набирает и издает тиражом в 30 экземпляров первый сборник своих рассказов «Рогоулки», главным героем которого является все тот же упорно идущий «в Индию» романтик и правдоискатель.

Когда в 1921 году Иванов перебрался в Петроград, за плечами его уже был богатейший опыт жизненных и творческих исканий, он уже успел пройти и серьезную школу «самообразования», и революционную «практику» службы в Красной гвардии, борьбы с Колчаком, участия в партизанском движении Сибири. При появлении в среде столичных писателей «калеутская» внешность кондового сибиряка ни в малой степени не послужила препятствием разглядеть зрелость его интеллекта, глубину эрудированности, размах и незаемность творческой мысли. Он легко вошел в круг литературного объединения «Серапиевские братья», членами которого были Н. Тихонов, К. Федин, М. Зощенко, В. Каверин и др., дружеские отношения с которыми сохранились на всю жизнь. Наконец открылись перспективы профессионального труда литератора, возможность постоянно появляться на страницах столичных изданий, в том числе — главного журнала страны «Красная новь».

Творческая отдача Вс. Иванова 20-х годов потрясает своей интенсивностью. И коллеги-писатели, и читатель не перестают удивляться его феноменальному дару воспроизводить бурный поток наступившего времени в неисчислимом многообразии лиц, характеров, типов, жизненных историй и судеб. Недостатка в жизненном материале, не-

обходимом для воплощения в художественных образах, не было: сибирские странствия и непосредственная причастность к революционным событиям в далеком крае предстанут как неиссякаемо живительный источник творчества надолго, если не на всю творческую жизнь. С его рассказами, многие из которых вошли в сборник «Седьмой берег» (1922), врывается в литературу не лишенная экзотичности суровая правда жизни пестрого сибирского люда, обитающего в районах, пограничных Японии, Кореи, Китаю, где рядом с русским населением веками бок о бок жили казахи, киргизы, монголы, корейцы и т. д., встает неизведанное бытие трудящей массы хлеборобов, охотников, рыбаков, пастухов, сплавщиков, открываются природные богатства Уссурийской тайги, невиданная красота приморских и горных пейзажей, неизмеримые пространства примонгольских, предальтайских и предуральских степей.

И если бы дело было только в новизне материала, своеобразии тем, сюжетов, мотивов...

Когда Иванов приехал в Петроград, на Дальнем Востоке еще шла гражданская война. Революционная проблематика уже успела войти в плоть и кровь молодой советской литературы, собственно, на ней она и держалась. Многие писатели пришли в литературу прямо с фронтов гражданской войны, буквально не успев снять шинелей, как это произошло с Ивановым, так что остротой характеров и сюжетных коллизий трудно было удивить: писатели буквально соревновались в стремлении овладеть читательским интересом за счет занимательности внешнего действия, пикантности социально-бытовых деталей: «Нынешние любят описывать трупы и смрад или половые штучки <...>, у всех о трупах и перепоротых колах» — писал о литературе тех лет И. С. Соколов-Микитов. И пафос безудержного прославления революции, и отстранение от нее путем живописания ужасов гражданской войны в одинаковой степени были неприемлемы для Вс. Иванова. Он сразу предстал писателем, который увидел не только величие исторического переворота, но и его трагическую изнанку. Революция разверзла бездну человеческих страстей, разбудила дремавшие в глубине человеческой природы инстинкты, обнажила скрытые в ней противоречия: еще недавно достаточно отвлеченные понятия Добра, Зла, Милосердия обрели характер неотложно-практического благоустройства.

Вот небольшой рассказ 1921 года «Дитё»: судьба младенца предстает здесь как средоточие всех нравственных, духовных, идеологических проблем, порожденных ре-

волюцией. В судьбе беспомощного человеческого существа, обнаруженного в стане только что разбитых «беляков», тугим узлом сплетаются неразрешимые проблемы классовой и общечеловеческой морали, жалости и долга, отмщения и прощения, скорого суда и оглядки на Вечность. Ожесточенные — до озверения — тяжестью перехода по знойной степи, невосполнимыми потерями в ходе кровопролитных боев, исполненные буквально кипящей жадью мести классовому врагу, партизаны оказываются в конечном счете способны возвыситься до поистине притчевого исхода своих сомнений: «Дитё ни при чем!» Беспомощный младенец пробудил в ожесточенном братоубийственной войной сердце то вечное и нетленное, что свойственно человеку всегда и всюду — заботу о сохранении жизни на Земле, мысль о неизбывности Добра и Милосердия. Рассказ не случайно вызвал восторженный отзыв Есенина, вообще тепло был встречен широкой читательской аудиторией, увидевшей в нем знак непрерывности гуманистической традиции русской литературы, своего рода «охранную грамоту» против зла и насилия.

Настоящее признание пришло к Всеволоду Иванову после того, как в начале 20-х годов одна за другой увидели свет его партизанские повести — «Партизаны», «Цветные ветра», «Бронепоезд 14-69», а через некоторое время роман «Голубые пески» (1923), выдвинувшие его на передний край литературного процесса страны. Так случилось, что переизданные бесчисленное число раз повести и превращенный из повести в пьесу «Бронепоезд 14-69», триумфально в течение целых десятилетий передвигавшийся по сценам не только театров страны, но и мира, заслонили реальное многоцветье творческой палитры большого писателя, стали в своем роде его авторским бредом. Разумеется, власти очень хотелось видеть яркого и всенародно признанного художника слова ортодоксальным певцом Октябрьской революции, правоверным выразителем эстетических и идеологических принципов социалистического реализма. Да и сам писатель не мог не отдать должной дани строгим литературным требованиям времени: и в его произведениях правота красных неизменно превышает правоту белых. Однако того глубинного внимания к человеку как таковому, как главному субъекту истории, что определяло доминанту его творческих исканий и что превышало служение сиюминутным интересам текущего времени, нельзя было не ощутить и в партизанском цикле произведений. В результате внимание писателя оказывается сосредоточенным не столько на изображении классовой борьбы и непримиримости,

сколько на непостижимой сложности внутреннего мира человека, независимо от его социально-классовой принадлежности. Его герои не однозначны: даже будущи бойцами одного стана, они спорят, противостоят друг другу, мучительно ищут истину, выходящую за пределы заботы о собственном куске земли. И хотя «мозги слушались плохо, и каждая мысль вытаскивалась наружу с болью, с мясом изнутри, как вытаскивают крючок из глотки попавшейся рыбы», в конечном счете она оказывается способной возвыситься до понимания единства интересов человека на Земле. И если один утверждает: «Воевать надо! Буржуев бить надо!», то другой убежден: «Любовь надо людям. Без любви не проживут... Без любви вечно воевать будут. Нельзя так!»

«Нельзя так!» Этот нравственный императив сквозным нервом проходит через все творчество писателя. Его тревожит эскалация жестокости, неизбежно сопряженной с ходом революции. Душа не может принять победы нового над старым любой ценой, ценой повсеместно поверженных наземь церковных крестов, безжалостного разорения культурного наследия — дворцов, музеев: в Географическом обществе «спирт из препаратных банок выпили, крокодилом истопили печь, на черепaxe мальчишки с горы катаются...» В особенности же болит душа от обесценивания человеческой личности, полного пренебрежения ее индивидуальностью и неповторимостью. Утверждение своего победного шествия Революция начала с перестройки или, как тогда говорили, «перековки» человека: но можно ли одержать победу на этом фронте, не постигнув тайны человеческой природы как таковой, сложности внутреннего устройства натуры людской? Не удивительно, что среди многих сборников с повестями и рассказами тех лет («Экзотические рассказы», 1925, «Гафир и Мариам» и «Пустыня Тууб-Коя», 1926, «Дыхание пустыни», 1927 и др.) особый успех выпал на «Тайное тайных» (1927), полемический заряд которого не мог не ощутить наиболее «проницательный читатель» тех лет. Официальной идеологии упрощенно понятого равенства в рассказах этого цикла противостоит авторская позиция понимания человека как вечного и неиссякаемого объекта исследования, как обладателя непознанного мира инстинктов, безотчетных предчувствий, скрытых побуждений, таинственной сферы действий подсознательных сил, словом, как неисчерпаемого кладезя «тайного тайных». Что побудило умирающую кухарку Катерину Алексеевну из новеллы «Сервиз», всю жизнь трепетно берегавшую дорогой хозяйский сервиз «французского фарфора с бледными, как бы тающими ро-

зами», верно служившую ему «полсотни лет, больше чем полсотни, семьдесят пять лет!»), за мгновение до смерти потребовать принести ей две сервизных тарелки и, ясно почувствовав, что «теперь ей бояться некого», весело подбросить их вверх. Есть свое «тайное тайных» у каждого из членов семейства Гедеоновых, попавшего в сети накопительской страсти старшего брата Осипа Осиповича — из рассказа «Листья». Но и сам Осип Осипович ощущает себя невольником случайного стечения обстоятельств; вовсе «не ему, а серебряной сахарнице» дано распорядиться ходом жизни его семьи: «...вот купил года два назад сахарницу, купил случайно, а после этого как-то произошло...». Тяжкое сомнение в своей правоте распоряжаться судьбами других возникает у героя еще и потому, что «он ничего не знает о себе». И именно «тайное тайных» становится побуждением к неожиданному для всех поступку епископа Валентина, отказавшегося от светлой мечты о личном счастье и нашедшего свое горькое счастье в служении голодной и разоренной революцией пастве. Именно в рассказе «Счастье епископа Валентина» и появилась эта художественная формула, ставшая названием целого цикла: «Какая пустыня, какое одиночество... И как тяжело жить, если счастье человеческое состоит в том, что ты не смеешь судить мир, не имеешь силы убежать от мира и должен подчиняться тайному тайных земли, малую каплю которой знают мужики...»

Не удивительно, что у «неистовых ревнителей» революционного искусства появились веские основания упрекать Вс. Иванова в отступлении от «столбовой дороги пролетарской литературы», в «ненужном следовании Фрейдю, Бергсону». С невероятной силой обрушилась критика на повесть «Особняк» (1928), обвинив писателя в сочувствии мещанству, убеждении в его непобедимости, неуязвимости, неискоренимости. Сегодня при спокойном, что называется, «медленном чтении» не трудно убедиться, что не так уж и далеки от истины были пролеткультовские критики. Писатель действительно не подвергает своего героя убийственно-изничтожающей критике, скорее, дает понять, что все его действия и поступки спровоцированы духом времени, официальной политикой власти. Только что удовлетворивший свою вожденную мечту — иметь особняк со старинной мебелью, он становится скоро жертвой казуистически понятой революционной справедливости по принципу «отнять и поделить») и сопутствующей ей политике «уплотнения», известной читателю по многим произведениям тех лет, например, повести М. Булгакова «Собачье сердце»: вот «князь Б. живет в громадном

доме из тридцати комнат, в то время как пролетариат заводов...». И однажды, когда «Ефим Сидорыч вместе со своей семьей и друзьями пил чай», раздался звонок: «Перед Ефимом Сидорычем стоял комиссар Иван Григорьевич Петров, дальше виднелись красногвардейцы и матросы с револьверами и бомбами...» Загнанный в угол самоуправством властей, растерявшийся в водовороте политических страстей, хозяйственной разрухи и бытовой неустроенности, «уже не зная, в чем заключается его правизна: в монархизме ли, в буржуазной ли республике и во власти ли вообще, а может быть, вообще в торжестве злости», в отчаянной попытке вернуть свою собственность он вступает на путь мести своим обидчикам — всем по очереди сменявшимся хозяевам особняка и мстит самым испытанным по тем временам способом — доносом в ЧК. В повести возникает зловещая картина цепной реакции «торжества злости» и несправедливости. Наивный мещанин Ефим Сидорыч до конца повести пребывает в убеждении, что это вследствие его активных действий подвергаются расстрелу один за другим причастные к судьбе его особняка люди: расстрелян великий князь Б., «вдруг вспомнился расстрелянный Голофеев», «комиссара вызвали в партийный суд ... и отправили комиссара на север»; временами по этому поводу он даже «чувствовал в себе огромный стыд и смятение»: «мертвых и без того хоть отбавляй!» Герою не дано понять, что дело не в его личной «злобе» на революционную власть. В действие вступает объективный, суровый и неумолимый, закон революции: революция начинает безжалостно пожирать своих собственных детей! И не дано ему знать, что «есть у революции начало, нет у революции конца».

Писатель находится в непрерывных поисках новых средств и путей изображения революционной нови, углубления в происходящие в ней процессы, не отказываясь и от таких испробованных мировой литературой форм, как детектив и плутовской роман, дающих возможность подтекстовым, «обходным маневром» проникать в глубины жизни. Так появляются детективная повесть «Возвращение Будды» и повесть с элементами фантазмагии и плутовского жанра «Чудесные похождения портного Фокина».

Попавший в сети ловкого авантюриста Дава-Дорчжи, то ли белого офицера, то ли переодетого ламы, петроградский профессор истории Востока Сафонов командирован сопровождать позолоченную статую медного Будды от самой столицы до границы с Монголией, дабы передать священную реликвию в руки ее законного владельца — монгольского народа. Еще в Петрограде, то-

мясь догадкой о нечистых помыслах руководителя экспедиции, выдающего себя за гыгэна, т. е. основателя буддийского монастыря в Монголии, обессиленный непереносимыми тяготами жизни в революционной столице, когда съедена последняя картофелина, а прожорливую и нещадно фыркающую пеплом буржуйку приходится топить рукописями и книгами, профессор, не столько руководствуясь принципами буддизма, сколько инстинктом самосохранения, отваживается на неведомое: «... тут ли не поехать профессору: в командировке выдают продукты, усиленный паек...». С этого момента детективную интригу постоянно теснит изображение тяжелых реалий русской жизни, сотрясаемой революцией. Собственно, главное содержание повести и составляют дорожные злоключения медного, покрытого позолотой Будды, и живых людей, негарантированность судьбы которых символически определяется движением поезда: «Поезд идет с длинными остановками. Кондуктора — в черных тулупах, и днем, и ночью с зажженными фонарями; вагоны длинные и темны, как гробы. Рельсы визжат и рвутся — говорят о взрывах. На поездах охрана, — каждую ночь перестрелки с бандитами. Если зеленые задержат поезд, то коммунистов ставят налево, беспартийных путешественников — направо. Левых расстреливают тут же у насыпи.

Виталий Витальевич думает: «Куда же поставят меня?»

— Узнаете в свое время, — говорит Дава-Дорчжи».

От смутных догадок о планах авантюриста Дава-Дорчжи профессор переключается на общие суждения о современном мире, ведущем опасные игры с общественным устройством на Земле: «авантюризмом наполнена вся земля», а от этой глобальной мысли снова возвращается к ситуации в России: «Будет ли что-нибудь выдвинуто в противовес этой неорганизованной тьме, этому мраку и буре. Неужели такое же убийство, как и у них? Генералы будут вешать, расстреливать коммунистов... Коммунисты будут восставать и расстреливать генералов, и колокола будут звонить все меньше и меньше... Дава-Дорчжи, для чего нам даны сердца?»

Пока же жертвой поразившего страну глобального хаоса рискует стать каждый, не только человек, но и сам Бог. Оставлен умирать в песчаной пустыне забитый палкой профессор, снята позолота с Будды, отсеченные злодеями «золотые пальцы его мчатся неизвестно куда... Куда теперь Будде направить свой путь? Потому что — одно тугое, каменное, молчаливое, запахами земли наполненное небо над Буддой. Одно».

Трудно не заметить, что бездумным приятием революционной действительности в отличие от многих других произведений тех лет повесть «Возвращение Будды» не отмечена, и та же, скорее, вопросительная, чем утвердительная интонация слышится в повести «Чудесные похождения портного Фокина» (1924). Покинув родной Павлодар в поисках места на земле, где представилось бы возможным шить не военную, а «статскую» одежду, не комиссарские френчи — «внизу большущие карманы, такие большие, что во всю полу, — ... для мандатов», — а модное платье, талантливый портной, пройдя через всю Россию, тайно пересекает границы Польши и Германии и, побывав во многих чудесных переделках, выдает немало нелицеприятной правды о наступившем времени.

Что же открывало писателю возможность отважиться на опасную в тех условиях правду и миновать цензурные препоны? Главный ответ следует искать в выборе героя, чей характер позволял автору не афишировать свою позицию, а представлять ее в скрыто-подтекстовом виде. Герой с задатками, замашками и повадками плута, авантюриста, склонного к похождениям и приключениям, в значительной мере снимал с автора ответственность за его суждения об окружающем мире. Об особенностях такого героя, восходящего к глубинным традициям русской и мировой литературы, писали Д. С. Лихачев, В. Б. Шкловский, М. М. Бахтин, характеризуя тип героя-плута, отмечал такую его особенность, как «быть чужим в этом мире: ни с одним из существующих жизненных положений этого мира они не солидаризируются, ни одно их не устраивает, они видят изнанку и ложь каждого положения». Черты такой выключенности из окружающего мира, деклассированности, асоциальности, позволяющие рубить правду-матку, просматриваются и в поведении героя «Особняка», равно как и в высказываниях профессора Сафонова, надолго оказавшегося обитателем теплушки. Попутно заметим, что образ Остапа Бендера, классического плута и главного «похожденца» советской литературы, вошел в нее много позже — уже в конце 20-х годов.

Эти две повести — «Возвращение Будды» и «Чудесные похождения портного Фокина», наглядно раскрыли те стороны особого таланта Вс. Иванова, которые с наибольшей полнотой художественной силы и выразительности проявились в жанре похождения, хроникально открытого повествования, свободного от строгих правил сюжетно-фабульного нарратива, и открыли прямой путь к главной книге — «Похождения факира». Ею и открывается творчество Вс. Иванова

30-х годов. И уже нельзя было не ощутить в ней не только традиций приключенческо-плутовского жанра, но и рыцарской — в духе хитроумного и благородного идалго Дон Кихота — страсти к путешествиям-странствиям с целью познания мира, самовоспитания и утверждения добрых и светлых надежд на земной путь человечества.

Однако суровое и тревожное время препятствовало намерениям писателя и далее погружаться в духовные искания «юноши начала XX века», с адамистической чистотой и непосредственностью воспринимавшего ход исторических событий. От писателей настоятельно требовали активного участия в текущем литературном процессе в духе беззаветного служения текущим интересам времени. Выдержать проверку небывалой новизной было под силу не каждому, многие писатели эмигрировали за границу, многие предпочли ей внутреннюю эмиграцию: ушли в детскую литературу, исторический роман, переводческую работу... Характер Вс. Иванова исключал игру со временем, он вышел навстречу ему с открытым забралом: так появились в начале 30-х годов его первые романы о современности — «Кремль» и «У».

К величайшему сожалению, они не вошли в живой читательский оборот, миновали стадию критического разбора, а через многие годы превратились в объект уже литературоведческого осмысления, представ как ценный документ литературной истории. В этом смысле они и интересны современному читателю, воспринимающему их, скорее всего, как произведения исторического жанра. В действительности же роман «Кремль» во многих своих чертах восходит к получившей распространение в годы строительства социализма так называемой производственной прозе, отмеченной появлением таких известных произведений, как «Цемент» (1925) Ф. Гладкова, «Гидроцентральный» (1930) М. Шагинян, «Соть» (1930) Л. Леонова, «Время, вперед» (1932) В. Катаева и, если отвлечься от негативного налета на жанровой номинации «производственного романа», то и «Поднятая целина» М. Шолохова не выпадает из этого контекста, акцентирующего внимание на пафосе созидательной деятельности народа в период строительства социализма. В общей лавине производственной прозы оказались разные по своей идейно-эстетической ценности произведения, немалую долю которых составляли и те, авторы которых попросту спекулировали на актуальности темы, не проникаясь ее подлинной глубиной.

Роман «Кремль» открывается «Прологом», представляющим собой экскурс в далекую русскую историю времен княжения

Ивана Третьего. Тогда, вслед за строительством московского Кремля, захотел удельный князь Никита воздвигнуть на своем Подзоле его подобие, пригласив на его строительство того же Мастера: «На московское чудо любуются люди, а приедут в Подзол — того более поражены. Будто и невелика кремлевская стена <...> а как дивно прекрасна... какая она легкая, стройная, как необыкновенно прекрасны угловые башни-храмы, и какими цветками выглядывают из-за стены кремлевские палаты! Снаружи храмы и палаты белы, а внутри, сверху донизу расписаны фресками о том, как приятно жить человеку согласно законам божеским и человеческим, и о том, как наказуется житие в грехах, беспутство, законопротивность и срам. А сколько замысловатых лестниц внутри, переходов, коридоров и тайников, а как тепло в тех палатах и как задумчиво смотришь оттуда на мир!»

Уездный городок разделен рекой Ужгой на две чуждые друг другу стороны: на одном берегу расположился красавец Кремль, на другом — Мануфактура, прядильно-ткацкое производство, фабричный поселок. Кремлевская сторона жила «паломниками, гостиницами, ресторанами, в которые ездили кушать волжских стерлядей купцы и офицеры». Кремль славился сохранностью мощей, именами многих угодников, чудотворными иконами: «В пасху с соседних губерний, уездов и даже из столицы за исцелением и чудесами заполняли город от десяти до пятнадцати тысяч богомольцев. Митрополит выходил в одежде, стоимостью которой оценивалась в миллион рублей». Стронясь исходящей с противоположного берега «фабричной смуты» и оберегая свое «тихое благополучие», даже мост через реку воздвигли «кирпичный, низкий, сводчатый», чтоб пароход не мог проскользнуть под него и беспрепятственно доставить фабричных...

Революция эти давние противоречия между берегами не только не сгладила, а обострила до предельной степени. В новой ситуации непримиримой борьбы с религией и церковью, когда искоренение веры возведено в постулат господствующей политики, Кремль оказался на краю гибели: взрыв Храма Христа Спасителя явился реальным подтверждением нависшей над ним угрозы. Кремль больше не служит символом национальной веры, исторической памяти, величия прошлого, в нем видят лишь здание, строение, которому в равной степени уготована участь быть или взорванным по идеологическим соображениям или приспособленным под текущие нужды — в лучшем случае его ждет участь исторического музея. И реальным носителем всех этих угроз, жи-

вым олицетворением пролетарского нигилизма, питающегося духом официальной идеологии, является другой берег Ужги — Мануфактура.

Знаковыми фигурами этого фронтального противостояния становятся двое: Агафья, старательно культивирующая в себе черты, придающие ей облик кремлевской Богородицы, и Вавилов, новый заведующий культурпросветом Мануфактуры. Это яркие, впечатляющие читателя образы, хотя художественные средства их создания избраны разные. Если Агафья сразу предстает как натура страстная, волевая, властолюбивая, склонная к авантюризму и инфернальности, «готовая» к претворению своих планов, то Вавилов явлен читателю в состоянии полной личностной непроявленности, неформальности, невыраженности. С образом Агафьи связана в романе детективно-криминальная линия повествования: ее путь к власти над Кремлем буквально устлан трупами жаждущих стать обладателями ее редкой красоты, готовых по ее подсказке пойти на оговор, подкуп, даже убийство Вавилова. Неотделим ее образ и от глубоко укорененного в русской литературе мотива вечной женственности, подлинной и обманной, истинной и ложной красоты. В связи с этим образом слышим в романе отзвук мыслей о красоте, спасающей мир, и о красоте как «страшной силе». В живописании внешнего обаяния героини автор не скупится на краски: «Все в ней было сильно и нежно и особенно нежно было ее лицо», пленяют ее пшеничного цвета волосы, заплетенные в тугие и длинные, как колонны, косы. Но «ее нежное и великое тело святейшей девы и хозяйки» оказывается бесплодным; не оплодотворенная любовью и добротой, ее красота гибельна для окружающих. Заставляя влюбленных в ее телесную красоту мучиться тяжелой и неутоленной страстью, она провоцирует их на убийство соперников, самоубийство, готовность к физическому устранению своего идеологического противника.

К концу романа полностью обнажается скрытая за внешней красотой героини ее подлинная суть авантюристки, грешницы, блудницы и, по выражению одного из самых упорных ее поклонников, «великой б...и». Высшей точкой разоблачения Агафьи является сцена чтения ею Евангелия: «Она смотрела в евангелие, пыталась прочесть ту книгу, которую она, кажется, и в детстве не читала, но прикрываясь которой она пыталась овладеть Кремлем. Она устала, книга ей не понравилась». А потом произошло нечто символическое: она пошла к реке умыться, Евангелие и крест положила на камень, и пока умывалась, волной смыло с камня и старинную книгу, и крест.

Как многие произведения производственной прозы 30-х годов, действие которых разворачивается с приходом в трудовой коллектив нового человека, роман «Кремль» тоже начинается с появления Вавилова в Мануфактуре. Но есть глубокое различие между ним и, например, Глебом Чумаловым из «Цемент», или Увадьевым из «Соти», или Давыдовым из «Поднятой целины», сразу представших перед читателем в эталонном обличье признанных организаторов производства, негнбаемых борцов за социализм, носителей непоколебимой веры в будущее нового строя жизни. В отличие от них он не вписывается в типологический ряд «железных героев» советской литературы, «битюгов революции». Поначалу он вообще не вызывает к себе ни доверия, ни интереса: этот «рыжий словно посконь — посеешь-родится, а на семена не годится». Решительная и активная Зинаида в ответ на его робкие ухаживания не стесняется прямо в лицо высказать свое мнение о нем: «Но ты, рыжий, не сердись, какой из тебя хахаль, употребят тебя на заклепку дыр профсоюзного здания — и то слава богу». Случайно поднятый волной революционных преобразований наверх — в ответственные за новую культуру на Мануфактуре, он мало чем выделяется из общей пролетарской массы, толпы рядовых ткачей, разве что двумя годами учебы на рабфаке. Можно сказать, что, как художник, Вс. Иванов существенно осложняет творческую задачу: показать «готового» героя в реализации его возможностей, в разрывании заранее приданного ему потенциала духовных и душевных сил, проще, чем воспроизвести трудный процесс становления героя как личности, превращения его в признанного вожака масс, способного нести ответственность за общее дело. Но именно эту творческую задачу и реализует писатель в образе главного героя романа «Кремль».

Оказавшись перед открывшейся бездной проблем строительства новой культуры, герой страдает от одиночества и бессилия, понимая, что оказался на самом остром идеологического противостояния. Не относясь к героям «без страха и упрека», к тем, кто заранее вооружен новым идеологическим оружием и не испытывает колебаний в его применении, Вавилов буквально идет по неподнятой целине, вынужденно осуществляя свои культурные планы и намерения методом проб и ошибок. На каждом шагу убеждаясь в том, что новое сильно лишь в отрицании и уничтожении старого, что представление о том, какой быть новой культуре, смутны и неопределенны, и нет никаких готовых образцов, на которые можно было бы опереться, он буквально «с потом и кровью»

врастает в революционную новь, начав «культурное строительство» с самого себя — с преодоления тяги к алкоголю, безответственности приятельских отношений, беспорядочности сексуальных связей и т. д. Азбукой социалистической культуры он овладевает трудно, на виду у всех и вместе со всеми: так приходит чувство бескорыстной дружбы с Зинаидой, рождается чистая и верная любовь к Овечкиной. Если раньше в ответ на отвергнутые Зинаидой любовные притязания он с обидой бросает грубое: «Кобыла!», то в конце романа он уже способен испытывать неизведанное раньше в отношениях с женщиной чувство нежной откровенности о ней.

Вавилов, как человек своего времени, во многом послушно следует новой культурной парадигме: и он готов приспособить Храм под нужды пролетарского клуба, и он во время наводнения, угрожающего производственным зданиям Мануфактуры, бестрепетно наблюдает, как для их укрепления по кирпичикам разносят красоту древних храмов. «Отличный парень», — думает он о бывшем кулачном бойце Колесникове, выступающем с инициативой сброса колоколов с семнадцати Кремлевских церквей, подлежащих разбору. Но жизнь задает ему много и других вопросов, от которых не уходил писатель с поры ранних своих произведений. И теперь, когда борьба за новую правду переместилась с военных фронтов на мирные поля, в цеха фабрик и заводов, его герой все еще сомневается в истинности своего желания «видеть в людях то, что он называл добротой, ему стыдно было сознаться, что он нуждался в жалости».

Свое убеждение в том, что невозможно утвердить новое только бескомпромиссной силой жестокости, мщения, злой памяти о прошлом, писатель подтверждает созданием образа узбека Измаила Буаразова, явившегося в Мануфактуру, ведя под уздцы коня с восседающим на нем слепым отцом как живым доказательством неотвратимости мщения белым. Ироническая аура, сопровождающая появление этой фигуры в романе, неизменно возникает благодаря тому, что герой не ощущает ход времени и в ситуации строительства мирной жизни он все еще не расстается с оголенной саблей и с людьми общается исключительно посредством агитационно-пропагандистских тирад, призывающих к отмщению врагу и воссоздающих митинговый дух периода непримиримых революционных боев.

В нагруженный социально-бытовыми реалиями романский текст время от времени врываются суждения, существенно колеблющие идеологические постулаты жестко запрограммированного времени 30-х годов и обнаруживающие глубинные сомнения

автора в безоговорочной правильности избранного пути. Так запутавшийся в своих любовных связях и позволявший себе иногда думать о «добrote» и «жалости» Вавилов однажды «представил себе поле, огромное человечество; да — трудно для человечества всего дать оптимизм, с этим не справилось христианство, а коммунизм хочет дать это только для одного класса» (курсив наш. — Л. Я., А. Д.). По существу, рассуждая об отсутствии будущего у всех, кроме пролетариата, автор подвергал сомнению доминантное начало господствующей идеологии пролетарского интернационализма, покушался на высказывание опасной мысли о пагубности классового геноцида, но прорвавшись через поток нейтрального текста, эта бунтарская вспышка исчезла в нем так же незаметно, как и возникла, что, однако, не означало, что авторские сомнения в той или иной форме не прорвутся вновь в другом месте романного повествования и не породят серьезных раздумий «проницательного читателя». Как, например, отнесется он к неожиданному появлению эпизодической фигуры священника Богоявленского, высказывающего убеждение в высшей неспосланности гонений на церковь: «Власть, которую гонят от нас, сделав параболу, вернется к нам. Он говорил быстро, хорошо, цитируя Достоевского... Красоту надо ощущать, а мы милости бога забыли...»

В результате частоты такого рода эмоционально-смысловых вспышек романский текст «Кремля» с цензурной точки зрения оказывался органически уязвимым, и вопрос о его печатании представлял фатально предпрешенным. Но проблему представлял не только текст, но и не поддающаяся никакому измерению глубина его подтекста, который возникал, казалось бы, без каких-либо видимых усилий автора — на автохтонном уровне. Пример автохтонной природы подтекста в романе «Кремль» дает его предельная многонаселенность.

Рядом с главными героями романа — Вавиловым, Агафьей, семьей церковного старосты И. П. Лопты и его сыном о. Гирем живет пестрый мануфактурный люд — ткачи и ткачихи, среди которых и оказавшиеся безработными «четверо думающих», крепкий семейный клан «Пять-петров», и приехавшая на поиски новой доли семья узбекских хлопководов, здесь же и разнородная кремлевская интеллигенция, среди которых профессор З. Ф. Черепяхин, главный специалист по истории Кремля, и бывший судья Ложечников, и архитектор А. Е. Колпинский, и актер Ксанфий Лампадович Старков, инженер-хлопковод Лука Селестеников и др. Неотъемлемой частью этого мира являются девицы легкого поведения, и «проле-

тарская куртизанка Клавдия», и податливая на мужское внимание Груша, и целая галерея незадачливых поклонников inferнальной Агафьи. По ходу романного действия появляются все новые фигуры, лица, характеры, каждый из которых представляет свой особый, неповторимый мир страстей, интересов и целей, в целом воспроизводящих атмосферу бурного времени, сдвинутого с привычно устойчивых оснований, когда все вековые ценности разом утратили черты ясности и определенности — старое разрушено, новое не создано, когда острый дефицит «чувства общечеловечности» пытаются восполнить за счет искоренения права даже на личную собственность, когда эмансипация женщин граничит с мыслью об уничтожении женского труда и когда бездумные броски общества из одной крайности в другую оборачиваются невосполнимостью личных утрат и необратимостью духовных драм.

И хотя финалом романа «Кремль» является апофеоз созидательного труда на общее благо, выдержавшего испытание наводнением, угрожавшим Мануфактурам гибелью, и Вавилов в конце романа предстает героем нашего времени, полностью оправдавшим доверие разных людей вести их к общей цели, и даже преграда в виде низкого моста, непреодолимо разделявшего берега Ужги, разрушена, тем не менее вся текстуальная и сюжетно-фабульная структура произведения противятся такому финалу, и не так легко оказывается читателю расстаться с вопросом, в сущности определившим генеральное направление творческой мысли автора: возможно ли так легко, да и возможно ли вообще, этот кипящий страстями и бурлящий безграничным множеством целей и интересов мир привести к одному знаменателю, и являются ли истинной целью человечества поиски той силы, которая сделает всех равными до одинаковости? И справедливо ли за образец всеобщего равенства брать жизненный опыт одной части населения земли?

Если роман «Кремль» отмечен глубокой творческих поисков в жанровой сфере «производственной прозы» и не отделим от стремления писателя воспроизвести бытие той социальной силы, которой победившая идеология «дает оптимизм», т. е. с которой связывает будущее человечества, то в центре романа «У» — не пролетарский коллектив, а именно та масса людей, которой в «оптимизме» отказано. «Кремль» и «У» создавались одновременно, и по сути дела идейной основой романа «У» стало то сомнение в неоспоримости избранного пути общественной перестройки, которое Вавилов выразил в словах: «...да — трудно для всего че-

ловечества дать оптимизм, с этим не справилось христианство, а коммунизм хочет дать это только для одного класса».

Если в романе «Кремль» отчетливо проглядывает установка на новую классику — «производственную прозу», то роман «У» — подчеркнуто эспериментаторское произведение. Отдав должное подбору эпиграфов с символическим подтекстом, замутив сознание читателя каскадом «Примечаний» к несуществующему в романе тексту, поиграв с ним в автобиографические откровения, в частности, сообщив ему о рождении сына, которого назвал в честь отца Вячеславом, писатель, что называется, озадачил его вопросом, прямой и честный ответ на который заведомо исключал возможность появления романа в печати. Савелий Львович, один из далеко не главных героев романа, войдя однажды утром в комнату своих племянниц и племянников, служившую одновременно и складом дров, торжественно провозгласил:

«— Наконец-то советская власть победила!»

“Почему эти слова вложены в уста врага?” — может подумать некоторый легкомысленный слушатель.

Ну почему так уж — сразу то? Савелий Львович сам себя не считал и другие не считали его врагом. Много лет назад он первый пошел на службу к советской власти. Когда разрешили НЭП, он спекулировал скромно. Когда припихнули НЭП — он притих и поступил на службу. Когда вычистили, он не протестовал, он не имел никаких разрушительных планов, ни о чем не мечтал, даже о пышках, хотя любил пышки и сливки. Он и в друзья к большевикам не лез, хотя и обожал парады. “Просто произошел какой-то поворот истории, и я понял, что выкинут: таких людей не так чтобы много, но есть. На этом повороте я выкинут!”»

Запретное и ключевое для романа «У» слово произнесено: герой «выкинут» из естественно-органического потока жизни, обречен значиться в числе «непролетариев», обывателей, «лишних», «бывших», «мелких» людей. При этом и герой, и писатель, конечно же, лукавят: таких «выкинутых» из жизни людей в стране, где произошла революция, большинство! И именно их бытие стало на сей раз предметом авторского внимания, они стали объектом его художественного исследования, когда «Москва внезапно перекрасилась, как умывается человек ради какого-то иного праздника, вредители каялись и строили удивительные самолеты, домы, — и все-таки для обывателя было самое удивительное — разрушение храма Христа Спасителя. Эту громаду! Громада символизировала бога», и взрыв громады-храма символизировал отмену веры в Бога.

На этом характерном фоне наступившего безбожия и развертывается романное действие, главным местом сосредоточения которого является некое строение под номером 42, при помощи строительных ухищрений времен квартирного кризиса — путем «прикрепления балок и настилки полов» — превращенное из одноэтажного в двухэтажное и плотно населенное, ибо внутри оказывается разделенным на множество комнат, «перегороженных фанерными перегородками, иная комната делилась на четверо, иная на трое, а иные на восьмеро и больше». Живое представление о бытоустройстве этого дома дает коммунальная кухня, в живописании которой в полной мере проявляется незаурядность художественного мастерства Вс. Иванова: ошутит читатель и ноты гоголевского велеречия, и жесткие краски дантовского ада: «Общая кухня! Да не такая кухня, где копошится жалкое барахлишко двухтрех семейств, а кухня, подобная той, которую я увидел: где ревело пятнадцать или двадцать домохозяек, неслось рыканье полсотни примусов: где гудело бесчисленное количество кастрюль, где в одном углу стирали белье, рядом мыли ребенка и тут же на керосинке варили ему кашу...» И еще плита, в топку которой каждый жилец бросает точного размера полено: «И вот чья голова не затрещит от рева плиты, от кипения кастрюль и чугунов, от размышляющих меланхолических чайников? Какие разнообразные бульоны, какие похлебки от картофельной до бараньей, какие отвары, какие соусы. (Э, вы переложили из моей миски в свою мое мясо. Видали вы ее, совсем обалдела от жара! Я буду перекладывать мясо? У меня честная “очередная” говядина, а она жрет свинину. Моя говядина, если хотите знать, отмечена химическим карандашом...)»

Даже из одной этой кухонной сцены, достоверно воспроизводящей несчетное число живых реалий коммунального быта 30-х годов, известных по многим произведениям и других писателей, например, повести А. Толстого «Гадюка», способны проступить четкие контуры цельной картины наступившего времени, тем более что сразу же после описания кухонных баталий писатель дает точный социальный срез обитателей дома № 42: «Кто они? Недавно еще мелкие торговцы, держатели мастерских вроде пуговичной, портняжных, переплетных, есть, кажется, владельцы склада машин, словом, остатки нэпа, ныне стертые в порошок и состоящие на государственной службе».

В отличие от многих других произведений советской литературы тех и более поздних лет на тему жизни мешан-обывателей, пафос Вс. Иванова вовсе не обличительный: действительно, «ну почему так уж — сразу

то?» Его герои — не враги советской власти, не «контра», мечтающая о социальной реставрации, а невольный продукт неожиданного поворота истории, жертвы «всероссийской аварии» — по определению героев «Кремля». Более того, они не сомневаются в победе бесклассового общества, наступлении эпохи всеобщего равенства и озабочены лишь мыслью о том, как сохраниться в новых условиях и привести себя в соответствие с ними: «Верят ли они в возможность бесклассового общества? Конечно. И отсюда у них трепет и всяческие содрогания. Они знают, что до бесклассового общества доживут, а вот пустят ли их туда?..» У рабоче-крестьянского государства тоже нет готовых решений относительно судеб буржуазии: с одной стороны, «оно не может брать на себя обязанности вводить в бесклассовое общество мещанство, буржуазию, надеяться на то, что буржуазия по дороге перемрет — не приходится, для этого она слишком хитра и ловка», а с другой — «что же ее — изгонять, как изгнали евреев из Испании?»

Вот тут в доме № 42 и появляется загадочная личность Леона Ионыча Черпанова, представившегося уполномоченным по вербовке рабочей силы на Урал с многообещающей программой ускоренного — «в три дня» — перерождения, что открывает всякого рода людской дряни, не отвечающей эталонным свойствам советского человека, надежды на спасение, обеспечивает «выкинутым» гарантии проникновения в бесклассовое общество: «...нашему комбинату, — вдохновенно разъясняет Черпанов, — поручено в виде опыта перерабатывать не только руду, но и с такой же быстротой людей, посредством ли голой индустрии, посредством ли театра или врачебной помощи — все равно. Но чтоб мгновенно! Вот я вам проектики покажу, пальчики оближите. Переделка в три дня...» На страницах романа герои серьезно обсуждают разные аспекты «перерождения», включая факторы сознательного и бессознательного восприятия его, условия применения к разным категориям непролетарской дряни, создания «пролетарского ядра» и т. д., и наступает момент, когда проект вступает в фазу практического осуществления, обретает «почти государственное значение», и появляется сообщение: «На днях открывается запись желающих ехать на Урал за перерождением». И чем серьезнее степень обсуждения программы «перерождения», тем более отчетливо проступает гротесковый характер романного нарратива. Читатель оказывается глубинно включенным в стихию фантазмагорического действия, разыгрывающегося на страницах романа, по существу реально воспроизводящего фантазмагорическую атмосферу постреволюционной дей-

ствительности России. Когда утопия вытеснила естественно-органический ход жизни, безудержно-безоглядный волюнтаризм стал господствующим духом времени, тотальное экспериментаторство предстало как его норма и узаконенный порядок вещей, появление такого рода темных личностей, как Черпанов, авантюристов с государственным размахом, не вызывает в обществе ни подозрения, ни отторжения. Фантасмагорически-игровая атмосфера общей жизни естественным образом предопределяет фантасмагорически-экспериментаторский тип романа, его жанровую структуру и идейно-эмоциональную тональность — с его проложное сценой падения громады храма Христа Спасителя, специфическим подбором эпиграфов, раскрывающих устрашающе-упреждающее значение буквы-звука «у-у-у», символическим смыслом «Примечаний» к ненаписанному тексту, наконец, inferнальным подтекстом имени главного героя: «Видали ли вы Черпанова? Отведайте его! Выдающийся. Уже сочетание букв в его имени указывает на игру каких-то особенных обстоятельств». От деятельности его по вербовке на Урал с целью «перерождения» веет духом чичиковской скупки душ, общая атмосфера романа отдает духом дьяволиады, бесовщины и чертовщины: не случайно и необычное сочетание букв в фамилии Черпанов.

Но написать произведение тогда, в 30-е годы, еще не значило быть изданным. Чем более укреплялась советская власть, тем более непримиримой становилась власть цензуры, и губительную силу ее Вс. Иванов изведать в полной мере. Только незначительная доля написанного оказывалась доступной читателю, превращалась в реальность современного литературного процесса, большая часть литературной работы уходила «в стол», становилась достоянием семейного архива или госхрана. Одно перечисление «умерщвленных» цензурой книг талантливейшего писателя способно привести в изумление, вызвать настоящее душевное потрясение. Роман «У» пролежал без движения почти 60 лет, будучи изданным лишь в 1988 году; «Кремль» увидел свет в 1981 году в издательстве «Художественная литература»; посмертно опубликованы в 1966 г. «Вулкан» в журнале «Сибирские огни», № 6, в 1968 г. — «Эдесская святыня». «Даже вели-

колепная книга “Мы идем в Индию”, — вспоминает А. Крон, — претерпела немалые мытарства, прежде чем нашла приют в журнале “Советский Казахстан” (ныне “Простор”), где и была впервые напечатана пяти-тысячным тиражом, уже в 80-е годы. Мало кто знал, сколько неизданных рукописей хранится в недрах рабочего кабинета писателя». И сам писатель, сетуя жене Т. В. Ивановой на незадавшуюся участь романа «Проспект Ильича», не без горькой иронии над своей писательской судьбой замечает: «Разве мало у меня ненапечатанного? Подумаешь! Ничего не стоит...»

Конечно, страдательной стороной цензурной бдительности явился не один Вс. Иванов — многие произведения Леонова, Платонова, Булгакова и др. дошли до читателя спустя целые десятилетия после написания, но по сравнению с писательской судьбой Вс. Иванова редко чье творчество способно вызвать такое тяжкое ощущение непрочитанности, неполноты художественной и духовной явленности. Менее стойкого духом человека всего лишь один факт такого драматического поворота творческой жизни мог бы привести к душевному надлому, вытолкнуть из рабочей колеи, но философский склад сознания, факирская фактура личности в совокупности с богатством жизненного опыта и редкой глубиной эрудицией писателя равносильно противостояли напору социальных обстоятельств. Его творческая энергия находит выход в более спокойно воспринимаемых цензурой жанрах: регулярно появляются полные живых и глубоких наблюдений очерки по следам многочисленных поездок по стране; в годы Великой Отечественной войны он отдается публицистике; вызывают живой интерес его мемуарные произведения; по его сценариям идут фильмы «Пархоменко» и «Ломоносов»... и продолжается неумолимая работа «в стол». И последний роман Вс. Иванова «Художник», работа над которым не прерывалась с 1949 года, тоже вышел посмертно — в 1966 году.

В юбилейные дни хочется сохранить надежду, что издатели и историки литературы исправят ошибки времени, и большой национальный писатель предстанет, наконец, перед читателем в добротном издании сочинений и достойном их подлинной сути филологическом осмыслении.



РАЗГАДАННАЯ ТАЙНА ИЛИ «СУММИРОВАННАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ»?

*О книгах Е. Папковой, Всеволоде Иванове
и тайнах его творчества*

Удачное название книги Елены Папковой «**Книга Всеволода Иванова “Тайное тайных”**: на перекрестке советской идеологии и национальных традиций» (М., ИМЛИ РАН, 2012) настраивает на столь же позитивное, результативное ее чтение. И, действительно, концепция Е. Папковой о немалой значимости для самой «нэповской» книги Иванова начального — «сибирского» периода его творчества, является весьма аргументированной, многое объясняющей. Тем не менее, чтобы объяснить и прояснить все или почти все, необходим очень большой и разнообразный материал, немалый контекст не только жизни и творчества самого Иванова, но и данной эпохи.

Е. Папкова в своей книге собрала, казалось бы, исчерпывающе много материала — биографического, литературного, культурологического. Тот самый «перекресток», который является ключевым понятием для наиболее полного осмысления творчества Иванова. На наш же взгляд, количество перекрещивающихся линий, векторов, влияний и т. п., породивших феномен творчества Всеволода Иванова, было намного больше двух — «советской» и «национальной». Но лишь на таком узком перекрестке и можно было увидеть то, что ранее не замечалось «ивановедами» — мощное, едва ли не решающее влияние сибирско-крестьянского компонента творчества Иванова, сформировавшееся именно в те, главные для него годы и никогда не исчезавшее на протяжении всего творчества писателя.

Концепция Е. Папковой существует также и на другом своеобразном «перекрестке» — трех книг, посвященных «неизвестному Иванову»: собственно «**Неизвестный Всеволод Иванов**» (М., ИМЛИ РАН, 2010), содержащая неизвестные или малоизвестные

произведения писателя, уже названная монография Е. Папковой и книга Вс. Иванова «**Тайное тайных**», изданная в серии «Литературные памятники» (М., Наука, 2012), подготовленная также Е. Папковой. Все началось с «Неизвестного Всеволода Иванова», открывавшегося разделом «Сибирский период творчества Всеволода Иванова. 1916—1921 гг.» В одноименной статье, сопровождавшей публикацию, Е. Папкова подтвердила правомочность существования этого допетроградского — «сибирского» периода у Иванова, называя его «практически неизученным», представляющим «уникальный пласт творческого наследия: стихотворения, самодельные сборники рассказов, отдельные рассказы, статьи, очерки, пьеса».

Через два года Е. Папкова не только развивает свою концепцию сибирского «ядра» в творчестве Иванова, но и напрямую связывает его с книгой «Тайное тайных» — самой загадочной и, по сути, тоже малоизученной книги Иванова. По крайней мере ранее с этой «сибирско-азиатской» точки зрения эта книга не рассматривалась. С введением в научный и читательский оборот большого массива произведений 1916—1921 гг. и работ, а теперь и книги Е. Папковой, об этом можно говорить определенно и уверенно. Удачно и эффективно функционирует здесь и слово-понятие «перекресток» и его смысловые аналоги, может быть, независимо от автора становясь значимым для всего творчества Всеволода Иванова. Такой смысл названия и суть первой же главы книги «Диалог со столицами». Ибо в ней исследуется вопрос взаимоотношений А. Горького и сибирских писателей. Е. Папкова осторожно называет эти отношения «диалогом», хотя и пишет о, казалось бы, совершенно непримиримых точках зрения на вопросы о на-

циональной душе и культуре: у Горького — «западнической», у сибиряков — «областнической», традиционалистской, отстаивающей свое «азиатство». Но потому и все-таки «диалог», что полной непримиримости не было: Горький, несмотря на декларируемые взгляды (особенно в статье «Две души», 1915, где резко выступил против «азиатских» наслений в душе «славянина»), не переставал интересоваться сибирской литературой, вел переписку со многими писателями, публиковал их в своих изданиях, например, в журнале «Летопись» и отдельными сборниками, а Г. Гребенщиков, А. Новоселов, В. Шишков, И. Гольдберг и др. не только читали автора «босяцких» рассказов, «Матери» и «Детства», но и обнаруживали в своем творчестве немало общего с Горьким.

Так было и с Ивановым. С одной стороны, он следовал исконно сибирской, «областнической» традиции, начиная с рассказов на основе сибирских легенд и мифов. 2-ю главу 1-й части своей книги Е. Папкина так и называет: «Легенды об ушедшей Сибири», утверждая, что рассказы Иванова 1916 года «Рио», «Нио», «Сон Ермака», «Сны осени» и др. имеют истоки именно в региональной традиции. Таков рассказ «На горе Ык» с плачем шамана Турка о гибели «нашей свободы», абаканских кедров и скал, которые «прорежут огненные телеги» (железная дорога). Тем самым, считает Е. Папкина, Иванов сближается с «новокрестьянской» поэзией, особенно с Н. Клюевым, в стихах которого содержится «противопоставление земли и железа, природы и технического прогресса». Но вряд ли этот вывод распространяется на все раннее (и не только) творчество Иванова. Так, в другом рассказе тех же лет «Над Ледовитым океаном» шаман, имеющий «родственную связь с железом», противореча себе, трагически вешает «о наступлении железа на мир духов». И примеры таких противоречий и нестыковок с «традиционными» взглядами не единичны. В Иванову пересекались и вли «диалог» и крестьянин, и странник, и «шантрапа» из одноименного рассказа 1917 года, герои которого так похожи на горьковских «босяков», а их разговоры — на беседы ночлежников из пьесы «На дне». Есть ведь и в «Шантрапе» свой актер по имени Таежный и слесарь, только не Клещ, а Арефий, ищущие правды, но без горьковского драматизма.

Этот «перекресток» двух основных тенденций — «традиционной» и «горьковской», разветвляется и дополняется с 1918 года еще одной, не менее важной, не уступающей, может быть, в значимости первым двум. Это игровое, экспериментаторское начало, которое можно назвать цирковым, «факирским», футуристическим. Оба этих момен-

та связаны с биографией Всеволода Иванова, работавшего в цирке и мечтавшего о путешествии в Индию, а также с его знакомством с омским кружком литераторов, где ключевую роль играл Антон Сорокин — «шут Бенеццо» и «король сибирских писателей» в одном лице. О том, что Иванов в Омске 1918—1919 гг. оказался в своей стихии, говорит и эпатажный внешний вид писателя тех лет, ходившего по улицам «в белой блузе с широким воротником, на котором искусно была вышита зеленая змея» (воспоминания К. Урманова) и «в парчовом жилете», в подражание футуристу Д. Бурлюку (воспоминания В. Уфимцева), и пьеса «Гордость Сибири Антон Сорокин». Е. Папкина, в рамках своей концепции о Всеволоде Иванове — традиционалисте, заостряет внимание на негативном изображении Горького, его «язвительной характеристике» в преамбуле (описании героев) как одного из действующих лиц этой пьесы. Покровитель и учитель сибирских писателей предстает как «пророк с огненной глоткой и мозгами из персидских ковров. Мысли его, как осенние букеты цветов, без запаха. Любит лизать затылки у сонливых литераторов, склонен погрызть орешки культуры». Поданной «в откровенно издевательском ключе» считает исследователь и сценку, где Горький «глядит по спине (Вс. Иванова. — В. Я.) Сборником пролетарских писателей (во втором сборнике, 1917 г., были напечатаны рассказы писателя. — В. Я.)», а А. Оленич-Гнененко, приказывая: «Дрожи и трепещи» от имени Горького, пересказывает его «мудрые слова» о большом культурном будущем Сибири. Но, пожалуй, очевиднее здесь, как и во всей пьесе, все же футуристический гротеск в стиле кружкового лит. капустника.

Тем более что все многочисленные герои пьесы — члены все того же «сорокинского» кружка и вполне возможно, что «Гордость...» — плод коллективного творчества. На что указывает и другая архивная рукопись пьесы, подписанная «П. Гнедненко», с «Необходимым предисловием» к ней, написанным А. Сорокиным и не упомянутым Е. Папкиной в ее новой книге. Не касаясь всех проблем этого текста Сорокина, относимого к середине 20-х гг., когда его отношение к Иванову резко изменилось, коснемся его небесспорного содержания. А именно, в этом провокативном тексте говорится о «смешанном авторстве», видимо, практиковавшемся тогда в омском кружке. Возможно, что в словах Сорокина: «Вы мои произведения в своей переработке печатаете», «благодаря мне стали писателем» и др. есть крупная правда, учитываемая игровую стихию, культивировавшуюся «шутком Бенеццо» и «факиром» Вс. Ивановым. Случаен ли тогда

был, в этом смысле, другой такого же рода эксперимент — совместный с В. Шкловским роман «Иприт» (1924), да и сам факт участия именно в «Серапионовых братьях»?

Впрочем, в то сумасшедшее время 1918—1919 гг., с его калейдоскопической пестротой политических амбиций эсеров, эсдеков, «областников», колчаковцев и т. д., это было еще и формой существования вне политики. Е. Папкова готова даже согласиться с выражением «политический цинизм» в отношении к Иванову в главе «“Белое прошлое” Всеволода Иванова», чтобы тут же от него отказаться. Писатель, действительно, занимал тогда, в Омске, позицию «наблюдателя». Однако в рассказах и очерках, написанных «в жестком реалистическом, почти натуралистическом стиле», сквозит «личная боль» Иванова, пишет Е. Папкова. Но разве меньше ее было в рассказах, созданных до и после 1919 года? В «Сумерках жизни» 1916 г. о застрелившемся от «чеховской» безнадежности идеалисте Гребневе или в «Вергельшике Семене» того же года о крестьянине, подрабатывавшем в типографии и ставшем жертвой людской злобы и равнодушия? Да и рассказ 1917 г. «Книга свободы», приветствовавший февральскую революцию, заканчивался смертью не дожившего до нее революционера Прощенного, писавшего всю свою жизнь «Огненную Книгу Свободы». Но и в 1920-м и в 1921-м таких «болевых» произведений хватало. Например, драматичная «Брюя», где в финале отец невесты проходит мимо «красной свадьбы», где его ждет выходящая замуж дочь, и у читателя сердце шемит не меньше, чем, скажем, от «Писем из Омска» 1919 г.

Следующая глава книги Е. Папковой «Странники и правдолюбцы в книгах “Рассказы” и “Рогульки”» посвящена произведениям тех же лет «белого прошлого» Иванова. Но уже в свете идеи о решающем значении сибирского традиционализма в его творчестве. А можно было бы сказать, «на перекрестке аполитичности и национальной традиции». Аполитичность тут в том, что обе книги были рукописными: «Рассказы» — это обычная тетрадь с наклеенными на ее листы вырезками из газетных публикаций рассказов писателя, а «Рогульки», хоть и изданы, но «рукописным» тиражом в 30 экземпляров, да еще в походной военной типографии и подписаны «игровым» псевдонимом «Всеволод Тараканов», что кладет свой отпечаток на национально-традиционную «серьезность» этой книги. Сам Иванов, правда, писал Горькому в 1920 году о своем псевдониме, что взял его из-за мобилизации в армию Колчака: «Если бы узнали, что я пишу, мне бы пришлось плохо». Но скорее всего, это была версия специально для Горького, в чис-

ле других, порожденных во множестве бурной фантазией Иванова. С нашей же точки зрения, этот псевдоним был более литературным, чем политическим, став причиной того, что главные герои «Рассказов» и «Рогулек» все в какой-то мере «Таракановы» — чудаки и юродивые: Купоросный Федот (из одноименного рассказа), построивший деревенский «ароплан» «из жердей», или Анделушка («Анделушкино счастье»), вырвавший из старинного «Миниар-Писания», хранившегося в церкви, страницу рукописного Божьего слова и не сумевший объяснить это поймавшим его односельчанам. «Что он хочет сказать, никто не знал», — заканчивает этот рассказ Тарканов-Иванов.

А знал ли сам Иванов, что он хотел сказать в рассказах этих и последующих лет, созвучав ли их преемственность по отношению к традиции сибирской литературы? Е. Папкова видит в чудачествах и метаниях героев «белого» Всеволода Иванова «тоску по вере», по «земле обетованной». Но не скрывает и противоречивой раздвоенности между «идеей возвращения на родину» и «идеей побега вонне», т. е. в «Индию, Полую Арапию, город Верный, Коммунию» и т. д. Не зря рецензенты тех лет отзывались о сюжетах поиска этой «земли» в рассказах современников Иванова как о «пути безумцев». Выходит, автор «Купоросного Федота» и «Анделушкиного счастья» оставался в той же мере в рамках эстетики эксперимента и эпатажа, сколько и в исконно сибирской традиции рассказов о Беловодье.

Таким образом, поэтика «перекрестка» у Всеволода Иванова — феномен не только 20-х гг., а является едва ли не главной чертой в его творчестве на протяжении многих лет. Вряд ли это было по нраву самому Иванову. Но тогда лит. ситуация в целом в СССР только способствовала хаосу идей и стилей, усугубляла его, включая сюда и попытки писателей «отдельных» и «групповых» выйти к чему-то единообразному. И потому нужно иметь в виду, что под словом «путь», употребляемом Е. Папковой в характеристике периода, предшествовавшего написанию «Тайного тайных», а также в названии 1-й части книги ее книги, подразумевается не мировоззренчески выверенное движение, логически приведшее писателя к «Тайному...», предвосхитившее его, а нечто другое. Характерно начало этого пути: в Петрограде 25-летний Иванов откровенно теряет, вступив сразу в и в группу пролетарских писателей «Космист», и в группу «Серапионовых братьев», благословленных Горьким, принадлежа там к «правому» крылу (К. Федин, Н. Никитин, М. Зошенко), но крепко дружа с «левым» В. Шкловским. В таком состоянии эклектики и, в общем-то, сумбура в созна-

нии он и пишет, как многие почему-то подумали, стопроцентно «красные» «Партизанские повести». Чуть позже передумали. И начали ломать головы над ними, ломают и сейчас, но в итоге ни к какому единообразию не приходят, ибо «перекресток» превратился в «контрапункт», противоречия стали кричащими.

Особенно после публикации С. Поварцова в 2008 году (Вопросы литературы, № 6), где известный литературовед, в прошлом омич, показывает высокую степень путаницы, растерянности, «психоза» (К. Урманов), овладевших Вс. Ивановым накануне и во время ухода Колчака из Омска. Так как «белым» Иванов был, как видно, в большей мере, чем считалось ранее. И хотя мемуары пристрастнее любого другого архивного документа, но то, каким видели близкие друзья молодого Иванова — Б. Четвериков и А. Сорокин, уж очень похоже на Иванова-Тараканова. Например, признание Иванова, что он написал («отмахал») «Партизан» «в две недели», т. е. в Петрограде, а не в Сибири, или как, «хихикая», говорил о своей недавно написанной «революционной» автобиографии с героическими приключениями, невероятными спасениями при участии «белого» офицера, «партизана-кержака» и «наборщика в буденовке и с рукой на перевязи». На самом деле это был всего лишь «забавный детектив», «смешной фарс» и «приключенческая пустяковина», пишет Четвериков. Еще больше ретуши снимают с образа «красного» Иванова 20-х гг. впервые, как и мемуары Четверикова, публикуемые Поварцовым выдержки из «убойного компромата» А. Сорокина на «белого» Иванова: «Бронепоезд 14-69», оказывается, написан Ивановым, когда он «был редактором передвижной колчаковской газеты “Вперед!”», самой беспощадной и клеветнической... Теперь только произведения Иванова перекрашены в красный цвет...» Или: «Я не скрываю — я авантюрист от литературы и тому же выучил и своего ученика Всеволода Иванова».

То, что написанное о нем А. Сорокиным не только клевета и фантазии, мы уже предполагали. С. Поварцову в его попытках «разобраться в этом вареве», где была (допускает исследователь) и правда, еще сложнее. И какой бы темной ни была эта история «белого» Иванова-«колчаковца», участие А. Сорокина, привившего или поощрившего в своем земляке (оба из павлодарских краев) это «лукавое» (словечко критика А. Воронского) качество практически нераздельного смешения реальности с фантастикой, не подлежит сомнению. Подтверждает это и Четвериков, говоря о «склонности Всеволода к фантазированию...» Однако «ушел он из жизни, — пишет С. Поварцов, — с ощуще-

нием не высказанной до конца правды, в том числе правды о себе».

Эту «не высказанную до конца правду» упорно искали в произведениях Всеволода Иванова и в нем самом уже в 20-е гг. К этому же стремится и Е. Папкина, давая слово разным его критикам-оценщикам 20-х гг., от Л. Троцкого и эмигранта Р. Гуля до бывшего символиста С. Городецкого и «сибиряка» из «Сибирских огней» Я. Брауна. Одни уверенно называли его «крестьянским писателем», описателем «мужика» и деревни; другие, как Троцкий, только «мужиковствуя», без внятного отношения к деревенской теме: больше ли «кидиотизма» в ее изображении или воспевания ее уклада, речи, духа; третьи, как Я. Браун, писали об «элементарничающем примитивизме» его произведений. Красноречивее же всего лит. деятельность самого Иванова. В сборнике рассказов «Седьмой берег» он объединил веселые, как миниатюры «Алтайских сказок», с весьма невеселыми, как «Полая Арапия» о людоедском голоде в Поволжье. В крупной прозе он терпит неудачи с недописанными «серьезными» романами «Северосталь» и «Казачи» и с опубликованным «веселым» «Ипритом», но и «полувеселые» «Возвращение Будды» и «Чудесные похождения портного Фокина» удачными не назовешь. Так и в жизни: Иванов много веселится, пьет («Всеволод стал забудливой и пьет», — пишет В. Каверин Л. Лунцу в мае 1924 г.), знакомясь с далеко не трезвенниками Б. Пильняком и С. Есениным, но в душе идет большая внутренняя работа в ощущении близких перемен. Е. Папкина и завершает 1-ю часть своей книги главой с «говорящим» названием: «Сибирская деревня на “седьмом берегу” счастья. Сборник рассказов “Седьмой берег”», утверждая, что крестьянская тема, несмотря на попытки Иванова отодвинуть ее на второй план, оставалась для него приоритетной. Но устранил ли он созданием «Тайного тайных» свои противоречия, упростил ли свою жизнь, протекавшую «в двух измерениях», как пишет Е. Папкина — «веселом, шумном» и «внутреннем — ином»?

Нет, все еще больше усложняется! Во II-й части «Книга “Тайное тайных”»: текст и контекст» Е. Папкина вынуждена в основном описывать быт и бытие писателя в весьма плотной московской литературной среде, самые разные побуждения и свершения Иванова, предпочитающего и впредь оставаться вне политики (так, протест писателей-«попутчиков» в ЦК против «огульных нападок» ревнителей пролетарской литературы он подписал, но в перипетиях вокруг него не участвовал). Он то носит «маску ироничного наблюдателя», то готов вместе с Есени-

ным организовать новый альманах «Поляне», переписывается и с Горьким, и с А. Воронским, много ездит по стране. Именно Горькому он пишет в декабре 1925 г. ключевое: «Я честно возвращаюсь к первым своим вещам...». Т. е. к той «простоте», пишет Е. Папкова, которая «во многом... стала возвращением к себе прежнему — к манере письма и тематике ранних сибирских рассказов».

О том, насколько «просты» были «сибирские» рассказы Иванова, мы уже знаем. Но можно согласиться с Е. Папковой, что едва ли не главное в «Тайное тайных», вышедшем в 1927 г., композиция этой книги, «последовательность расположения» рассказов, ранее уже публиковавшихся в прессе 1925—1926 гг. И выходит, что, располагая произведения согласно хронологии этого переломного периода в истории страны (от предреволюционного времени до начала нэпа), писатель пытается — теперь уж всерьез! — осмыслить «историческое время в его сложности и многослойности». Трезво и иными средствами, а главное, с новыми лит. помощниками: проникновение в самые темные закоулки души, без психологической тяготины, без цветастой орнаментальности начала 20-х, скупым и точным словом, без уроков Чехова и Бунина невозможно. Сугубой простоты, однако, не вышло. Внимание к тайным мотивам поступков своих героев влекло за собой, вольно или невольно, обращение к фрейдистской тематике, «половому вопросу», совпавшее с дискуссиями в советском обществе 20-х гг. о поле и браке. Е. Папкова отводит этому специальную главу «Борьба за “новый быт” и “Тайное тайных”», которую подытоживает выводом о неутожительных результатах ««культурнической» переделки русской деревни в период нэпа и тесной связи этой переделки с «мотивом утраченного пути» в «трагической книге “Тайное тайных”».

Действительно, трудно сохранить прямое направление пути, если так много «культурных слоев» приходилось преодолевать: и советскому крестьянину, и писателю, и самой стране, испытавшей накануне революции настоящий культурный ренессанс, а потом не знающей, как с ним поступить — сбросить с корабля современности или все же усвоить, но как-нибудь «тайно», «тайно-тайно». На наш взгляд, Всеволод Иванов в своей книге с дважды «тайным» названием возвращался не столько к раннему, незрелому, включая футуристически-«сорokinское», сколько к культуре, классике, основанной на «дворянской» культуре слова, мысли, чувства. Не зря накануне он, случайно купив где-то на улице полное собрание сочинений Гоголя «за полтинник», перечитал

его, «охнул. Вот пишет! Старички-то, а? Даже смешно, до чего я дурак!» (письмо К. Федину, январь 1925). И не только Гоголя. Иванов вдруг начал «замечать» Тургенева и Лескова, Толстого и Достоевского, своих современников Леонова и Бабеля.

Так, первый же рассказ «Тайного...» «Жизнь Смокотинина» о том, как борьба с внезапно возникшим чувством к Катерине, молчаливой вдове и непонятно-обаятельной крестьянке, привела героя к деградации и смерти, демонстрирует контекст едва ли не всей русской классики 19 века на нескольких страничках рассказа. Плюс Горький, у которого есть повесть со сходным названием: «Жизнь Матвея Кожемякина». В «Полынье» о том, как заблудившегося зимой Богдана отогрел телесно и душевно одинокий селезень, видны Тургенев и Бунин. Рассказ «Ночь» о борьбе Афоньки с плотским чувством тоже к вдове, но теперь уже умершего брата, заставившем его в итоге убить слишком часто встречавшуюся на пути богомольную нищенку, прежде всего гоголевский и «достоевский», с атмосферой «Страшной ночи» и «Хозяйки». В «Плодородии» о столкновении случайного большевика Мартына с хитрыми и жестокими односельчанами-кержаками ощутимее Горький, «Пустыня Тууб-Коя» и «Смерть Сапег» с их красноармейскими героями, рисковыми и плотоядными, заставляют вспомнить «Конармию» Бабеля, «Бегствующий остров» о нелепо-«идейном» кочевании целого села в послереволюционный город — «Беловодье» сибиряка А. Новоселова.

Тем видней и безусловней, здесь, однако, рука самого Всеволода Иванова, автора «Глиняной шубы», «Синего зверюшки», «Дитя» и др. Узнаешь писателя и в его темпераменте, каком-то особом чувстве ритма (знаменитая «орнаментальность» Вс. Иванова это не только красочность, но и ритм в компоновке красок, метафор и сравнений, фраз, абзацев, главок, сюжетных блоков и т. д.) ведения повествования. Вячеслав Вс. Иванов, сын писателя и блестящий современный филолог, восхищался, «с какой смелостью Всеволод Иванов в изображение современности и восстановленных им картин прошлого вносил неожиданные образы, рожденные его поэтическим воображением». В книге «Неизвестный Всеволод Иванов», из вступления к которой мы процитировали эти слова, есть также и немного о сибирском периоде творчества его отца, где «новокрестьянство», «клюевство-есенинство» Вс. Иванова не акцентируется. На наш взгляд, именно такая широта подхода (чем шире, тем лучше) больше всего пригодилась бы при характеристике книги «Тайное тайных». В ней отразились и поиск Индии не

столько «физической», сколько духовной (эпиграф из Гейне к одной из глав романа «Похождения факира»), т. е. «увлечение духовидческими поисками», парапсихологией, вплоть до передачи мыслей на расстояние и увлечение научной психологией, оставшееся «у писателя на всю жизнь» — и только на этой почве интерес «к жизни и верованиям сибирских староверов и сектантов».

И не только. Наряду с этим Всеволод Иванов, продолжает его сын, использует в своих произведениях сибирскую и индийскую мифологию, «мусульманский западно- и южно-сибирский, алтайский и среднеазиатский фольклор». А еще было серьезное увлечение поэзией, «опыты верлибра» (не зря «любимым поэтом» Вс. Иванова был В. Хлебников, свидетельствует Вяч. Вс. Иванов). Следует учесть и повышенное внимание писателя к работе со стилем, формой произведения, а не только содержанием: «Экспериментирование с намеренно упрощенным (как бы сугубо разговорным) строением фразы и густой метафоричностью» — не зря же так близко дружил он с главным советским «формалистом» Шкловским, чья проза имеет немало точек соприкосновения с «ивановской».

Тем не менее, книга Е. Папковой о «Тайное тайных» не менее широка и полна. При всей своей явно обозначенной концептуальности. С другой стороны, она может служить бесценным источником, настоящим кладом материалов о Всеволоде Иванове и его эпохе, в ней много интересного и важного о сложных переплетениях и наслоениях литературных проектов и свершений, контактах и конфликтах, мировоззренческих открытиях и авантюрах разных лет. Особенно интересен и обширен раздел «Приложения» со статьями едва ли не всех, печатно высказывавшихся о Вс. Иванове и о «Тайном тайных» — А. Воронский и Г. Горбачев, А. Лежнев и В. Полонский, и практически неизвестные М. Рудерман, А. Зонин, Ник. Беленький, С. Пакентрейгер, и наиболее злобные Л. Авербах или А. Безыменский, писавший о «сигнализации нашему классовому врагу». И это не просто добросовестность и тщательность подхода к исследованию, а достаточно смелый прием, когда автор не боится «конкуренции», сравнения своих теоретических выкладок с текстами известных в литературоведении и по сей день имен. Обильно цитируются в книге также письма и рукописи, редкие и архивные из РГАЛИ и «Личного архива» Всеволода Иванова. Что неудивительно, ибо Е. Папкова — откроем, наконец, секрет! — внучка Вс. Иванова. Так что соревнование двух подходов и концепций, условно, «широкого» и «узкого», тут почти родственное.

Издание «Тайного тайных» в серии «Литературные памятники» (М., Наука, 2012) подготовлено и осуществлено также Е. Папковой. Ее статья «Главная книга Всеволода Иванова», сопровождающая издание, — немного сокращенный вариант ее же монографии о той же книге писателя. Легко понять, зная эту монографию и ее концепцию, и принцип отбора рассказов в раздел «Дополнение», куда вошли наиболее «новокрестьянские» рассказы 1916—1921 гг.: «Вергельщик Семен», «В зареве пожара», «Дед Антон», «Купоросный Федот», «Анделушкино счастье», «Полая Арапия» и несколько других. Призвана, видимо, убедить в правоте подходов Е. Папковой и подборка рассказов из 2-й части «Дополнений» — от «Счастья епископа Валентина» до «Особняка» и «Гибели Железной», которые «вместе с ТТ составляют единое целое», войдя в книгу «Дыхание пустыни» (1927). Существует даже специальный термин: «группа “Тайного”» — «серия рассказов и повестей, сгруппированных в сборник “Тайное тайных” и вокруг него».

Этот скромно отосланный в «Комментарии» лит. факт способен пошатнуть концепцию Е. Папковой о «Тайном тайных» как «крестьянской», «мужицкой» книге с главными мотивами «потери исторического пути» и почвы, «блудных сыновей», поиска и обретения веры и как вопрошания об «истории и культуре России, ее судьбе». Ибо «Тайное тайных» оказывается лишь очередным опытом выходом-«антрэ» «факира» Вс. Иванова, сыгравшего в этой книге 1927 года на «высокой (ноте, добавим мы. — В. Я.) эсхатологической интонации». При более широком понимании этого историко-литературного явления «Тайное тайных» трактуется как «новелистическая художественная система, в орбиту которой стягиваются почти все рассказы 2-й половины 20-х гг.», — пишет, ссылаясь на самого Вс. Иванова, Е. Краснощекова во 2-м томе известного 8-томника 70-х гг. издания.

А был еще просто цикл из семи рассказов, «количественно» (да и качественно тоже: не было рассказов «Счастье епископа Валентина» и «Блаженный Ананий») не совпадавший со сборником «Тайное тайных», некоторые рассказы которого («Пустыня Тууб-Коя», «Смерть Сапеги», «Яицкие притчи») «продолжали линию экзотических рассказов», но и были близки «деревенским». А если еще учесть варианты тех же рассказов в разных изданиях и переизданиях, правки, вносимые самим писателем, желавшим вписаться в советскую жизнь, и редакторами, еще более того желавшими, то проблема гигантски вырастает. Надо отдать должное Е. Папковой: проделанная ею работа по сличению разных редакций произведений,

выявлению разночтений на разных этапах творчества Вс. Иванова — «орнаментальность» и упрощение изображения человека, усиление психологизма и усложнение изображения человека, усиление идейности и «советизация» творчества, огромна и достойна глубокого уважения. Тем более что даже немалый том «Неизвестного Всеволода Иванова», как пишет Вяч. Вс. Иванов, лишь малая часть того «огромного архива Всеволода Иванова», который остается все еще неизвестным.

Тут и руки опускаются перед «бездной премудрости» архива на фоне маленькой (всего 9 рассказов) книги Всеволода Иванова «Тайное тайных». И тогда ностальгически вспоминаешь прежних исследователей его творчества, этой бездны не изведавших. В первую очередь сибиряков Н. Яновского, Е. Беленького, Е. Цейтлина. Выводы Н. Яновского, например, кажутся в сравнении с книгами Е. Папковой слишком простыми и прямолинейными: «Группа “Серапионовы братья” с ее установкой на аполитизм и безыдейность нанесла заметный вред творческому развитию писателя»; «удивить читателя необычностью событий, потрясти его ужасами войны, нарисовать человека чем-то надорванного» в ущерб «воспроизведению типичных черт нового человека гражданской войны» — такова главная тенденция в сборнике «Тайное тайных». Но в общем, по сути, отвлекаясь от издержек советского патриотизма и редактуры, разве Н. Яновский не прав и его точка зрения так уж не

совместима со всем массивом собранного Е. Папковой материала? И там и тут — концепции, одна «клюевско-есенинская», другая — «горьковско-соцреалистическая» («свою литературную работу Вс. Иванов начал под непосредственным влиянием А. Горького», «вслед за Горьким» рано понял, что «изучение жизни заключается не в чтении книг, а преимущественно в непосредственном знакомстве с людьми, с их трудами и заботами»).

Это при том, что сам Вс. Иванов концепций не любил и избегал, а если и теоретизировал, то конкретно, практически, касаясь техники повествования. Предваряя свою книгу «Прямая речь (30—50-е гг.)», он писал: в ней много «переписано чужих мыслей, помогающих строить свои». Е. Цейтлин потому и оценил эту книгу как эссе, хоть и соединенное «с серьезными научными построениями». Впрочем, Всеволод Иванов мог и в дневнике, словно походя, написать нечто весьма важное: «Невозможность создания типов, потому что тип — это суммированная случайность». Не так ли и сам Вс. Иванов создавал свои произведения, суммируя случайности, зная, что тип, как недостижимое совершенство, создать нельзя? Тем не менее, у нас, в нашей литературе есть немало сокровище: Всеволод Иванов, сибиряк, петроградец, москвич, а в целом — тип выдающегося русского писателя, всю свою творческую жизнь разгадывавшего «тайное тайных» себя, своих произведений и всего мира.



КНИЖНАЯ ПОЛКА

БЕЗУМНАЯ АБСТРАКЦИЯ

Комаров К. От времени вдогонку. — Екатеринбург, 2013.

Книга стихов «От времени вдогонку» — это плохой дебют хорошего поэта. Впрочем, не совсем дебют. Стихи Константина Комарова были опубликованы на страницах журнала «Урал», и там они произвели на меня очень сильное впечатление своей наглой, другого слова не подберу, непохожестью на то, как сегодня нужно писать стихи хотя бы для того, чтобы один раз попасть на какой-нибудь приличный литсеминар, я уже не говорю о публикации. В стихах Комарова все поперек сегодняшних ученических «линеек». Хотите «внимания к деталям» — нате вам «безумную абстракцию», рассчитывайте на точность слов — а у нас изволь «понимать мой туманный койне» (хотя, вообще-то, «койне» — среднего рода). Желаете аристократической сдержанности тона и холодноватой постбродской иронии? А тут надрыз и пьяная (по-есенински, разумеется) сентиментальность, «почти добившая меня». И вся эта шаткая конструкция, чуть ли не из кубиков сделанная, каким-то образом не падает, а необязательное слово поэта порой (точнее — иногда) попадает в точку. У автора есть несомненный песенный дар, поэтический голос. Голосом-то он и берет, громкостью, напевностью, красивым тембром, так, что не хочется замечать явных провалов, которые, увы, есть почти в каждом стихотворении.

**Бог забит молотками молитв,
бога нет, бог не чувствует боли.**

Какой страшный образ, если воспринимать эти слова всерьез! Бога убивает молитва! Но дальше в этом стихотворении следуют строки совсем несусветные в своей корявости:

**У меня же — бумага болит
и звенит, словно русское поле.**

В этом образе нет ни логики, ни красоты, ради которой можно было бы логикой пренебречь. Но отталкивает даже не это, а такое наивное самолюбование: что там муки Бога на кресте, я тут стихотворение пишу! Самолюбование получилось наивным, а не вызывающим именно потому, что здесь все слова сказаны не всерьез. Не ради смысла, а ради звука. Но одно без другого немислимо. И дальше в том же духе:

**Говорили, ты сходишь с ума,
Говорили, ты бес лицедейства,
Но молчала, молчала зима,
Позволяя в себе отсидеться.**

И так до конца. Девять катренов ни о чем в буквальном смысле слова. Тут бы и закрыть книгу. Но две первые строчки — они запоминаются...

И так почти во всех текстах книги: одно-два сильных четверостишия, которые буквально тонут в мутном потоке приблизительных слов и приблизительных чувств. Константин Комаров прекрасно владеет силлабо-тонической формой, хотя очень часто позволяет себе выходить за ее пределы. Но внешних ограничений оказывается недостаточно, если нет внутренней дисциплины. Не помогают даже дополнительные ограничения по рифме:

**В том городе, куда сбежали мы,
Уводят в никуда пустые скверы,
И даже продавщицы шаурмы
Загадочны, как древние шумеры,
В том городе, куда сбежали мы.**

Прекрасно написано, но что же дальше? А вот что:

**Здесь не тревожат хмурые умы (? — Е.И.)
Желания огромной чистой веры.
И даже точные и правильные меры
В пространстве света, светотени, тьмы
Здесь не тревожат хмурые умы.**

Понятно, что в отличие от пространства города, в «пространстве светотени» может

Начало века. Литературный и краеведческий журнал. 2013, № 2.

Соблюдая старую добрую «толстожурнальную» традицию, «Начало века» отдает первую половину номера роману. «Уфо» Г. Климовской написан так, что поначалу ничего уфологического в этой прозе о жизни советских горожан середины 20 века не подозреваешь. Не найдешь такового и во второй его половине, где пожилая уже героиня, дожившая до «лихих» 90-х, становится специалисткой по помойкам и их содержанию, загадившему ее одинокую квартиру. Невеселой, в общем-то, этой истории явный контраст составляет язык автора, столь же «лихой», как и «помоечные» подвиги прежней отличницы, «старой девы» и руководителя сектора вирусологии Биологического института. В итоге понимаешь, что эта неадекватность формы содержанию происходит от потери адекватности взгляда на положение дел в жизни вообще не только Адой Авдиевной, откуда и эта ироничная кличка героини «Уфо». Но оправдывает ли сей итоговый тезис весь строй этого прибауточно-фольклорного (автор — доктор филол. наук, лингвист) произведения? С другой стороны, без «языка», «авторского» по исполнению, останутся лишь «голый» текст и «тезис».

Как в одном из «дорожных» рассказов С. Яковлева, где молодую сельскую учительницу растерзали лесные волки, хотя ждешь, по привычке, хэппи-энда. А не дождавшись, понимаешь: автор отдал свою героиню волкам, потому что была она слишком «советской», не приняв ухаживаний бывшего политэзка, осевшего в их селе. Тем не менее жанр «дорожных историй» позволяет толковать рассказ как простор случай, казус. Зато в рассказе С. Куклина «С выходом из-за барака» нет никаких случайностей: даже дед-рыбак, нечаянно задержавшийся в тайге, в итоге угощает геологов уловом, не говоря уже о налаживании личных отношений у «парных» героев рассказа. Что и оправдывает его название, сначала не очень понятное: это не столько «цыганочка с выходом», сколько кадрили, танец всех поладив-

ших влюбленных. Пусть и архаичный, но зато позитивный. Так, в общем-то, случилось и с двумя мнениями о романе томича В. Костина «Колокол и болото». А. Казаркин, оппонировав опубликованной здесь же рецензии В. Яранцева, ругает за сугубую «самобытность» романа, отрицая его принадлежность к современной мифопрозе, но только к «интеллектуальной» и неособластнической, размышляющей «о сопротивлении обезличивающему Центру». Спасибо В. Костину, сибирской прозе вообще и томской в частности за такие резкие перепады от полной ясности к труднообъяснимости. Зато стихи, будь то слишком литературные стихи в прозе Е. Вязанцева или слишком «литучебные» поэтов из Стрежевого, блистают мудрой прозрачностью смысла: «Старая, человек лишь меняет игрушки», — пишет стихопрозаик; «Синий цвет, зеленый — / Их милее нет...», — пишет стрежевичка А. Кувалдина, пенсионер-геолог, «ставшая открытием и для нас, и для собратьев-сочинителей», — пишет В. Крюков. На этом открытия в номере не заканчиваются: это и очерк об отце писателя В. Макшеева, эстонском эмигранте, и «исторические анекдоты» из редкой томской газеты 1916—1917 гг. Таким, в общем-то, и должен быть лит. журнал, если хочет быть интересным и читаемым.

Огни Кузбасса. Журнал писателей России. Кемерово. 2013, № 1.

После самоуспокаивающих стихов Б. Бурмистрова, где столь явен мотив усталости («Я, уставший от брани, / Ухожу от судьбы...»), в том числе «от 20-го века», уже не так неожидан исторический текст В. Сошныры «Николай» неизвестного жанра. В справочниках значится, что это «повесть, 1992 г.», на самом же деле это собрание разноразмерных фактов из жизни царя Николая I, которого похвалить особо не за что, а хотелось бы. Но перо биографа, поэта-петербуржца, уже успело написать, что царя этого «совсем не любили», а сам он «любил, как мучат мужчин и часто смотрел казни», и

вообще был «человеком без всяких примет». Поэтому в середине своей эссеобразной повести, где читателя время от времени накрывает с головой лавиной биографического материала (текстовыми блоками, без абзацев), автор начинает рассказывать о гениях николаевской эпохи — Пушкине, Дельвиге, Чаадаеве, Гоголе, Лермонтове, Достоевском. А вторую, самую одиозную половину его царствования упрямывает в сны героя и их гоголевскую метафорику. Например, про «шляпы, высокие, предметы зла, французские». Зато читателю — свобода толкований. Под конец В. Соснора, торжественно хороня своего героя, все же находит повод его похвалить: «Он был царь народа», «долг, строгий долг был для него Закон, Отечество — алтарь!».

После текста такого крутого замеса, кружащего голову своей субъективной документальностью, не сразу очнешься. А тут — стихи М. Кудиновой о «Лазаре в лазарете» Гражданской войны, о Пасхе тех же «красно-белых» времен и др. в том же стиле искусной эклектики плавления эпох или темных законов авторского «Я»: «Я — всех акцентом имитатор / И всех земель абориген». Благо, можно, наконец, отдохнуть от «культуры» на повести В. Иванова «Служивый» — бесхитростном рассказе о службе в армии с ее железными законами «дедовщина», по которым рядовой Миша Силин начинает жить. В конце концов, ведь они так хорошо согласуются с неписанным уставом службы: «Солдат должен быть полураздетым, полуразутым, полуголодным, но уметь метко стрелять» и т. д. Согласуются ли они с законами и обычаями деревенской жизни героя, уроженца села, читатель должен понять из 2-й части повести, где Миша, будучи на побывке, запутался в невестах, друзьях, родных, отчего в итоге напивается и буянит, не очень-то страдая потом рефлексией и самобичеванием. Здесь все — как в любимом индийском фильме сельчан «Цветок в пыли», смотренном-пересмотренном.

Главы из книги В. и О. Сухацких рассказывают о питании кемеровчан в 20 веке. Читая о том, как и под каким соусом ели жители начала века еще в Щегловске и питались в 20—30-е гг. иностранные специалисты, не раз облизнешься: пельмени, например, делались с фаршем, порубленным «мелко-мелко ножом-тыпкой», становясь «сочнее и вкуснее», особенно если добавить «в фарш чуть-чуть сливок». В Кемерове, которым Щегловск стал в 1932 г., ели уже намного хуже, например, конскую колбасу, один из сортов которой в народе прозвали «Маруся отравилась». А на десерт в этом номере предлагается разоблачение знаменитого В. Мессинга В. Перводчиковым, утверждающим, что тот был всего лишь фокусником, «лицеде-

ем». Стройной и до конца убедительной статьи, правда, не вышло, зато мы много узнаем о самом авторе и его друзьях-коллегам. Да и трудно одной, хоть и компетентной статьей заставить не верить в Мессинга: пусть он и миф, но из разряда вечных. Главное же, что весь номер журнала получился интересным, и в его обьеме и этот «сырой» материал, и такой же «невьдуманный» рассказ Н. Дорожкина о своеобразном «Мессинге» той же эпохи (романтическом герое или авантюристе?) под инициалами «Р. Б.» выглядят выигрышно.

Алтай. Литературно-художественный и общественно-политический журнал.
Барнаул. 2013, № 2.

Открывает номер вторая половина романа В. Шнайдера «Долгая дорога в спящий город». Дорога тут действительно долгая: уж очень много перипетий уготовил автор Фролу Рыбину и его нечаянным компаньонам на пути к руинам древнемонгольского города Тохто-Хото, где их должны были ждать золотые клады. Тут и кража героем карты города у знакомого профессора, и записка от него же с деньгами и просьбой «завершить начатое мной», и внезапные попутчики: бывший полицейский, злобный и корыстный, в отличие от доброго и щедрого купеческого сына Котельникова. 2-я часть, которой и открывается этот номер журнала, приключения квартета золотоискателей-дилетантов превращаются в череду несчастий: их грабят китайский чиновник и какой-то таинственный лама-разбойник, довершает разорение еще более таинственная шайка профессионалов своего дела. Попытки автора сгладить безнадегу и обреченность — явление Фролу прекрасной Янколь (то ли духа гор, то ли реальной девушки) и романтического князя-грабителя, обещающего организовать следующую экспедицию на украденное у Фрола же золото — унылого впечатления не отменяют. Роман из приключенческого превращается в просто роман с перерождением Фрола из авантюриста в ученого-востоковеда, устыдившегося своих корыстных целей. Читатель чувствует себя обманутым, вознаграждаясь познавательной этнографией произведения.

Совершенно-другому — с повестью А. Кирилина «Нулевой километр», где сюжет исчерпывается любовью, призванной объять необъятное, решить какие-то глубоко личные проблемы. Кажется, будто сам писатель рассказывает тут о собственной жизни, но есть и чувство, что все это фантазии, вымысел много чего желающей души. Вот и получается, что «Я» рассказчика оста-

ется в центре повести в любой ее точке, так и не отдаляясь от «нулевого километра» своей истории про «НЕ» и от путаницы своего жизненного сюжета. Неслучайно «конец истории» совпадает с «началом повести», неслучайно и сравнение с театром: «Никакой правды. Короткая пьеса и целая жизнь». Для современника середины века и уроженца Алтая Д. Кобякова такой «пьесой» оказалась его эмиграция 20—50-х гг. в бурном потоке ее «первой волны». Получилась она тоже достаточно сумбурной: здесь и неудавшийся журнал под названием «Ухват», участием в котором А. Ремизова, Н. Тэффи, С. Черного, М. Зощенко и др. он мог бы гордиться, и работа фотографом в германском генеральном штабе, которой он должен стыдиться, и неудавшиеся попытки найти взаимопонимание в среде ближайших соратников — с А. Воеводиныным, В. Булгаковым и др., о чем и свидетельствуют публикуемые письма, где поэт предстает человеком, взявшемся не за свое дело, эмигрантом нетипичным. Может, поэтому «нулевым километром» для него стал 1957 год, когда 59-летний поэт смог вернуться на родину и на Алтай. Публикатор материала «Д. Ю. Кобяков: четыре письма» Д. Марьян прилагает к четвертому письму поэта стихотворение с характерными начальными и последними строками: «И день настал, великий Первый день: / Освобожденные мы вышли из могилы... А впереди надеждою горят / Кремлевские сверкающие стены!»

Ныне Л. Козлова пишет, наоборот, совсем уж безнадежные стихи: «Защити меня, Господи, от этого мира... Где пулями разговаривают», «В опасных корчах новый век — / Страшной чумы, / Опасней ада!» Наверное, «закончилось время глазастых ромашек», но верно ли, что «камням раскаленным огненные стены на кострах»? Ведь у журнала «Алтай» и его авторов есть прекрасный Алтай, край талантов, безграничных романов, литературных и жизненных, больших поэтических надежд и свершений.

Новый мир. Ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли. 2013, № 7.

Роман «Аполлон» Г. Давыдова, пожалуй, типично «новомировский», «московский», с высоким IQ весьма «культурного» и в то же время почти реалистического текста, от почвы и прототипов далеко не отрывающийся, несмотря на полеты фантазии и древнее название «плутовской». Так, у Ванечки Аполлонова прототип весьма прозрачный — Веничка Ерофеев, автор «единственной повести “Полет на бесе в Ерусалим”», за кото-

рым стоит, естественно, «Москва — Петушки». Но стоит она настолько опосредованно, «аполлонически», что сам автор теряет меру идентичности, то ли подражая объекту своего изображения (Вен. Ерофееву), то ли изобретая свой, неподражаемый, где ангел повенчан с бесом, Аполлон с Христом (Иван+Аполлонов). Так что брать в руки биографию создателя «...Петушков» и сами «...Петушки», ученически сверяя сходства / различия, не хочется, да, видимо, и не стоит. Драйв от взвинченного словопотока с ломаными (за счет тире, междометий, перекрестных диалогов) синтаксисом автора — преподавателя Института журналистики и лит. творчества, не дает времени и поводов отвлекаться от этого завораживающего, захлебывающегося словами (скудного здесь не найдешь) текста. В том числе «скобочного», в стиле конференса или «перевода», как в любовном диалоге с одной «ерусалимкой»: «Бутаана хари ламбайя самум ин кежи-колабха (Поцелуй твои прохладждают в жаркую погоду, как песи-кола). Хин, пыла руссико пепси-кола-бха (Нет, как квас)». О смысле же повести, ее сверхидею автор, увлеченный «словесностью», пишет мимоходом, зато не в скобках: «Считать нашего Ванечку лишь пересмешником — плоско... сама фантазия — отправиться в Святой город, в Святую землю — не перестает быть святой в наше совсем не святое время». Тем не менее роман-то все-таки «плутовской», заставляя вспомнить сатириконовский «пир Тримальхиона», пропущенный через хмельной дискурс автора «Москва — Петушки», авантюристов-«пикаро» из испанских романов 17 века и даже гоголевского Чичикова.

Другой «плутовской» сюжет обнаруживается в статье С. Нефедова «Тайна Чингисхана». Название обязывает к каким-то захватывающим перипетиям, но все сводится к монгольскому луку, оказавшемуся «эффективнее тюркской сабли», древнерусских мечей и рыцарских доспехов поляков и венгров. Осталось в деталях описать технические параметры этого чудо-оружия кочевников («фронтальная костяная накладка», дальность полета стрелы от 320 до 538 м и ее убойный вес 200—280 г), чтобы оставить в стороне личность самого Чингисхана, «военные таланты» которого теперь еще больше под вопросом, чем до этой статьи. В номере еще достаточно если не «плутовского», то авантюрного: повесть украинца С. Жадана «Продавцы счастья», где странная тройца из торговца парфюмерией, брошенного мужа и его дочери-подростка вращается в заданных сюжетных параметрах — «больница и гостиница», «милиция и коммерция», «педагогика и секс»; подборка поэта Г. Петухова с ходу предлагает, в переводе со староанглийс-

кого: «Покинь, парень свой дом... и в путь, удача с тобой пока / В Ладлоу башня стоит...», с последующими стихами о Воробьевых горах (есть еще «омут августа» и «многоколонный Коринф»), о «двухкомнатной квартире в центре жизнь внаем», откуда можно путешествовать при помощи алкоголя, не выходя из дома, и о «Сереже Королеве» — не знаменитом конструкторе, а «Берендее с вологодских низин», «мастере заваривать кипеш», но «самочинно» задувшего «свой пожар».

Кошунственно было бы назвать авантюрой горячую полемическую статью А. Ранчина о сумерках просвещения в современном российском высшем образовании. Но ведь длятся со времен В. Розанова и его одноименно книги, и что можно сделать в нынешней России, которая, «оставаясь страной культурной, страной цивилизованной не является»? Без классических примеров про студенческие кафе и отхожие места в общежитии в сравнении, например, с Сеульским нац. университетом, тут не обойтись. А многострадальные профессорские зарплаты ниже, чем даже в Эстонии, Эфиопии и Нигерии, а иностранные рейтинги, в которые и МГУ не попадает, а невежественные студенты, называющие Бориса и Глеба не «страстотерпцами», а «староперсами»? Никакому, кажется, не под силу сдвинуть эти горы проблем, но разве «Новый мир», журнал и «культурный», и «цивилизованный», не один из таких мощных образовательных факторов? В нынешних гуманитарных «сумерках» он был и остается одним из светочей.

Новое литературное обозрение. Теория и история литературы, критика и библиография. № 120 (2013).

Поскольку большинство публикаций этого во всех смыслах нового (скорее, «New») лит. журнала преследую цель выйти из рамок литературы, и как можно дальше, то приходится выбирать для обзора нечто наиболее литературное. Из таких рубрик номера, как «Объекты аффекта: к материальности эмоций», «Антропология погрома», «Синематекст» и подобных, остановимся на «Владимир Сорокин: преодоление словесности». Может быть, именно Сорокин, а не «джазовый» В. Аксенов или «плэйбойный» Вик. Ерофеев — последний российский писатель, который еще упорно рефлектирует над своей словесностью: преодолеть ее или оставить ей шанс. Отсюда скачок от глубоко отвратительного «Голубого сала» к отвратительной минимально «Метели» и последующая активность литературоведческой мысли в связи с этими метаморфозами писателя. М. Липовецкому одного термина

«карнализация» (воплощение, превращение в плоть) не хватило, чтобы объяснить сразу всего Сорокина, раннего и позднего. Пришлось вводить сначала «прямую», потом «обратную» к-цию, потом испытанный инструментарий («редукция», «деконструкция», «дискурсивность» и т. д.), затем «политику» («неотрадиционализм», «неомодернизаторство», «неолиберализм» и т. д.), «религию» (догмат о воплощении Слова) и, наконец, неософистику. Ибо после цитирования какого-то высоколобого француза: «Другой — это тело, потому что тело и есть другой», понимаешь, что «взять» Сорокина системно, методически, нельзя; лучше сравнить, как это и делает автор, с киником Диогеном, смеявшимся над философией.

Л. Рико Вакамия, казалось бы, упрощает задачу, подходя к Сорокину с самого характерного в нем — категории «отвратительного», с которой, однако, свои сложности. Оказывается, существует связь «отвратительного» с «нормальным», как и с другими «готовыми моделями» литературно-философского обихода, что возвращает к мысли о сорокинском творчестве как о «рае для исследователей». В конце концов, задействовав запас самых умных терминов, вроде «кризис субъективности» или «авторереференциальная “литература о литературе”», исследователь из Университета Флориды приходит к выводу (опускаем очередную порцию терминов), что «“отвратительное” не принуждает...», а «запускает процессы» и одновременно «размывает принципиальные различия». В статье о «ритуале уничтожения истории» у Сорокина И. Калинин использует те же приемы логических перевертышей, например: «Пустота изначальна и нейтральна, в то время как *отсутствие* заряжено отрицанием». С помощью подобных же приемов то притяжений диаметрально разных понятий, то их отталкиваний автор приходит к главному выводу: творчество Сорокина означает «конец риторической топки и утверждение отсутствующего места — у-топоса языка, обладающего при этом абсолютной властью». Прозвучало тут и главное для Сорокина и статей о нем слово: «парадокс». Попросту говоря, этот самый «ритуальный» у нас писатель не знает, чего он хочет: уничтожить литературу (сразу или частями) или «начать ее с нуля». При «нуле» литературы он, вообще-то, останется не у дел, ибо всегда творил за счет литературы, особенно советской, «преодолевая» которую — существует весьма тиражно и магазинно уже 40 лет. Хорошо бы и об этом написать статью в таком демократичном и в то же время сугубо элитарном (парадокс!) журнале, который мог бы снизить и до такой вполне очевидной для Сорокина темы.

АВТОРЫ НОМЕРА

Алейников Владимир Дмитриевич родился в 1946 году в Перми. Вырос на Украине, в Кривом Роге. Окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. Работал в археологических экспедициях, в школе, в газете. Основатель и лидер литературного содружества СМОГ. Автор многих книг стихов и прозы — воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках. Лауреат премии Андрея Белого, Международной отметины имени Даuida Бурлюка, других литературных премий. Член ПЕН-клуба. Член Союза писателей Москвы. Живет в Коктебеле и в Москве.

Берсенёва Елена публиковалась в «Литературной газете», журналах «Времена года», «Живой Звук», «Неуклюжий Парад Ощущений» и др. В 2011 г. заняла первое место в новосибирском конкурсе им. Павла Васильева в номинации «Поэзия». Живет в Новосибирске.

Ковалев Василий Андреевич родился в 1978 г. Поэт, критик. Публиковался в журналах «Звезда», «Нева», «Новый мир» и др. Автор поэтических книг «Форма жизни» (2002), «Другими словами» (2006), «В свете сказанного» (2011). Живет в Санкт-Петербурге.

Ландбург Михаил Абрамович родился в 1938 г. в Шауляе, Литва. Окончил филологический факультет пединститута. Преподавал русский язык и литературу. Эмигрировал в Израиль в 1972 году. Публиковался в журналах: «Мосты» (Германия), «Стрелец» (США), «Другие берега» (Италия), «День» (Бельгия).

Расторгуев Андрей Петрович родился в 1964 г. Поэт, журналист. Автор нескольких поэтических книг. Член СП России. Живет в Екатеринбурге.

Смирнов Алексей Константинович родился в 1964 г. Публикации в журналах «Новый мир», «Звезда», «Нева» и пр. Автор ряда сборников прозы. Член СРП. Живет в Санкт-Петербурге.

Топорков Валерий Сергеевич родился в 1969 г. в Якутии. Окончил Ленинградское высшее военно-топографическое училище, затем философский факультет МГУ. Кандидат философских наук. Преподавал в ярославских вузах, публиковал стихи в местных газетах и журналах. Член Союза писателей России. Живет в Москве.

Якимова Людмила Павловна родилась в Горьком. Окончила Горьковский пединститут. Доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института филологии СО РАН. Публиковалась в журналах «Вопросы литературы», «Сибирские огни», «Сибирский филологический журнал», «Slavia orientalis» и др. Автор более 300 научно-теоретических и литературно-критических статей и семи монографий по истории русской литературы. Живет в Новосибирске.

Яранцев Владимир Николаевич родился в 1958 году в г. Калининe. Окончил гуманитарный факультет Новосибирского государственного университета. Член Союза писателей России. Публиковался в журналах «Гуманитарные науки Сибири», «Сибирские огни». Кандидат филологических наук. Живет в Новосибирске.